
ИЛЛЮМИНАТОР
Дэвид Лодж
Библиотека журнала «Иностранная литература»
Терапия
David Lodge
Therapy

Терапия
Дэвид Лодж

Дэвид Лодж. Терапия
Часть первая
Часть вторая
Часть третья
Часть четвертая

Дэвид Лодж
Терапия

Многие любезно помогали мне в работе над этим романом, отвечая на мои вопросы и/или читая и комментируя текст. Выражаю особую признательность Мари Эндрюс, Бернарду и Энн Бергонци, Айзеку Винкелю Холму, Майклу Полу и Мартину Шардлоу.

Все в этан романе — обычная смесь реальности и вымысла, причем персонажи и их поступки вымышлены полностью, за исключением, пожалуй, сценариста документального телефильма, вскользь упомянутого в части четвертой.

Д.Л.

Т е р а п и я. Лечение физических, умственных или социальных расстройств или болезней.

«Знаешь что, Сёрен? Ничего у тебя нет, это всё твоя дурацкая привычка сутулиться. Просто распрямись, стань ровно, и болезни твоей как не бывало».

Кристиан Лунд, дядя Серена Кьеркегора

Сочинительство — форма терапии.

Грэм Грин

Ну что ж, поехали.

Часть первая

Понедельник, утро, 15 фев. 1993 г. Теплый февральский день пробудил от спячки белок. Голые деревья в саду превратились для них в подобие игровой площадки с аттракционами. Я наблюдал, как две белки играли в пятнашки на каштанах прямо под окном моего кабинета: бегут по спирали вверх по стволу, виляя и делая ложные выпады среди ветвей, затем мчатся по суку и прыгают на соседнее дерево, потом устремляются к земле, замирают на полдороге, их коготочки сцепляются со сморщенной корой не хуже застежек-липучек, и вот уже белки несутся по траве, первая старается уйти от преследования, уворачиваясь, петляя и делая немыслимые развороты, пока не доберется до канадского тополя, а там уже обе одна за другой взлетают по стволу и, усевшись на гибких ветвях, балансируют, тихонько покачиваясь и удовлетворенно поблескивая друг на друга глазками. Чистая игра — никаких сомнений. Они резвились, соревнуясь в проворстве исключительно ради развлечения. Если реинкарнация существует, я был бы не прочь

вернуться в этот мир белкой. Коленные суставы у них, должно быть, из закаленной стали.

В первый раз я почувствовал эту боль около года назад. Я торопился на поезд 18.10 с Юстонского вокзала и метался по всем четырем комнатам своей лондонской квартиры, запихивая сценарии и грязные носки в «дипломат», закрывая окна, выключая свет, переключая таймер центрального отопления, опорожняя в раковину молочные пакеты, заливая унитаз «Санилавом», — короче, проходился
по «горячему» списку «Уходя из квартиры», который Салли составила и прилепила к дверце холодильника магнитиком с желтой фигуркой, когда вдруг почувствовал резкую, пронизывающую боль, словно раскаленную иглу воткнули в правое колено, а потом вытащили, оставив в этом месте память о боли. Я вскрикнул от изумления и повалился на кровать (в тот момент я находился в спальне).

— Господи! — громко воскликнул я, хотя был один. — Что за черт?

Осторожно, со страхом и трепетом поднялся. (Интересно, есть такое выражение или я его сам придумал? Да, такое выражение есть, я только что посмотрел в словаре, встречается в нескольких

местах Библии.) Со страхом и трепетом встал и, перенеся вес тела на правую ногу, сделал несколько шагов без всяких болезненных последствий, пожал плечами и списал эту историю на защемление нерва, какой иногда случается, когда повернешься взять что-нибудь с заднего сиденья машины и почувствуешь внезапный мучительный прострел в шее. Я закончил обход квартиры, успел на поезд и больше об этом не вспоминал.

Примерно неделю спустя, работая у себя в кабинете, я скрестил под столом ноги и снова испытал это — внезапный приступ боли в правом колене. Я судорожно вдохнул, и у меня вырвалось звучное: «Черт». С того дня боль начала посещать меня с нарастающей, хотя и непредсказуемой частотой. Она редко настигала меня, например, во время игры в гольф или теннис, как можно было бы ожидать, но наносила удар сразу *после* игры, в баре клуба, или в машине по дороге домой, или когда я совершенно неподвижно сидел у себя в кабинете, или лежал в постели. Она заставляла меня вскрикивать посреди ночи, так что Салли думала, что мне приснился кошмар. Должен отметить, что меня преследуют депрессии, тревоги, бывают приступы паники,

ночная потливость, бессонница, но кошмары — единственное из этой серии, чего у меня нет. Да я и снов-то не вижу. Насколько я понимаю, это означает, что я их просто не помню, — говорят, мы видим сны все время, пока спим, так говорят. Словно ночью у меня в голове впустую работает телевизор. Канал грез. Как жаль, что невозможно записать эти передачи на видео. Может, тогда бы я понял, что со мной происходит. Я не про колено. Я про свою голову. Свой разум. Свою душу.

Учитывая все мои проблемы, таинственная боль в колене — это уже перебор, хотя, должен признать, с человеком могут случиться вещи и похуже. Например: рак, рассеянный склероз, нервно-двигательные расстройства, эмфизема, болезнь Альцгеймера и СПИД. Не говоря уж о врожденных заболеваниях, скажем, о мышечной дистрофии, церебральном параличе, гемофилии и эпилепсии. Не говоря уж о войнах, эпидемиях и голоде. Но что интересно — даже сознавая все это, ничуть не легче переносить боль в колене.

Может быть, это и есть «атрофия сострадания»: каждый день средства массовой информации обрушивают на нас такой поток людских страданий, что мы словно израсходовали все свои резервы жалости, гнева и негодования

и можем думать только о боли в собственном колене. До этой стадии я еще не дошел, вернее, не совсем дошел, но понимаю, как это может случиться. Я получаю по почте множество просьб о пожертвованиях на благотворительные цели от разных организаций. Стоит только ответить одной из них, как остальные уже тут как тут. Думаю, они делятся друг с другом именами своих адресатов — конверты сыплются в почтовый ящик быстрее, чем ты успеваешь их забирать: ОКСФАМ

[1] [broken link: #_ftn1], КАФОД[2] [broken link: #_ftn2], ЮНИСЕФ, «Спасите детей», Королевский институт помощи слепым, Красный Крест, Общество помощи больным раком, мышечной дистрофией, приюты и т.д. и т.п. Во всех конвертах стандартные письма и отпечатанные на газетной бумаге листовки с неясными ч/б фотографиями голодающих чернокожих детишек с похожими на прутики конечностями и лицами стариков, маленьких детей в инвалидных колясках, беженцев, сидящих где-нибудь в оцепенении, или калек на костылях. Как, спрашивается, можно противостоять этой волне человеческого горя? Что ж, могу рассказать, что делаю я.

Покупаю у одной организации специальную

чековую книжку, по которой рассылаю взносы на благотворительные
цели по своему выбору на общую сумму тысяча фунтов в год. Эта организация еще и возвращает мне налог с выплаченной суммы, что, по сути, увеличивает ее до 1400 фунтов. Так что ежегодно эти четырнадцать сотен я делю на небольшие взносы: 50 фунтов голодающим детям Сомали, 30 фунтов жертвам насилия в Боснии, 45 фунтов на водяные насосы в Бангладеш, 25 фунтов центру реабилитации наркоманов в Базилдоне, 30 фунтов на исследования в области СПИДа и так далее, пока счет не опустеет. Это похоже на попытки промокнуть мировой океан пачкой бумажных платочков «Клинекс», но зато атрофия сострадания мне не грозит.

Конечно, я могу пойти на гораздо большие траты. Мой нынешний доход позволяет мне безболезненно
расходовать на благотворительность десять тысяч в год. Если уж на то пошло, я могу отдать все свои деньги, только пользы от этого будет все равно как от пачки «Клинекса». Поэтому я и оставляю большую их часть себе и трачу, помимо всего прочего, на лечение собственного колена у частного врача.

Сначала я пошел к своему терапевту. Он рекомендовал физиопроцедуры. Через некоторое время физиотерапевт посоветовал мне проконсультироваться у специалиста. Специалист назначил артроскопию. Это новый вид высокотехничной микрохирургии, все делается с помощью телевидения и волоконной оптики. Хирург закачивает вам в ногу жидкость, чтобы создать подобие съемочной площадки, а затем вводит туда инструменты не толще иглы. На конце одного камера, на конце другого — режущее приспособление, а третий снабжен устройством для отсоса отходов производства. Инструменты настолько малы, что невооруженным глазом их и не различить, а хирургу потом даже не надо зашивать проделанные отверстия. Он сгибает ваш коленный сустав, рассматривая его на экране телемонитора, а потом удаляет поврежденный хрящ, или ткань, или костный заусенец, или что еще там может причинять беспокойство. Я слышал, что некоторым пациентам делали лишь местную анестезию и они сами следили за ходом операции на мониторе, но мне такое не по нутру, я так и сказал. Низар ободряюще улыбнулся. (Так зовут ортопеда, у которого я наблюдаюсь, мистер Низар. Я называю его

Низорал. За глаза, разумеется. Он с Ближнего Востока, из Ливана или Сирии, откуда-то оттуда, причем очень давно оттуда, насколько я знаю.) Он обещал, что мне сделают общий наркоз, но я получу кассету с видеозаписью. И это не шутка. Я знал, что в наши дни люди уже не фотографируют на свадьбах, крестинах и на отдыхе, они записывают все на видеопленку, но кто бы мог подумать, что операции тоже пойдут в дело. Можно смонтировать небольшую подборку и просмотреть ее с друзьями за вином с сыром: «*Это мне удаляют аппендицит в 1984 году, или это было в 85-м., чистая работа, а?. А это открытая операция на сердце, ой, тут камера немного дернулась… Дальше будет чистка Дороти…*» [На заметку: не взять ли идею для «Соседей»?] Я сказал Низару: «Ты, наверное, мог бы наладить небольшой бизнес — давать напрокат кассеты тем, у кого не было своих операций». Он посмеялся. Он верил в артроскопию и обнадежил меня, что девяносто пять процентов операций проходят успешно. Но ведь кто-то все же попадает в число невезучих пяти процентов.

Операцию мне сделали в Раммиджской городской клинической больнице. Как частный пациент, я, естественно, должен был лечь в

«Эбби», больницу БУПА

[3] [broken link: #_ftn3], рядом с крикетным полем, но в тот момент у них оказалось чересчур много больных - закрыли одну из операционных или что-то в этом роде, - и Низар сказал, что будет быстрее, если я лягу в обычную городскую больницу, где он один день в неделю работает на государственную службу здравоохранения. Низар пообещал, что у меня будет отдельная палата, а так как операция не требует пребывания в стационаре более суток, я согласился. Хотелось покончить с этим как можно скорее.

Только я приехал на такси в городскую — это было зимним утром, в девять часов, — как сразу пожалел, что не дождался места в «Эбби». Городская — это огромная, мрачная викторианская глыба, почерневшие кирпичи снаружи и противный зеленый и кремовый цвет внутри. Главный приемный покой уже был битком набит людьми, которые тесными рядами сидели на литых пластиковых стульях, и над всем этим витал дух оставленной надежды, который у меня всегда ассоциируется с государственными больницами. У одного мужчины на голове сквозь бинты сочилась кровь. Во всю мочь вопил младенец.

Низар вручил мне клочок миллиметровки, где было нацарапано его имя, дата и время моего приема — до смешного неподходящий документ для поступления в больницу, подумал я, но дежурная, похоже, восприняла его всерьез и направила меня на четвертый этаж, в отделение. Я воспользовался лифтом и получил выговор от суровой медсестры, которая вошла на втором этаже и тут же заявила, что этот лифт только для персонала.

— Вы куда? — требовательно спросила она.

— В отделение 3-J, — ответил я. — Небольшая операция. У доктора Низара.

Она едва заметно фыркнула:

— Вы что, частным образом?

Мне показалось, что ей не нравится, когда частные пациенты лечатся в государственных больницах.

— Я всего на одну ночь, — сказал я, пытаясь ее смягчить.

Она ответила коротким, лающим смешком, что меня насторожило. Оказалось, что она как раз работает в отделении 3-J. Я до сих пор сомневаюсь, не нарочно ли она подвергламеня тем мучительным испытаниям, которые обрушились на меня в следующие полтора часа.

Перед отделением вдоль стены выстроился ряд черных пластмассовых стульев, там я просидел минут двадцать, прежде чем вышла тоненькая, какая-то перекошенная молодая азиатка в белом халате и записала мои данные. Она поинтересовалась, нет ли у меня аллергии на какие-нибудь лекарства, и прицепила мне на запястье бирку с моим именем. Затем проводила в маленькую двухместную палату, где на кровати лицом к стене лежал мужчина в полосатой пижаме. Я хотел было возмутиться, ведь мне обещали отдельную палату, но тут он повернулся к нам, и я увидел, что он черный, вероятно с Карибских островов. Не желая показаться расистом, я проглотил свою жалобу. Врач приказала мне раздеться и облачиться в больничную рубаху — свернутая, она лежала на свободной кровати. Велела вынуть вставные челюсти, стеклянные глаза, протезы и тому подобные мелкие детали, после чего удалилась. Рубаха застегивалась на спине, я в нее переоблачился под завистливыми взглядами карибца. Тот сказал, что лег сюда три дня назад на операцию по поводу грыжи и с тех пор к нему никто не подходил. По-видимому, он попал в черную дыру системы.

Я присел на кровать и почувствовал, как по ногам тянет сквозняком. Уроженец Карибских островов снова отвернулся к стене и, похоже, задремал, время от времени постанывая и тихонько всхлипывая. Молодая азиатка-врач снова зашла в палату и сверила фамилию на моей бирке со своими записями, словно видела меня впервые. Опять спросила насчет аллергии. Моя вера в эту больницу стремительно падала.

— Тот человек говорит, что он здесь уже три дня, а им никто не занимается, — сказал я.

— Что ж, по крайней мере он выспался, — ответила врач, — чего не могу сказать про себя последние тридцать шесть часов. — И вновь покинула палату.

Время тянулось очень медленно. Сквозь запыленное окно светило низкое зимнее солнце. Я наблюдал, как тень от рамы ползет по полу, покрытому линолеум- ной плиткой. Затем пришли сестра и санитар, который толкал перед собой каталку — везти меня в операционную. Санитар был из местных, молодой, похожий на игрока в покер, с мертвенно-бледным, бесстрастным лицом, а сестричка — цветущая молодая ирландка, тесноватая накрахмаленная форма придавала ей слегка вульгарный вид.

Санитар бросил мне принятое здесь приветствие: «Порядок?» — и велел запрыгивать на каталку. Я сказал, что могу дойти до операционной сам, пусть и в одной рубашке, что нога вообще-то не болит. У меня и правда уже больше недели не было болей, что очень характерно для подобных заболеваний: стоит начать лечиться, как симптомы исчезают.

— Нет, вас должны привезти, — возразил он. — Правила.

Аккуратно придерживая сзади полы рубашки, словно эдвардианская дама, поправляющая турнюр, я взобрался на каталку и лег. Сестра спросила, не волнуюсь ли я.

— А должен? — поинтересовался я.

Она захихикала, но ничего не ответила. Санитар сверил мое имя на бирке.

— Пассмор, да. Ампутация правой ноги, верно?

— Нет! — испуганно закричал я, вскочив. — Всего лишь мелкая операция на колене.

— Да он просто шутит, — успокоила сестра. — Прекрати, Том.

— Может, и шучу, — с непроницаемым лицом отозвался Том.

Они накрыли меня одеялом и подоткнули его, прижав мои руки к бокам.

— Так вас не ударит распашными дверями, — объяснил Том.

Карибец проснулся и, приподнявшись на локте, проводил меня взглядом.

— Прощайте, — сказал я. Больше я его никогда не видел.

Лежа навзничь на каталке, без подушки, чувствуешь себя удивительно беспомощным. Не знаешь, где ты, куда тебя везут. Видишь только потолки, а потолки в городской больнице — зрелище не из приятных: потрескавшаяся штукатурка, хлопья отслоившейся водоэмульсионной краски, паутина по углам и дохлые мухи в плафонах. Мы ехали и ехали по бесконечным коридорам.

— Сегодня у нас русские горки, — заметил позади меня Том. — Лифт в операционную сломался. Придется спустить вас в подвал на грузовом лифте, потом проехать в другое крыло, а оттуда на другом таком же лифте подняться наверх и опять в это крыло.

Тускло освещенный грузовой лифт, похожий на пещеру, был рассчитан на промышленные грузы, в нем слегка попахивало вареной капустой и прачечной. Когда каталку перевозили через порожек, колеса за что-то зацепились, и я вдруг

обнаружил, что смотрю в пространство между лифтом и стеной шахты на черные, обросшие грязью тросы и блоки древнего на вид механизма. Словно я оказался в одном из этих новомодных фильмов, где все снимается под неестественным углом.

Том сдвинул дверцы-гармошки, сестра нажала на кнопку, и лифт начал очень медленно спускаться, поскрипывая и постанывая на все лады. Потолок здесь нагонял еще большую тоску, чем в коридорах. Мои спутники, которых мне не было видно, обменивались короткими репликами.

— Сигареты есть? — спросила сестра.

— Нет, — ответил Том, — я бросил. В прошлый вторник.

— Почему?

— Здоровье.

— А что взамен?

— Секс, секс и еще раз секс, — ровным тоном отозвался Том.

Сестра захихикала.

— Хотя открою тебе тайну, — сказал Том. — Когда я завязал, то по всей больнице припрятал сигареты, на случай если припрет. Одна пачка есть в подвале.

— Какие?
— «Бенсон». Можешь взять, если хочешь.
— Хорошо, спасибо, — ответила медсестра.
Лифт дернулся и остановился.

Из-за чрезмерно горячего отопления воздух в подвале был жаркий и сухой, и я начал потеть под одеялом, пока Том катил меня между штабелями коробок, ящиков и других емкостей с больничными запасами. Сводчатые потолки были покрыты густой бахромой паутины, свисавшей, как помет летучих мышей. Колеса подпрыгивали на каменных плитах пола, и эти толчки отдавались в позвоночнике. Том остановился,
чтобы отыскать спрятанные сигареты. Они с сестрой исчезли за горой сваленного там белья, и я услышал тихий возглас и возню, что давало основания предположить, что парень взыскал некую плату за пачку «Бенсона и Хеджеса». Я не мог поверить, что все это происходит со мной. Как можно столь наплевательски относиться к частному пациенту? Словно заплатил за первый класс, а оказался в хвосте самолета в сломанном кресле, рядом с туалетом и курильщиками, кашляющими мне в лицо (это я в переносном смысле — сестра на самом деле закурить не

осмелилась). Самое противное, я ведь знал, что если рассказать эту историю Салли, то сочувствия от нее все равно не дождешься: она не одобряет частной медицины и из принципа отказалась вместе со мной застраховаться в БУПА.

Мы двинулись дальше по лабиринту склада, виляя и поворачивая, пока не добрались до дальнего конца огромного подвала, где был другой грузовой лифт, который медленно вытащил нас на свет божий. Еще одно долгое путешествие по коридорам — и вдруг все переменилось. Миновав очередные двери, я попал из девятнадцатого века в двадцатый, из викторианской готики- в хай-тековскую современность. Все равно что, порядком наспотыкавшись в темном, загроможденном кабелями помещении на задворках кинопавильона, выйти на ярко освещенную, с элегантными декорациями съемочную площадку. Все вокруг было белым и сверкающим в рассеянном свете ламп, а медицинский персонал приветствовал меня добрыми
улыбками и мягкими голосами воспитанных людей. Меня осторожно переложили на другую, более современную кровать на колесах и ввезли в предоперационную, где уже ждал анестезиолог.

Он попросил поработать кулаком левой руки и успокаивающим тоном предупредил, что я почувствую легкий укол, когда он введет в вену нечто вроде пластмассового клапана. Затем неторопливо вошел Низар, облаченный в бледно-голубой хирургический комбинезон и шапочку, что делало его похожим на пухлую домохозяйку в пижаме, которая только что встала с постели и еще не сняла бигуди.

— Утро доброе, старина, — приветствовал он меня. — Все путем?

Низар говорит на безупречном английском, но когда-то, должно быть, начитался П.Г.Вудхауса. Я хотел сказать — нет, пока что совсем не путем, но момент показался мне неподходящим для жалоб на оказанный вначале прием. Кроме того, меня постепенно обволакивало теплое, дремотное ощущение блаженства. Низар просматривал рентгеновские снимки моего колена, держа их перед освещенным экраном.

— А, да, — бормотал он, как будто с трудом припоминая случайного знакомого на старой фотографии.

Потом подошел и встал у каталки напротив анестезиолога, и оба они улыбнулись мне.

— Соедините руки, — промолвил анестезиолог.

Интересно, о чем это он? С меня сняли одеяло, и я, не зная, куда деть руки, сложил их на животе. Анестезиолог похлопал по ним.

— Хорошо, очень хорошо, — ободряюще произнес он. — Некоторые люди сжимают кулаки или кусают ногти.

Низар приподнял подол рубахи и стиснул мое колено. Усмехнувшись, я собрался пошутить насчет сексуальных домогательств и в этот момент отключился.

Придя в себя, я снова увидел двухместную палату, но выходец с Карибских островов исчез, и некого было спросить куда. Правая нога в повязке походила на слоновью. Когда Салли зашла ко мне по дороге домой, я описал ей свое утро, но сочувствия не дождался, как и предполагал, а моя нога показалась ей очень смешной.

— Будешь знать, как лезть без очереди, — сказала она. — Моя тетя Эмили два года ждала операции на бедре.

Позднее зашел Низар и попросил приподнять ногу на несколько дюймов. Я сделал это очень осторожно — можно сказать, со страхом и трепетом, — без каких-либо неприятных последствий, и он, похоже, остался этим доволен.

—

Чудненько, — проговорил он, — прекрасненько.

Несколько дней я ходил на костылях, пока не спал отек, и следующие пару недель я посвятил физиотерапии и щадящим упражнениям для восстановления тонуса четырехглавой мышцы, а потом боль вернулась. *Черт!* Я не мог этому поверить. Низар тоже не мог. Он считал, что нашел источник боли — кусочек ткани, называемый складкой, который ущемлялся в коленном суставе, — и удалил его. Мы вместе посмотрели видеозапись операции в его кабинете. Один я не смог заставить себя это сделать. Изображение представляло собой ярко освещенный цветной круг, словно смотришь в иллюминатор подводной лодки с мощным прожектором.

— Вот он, видишь! — воскликнул Низар.

Я видел только нечто похожее на тоненького серебристого угря, который откусывал куски от мягкого брюха моллюска. Маленькие стальные челюсти яростно смыкались, и частички моего колена отплывали в сторону, где их подхватывал аспиратор. Я недолго наблюдал за происходящим — меня всегда тошнило при виде насилия на экране.

— Ну? — спросил я, когда Низар выключил видео.

— Честно говоря, старина, я сбит с толку, — сказал он. — Ты сам видел ту складку, которая вызывает боль, видел, как я ее отрезал. Нет никаких признаков разорванного мениска или артрозного изменения сустава. Черт побери, нет никакой причины для новых болей.

— Но оно болит, — сказал я.

—

Да, совершенно верно. Чертовски раздражает.

— Особенно меня, — заметил я.

— Должно быть, это идиопатическая пателла хондромаляция, — высказал предположение Низар и, когда я попросил его объясниться, расшифровал: — «Пателла хондромаляция» означает боль в колене, а «идиопатическая» — что к тебе это не относится, старик. — Он улыбнулся, будто вручил мне приз.

Я спросил, можно ли что-нибудь сделать, и он ответил, гораздо менее уверенно, чем раньше, что предложил бы либо еще раз артроскопию, чтобы посмотреть, не упустил ли он случайно чего-нибудь в ходе первой, либо попробовать аспирин и физиотерапию. Я выбрал аспирин и физиотерапию.

— Разумеется, в следующий раз я сделаю это в нашей больнице, — заверил Низар. Он понимал, что я был далеко не в восторге от уровня обслуживания в городской.

— И все равно, — сказал я, — на операцию я не рвусь.

Когда я изложил Роланду (так зовут моего физиотерапевта), когда я сжато изложил Роланду содержание этой консультации, он улыбнулся своей кривой сардонической улыбкой и изрек:

—

У тебя Патология Неизвестного Происхождения. ПНП. Они всегда так говорят, когда не хотят сказать «просто не понимаю».

Кстати, Роланд слепой. Вот еще одна вещь, которая может с вами приключиться, похуже боли в колене. Слепота.

Вторник, днем, 16 фев. Сразу после того, как я написал вчера последний абзац, я подумал, не пожить ли мне с закрытыми глазами, чтобы представить, что значит быть слепым, и прочувствовать, насколько мне повезло по сравнению с беднягой Роландом. Я даже решил завязать глаза маской для сна, которую мне как-то выдали в самолете «Бритиш Эруэйз», когда я летел из Лос-Анджелеса. Мне захотелось сделать

какое-нибудь простое обычное дело, например приготовить вслепую чай, чтобы понять, каково это. Эксперимент продлился недолго. Пытаясь пройти из кабинета на кухню, я ударился коленом, можно и не уточнять, что правым, о выдвинутый ящик картотеки. Сорвав повязку, я прыгал по комнате, ругаясь и богохульствуя так страшно, что, сам потрясенный, замолчал. Я был уверен, что теперь покалечил колено уже навсегда. Но через некоторое время боль утихла, и сегодня утром сустав чувствует себя ничуть не хуже, чем раньше. Но, правда, и не лучше.

У Патологии Неизвестного Происхождения есть одно преимущество, а именно: когда тебе звонят и спрашивают, как дела, а ты не хочешь говорить: «Не вылезаю из депрессии», но и не желаешь притворяться, что счастлив до невозможности, всегда можно пожаловаться на колено. Мой агент Джейк Эндикотт только что позвонил напомнить мне о завтрашнем ланче, и я сразу выложил ему все о своем колене. Сегодня днем он встречается с представителями «Хартленда», чтобы узнать, собираются ли те заказывать следующие серии «Соседей». Последний сценарий для нынешнего блока я отправил всего несколько недель назад, но такие вещи решают загодя, потому что

подпирают сроки перезаключения контрактов с актерами. Джейк уверен, что «Хартленд» закажет еще один блок, а может и два:

— С таким рейтингом, как сейчас, только сумасшедший не закажет.

Джейк пообещал, что расскажет о результатах встречи завтра за ланчем. Он приглашает меня в «Граучо». Он всегда меня туда приглашает.

Со времени моей артроскопии прошел год, а колено все еще болит. Рискнуть и сделать еще одну операцию? ПНП — просто не понимаю. Не могу решить. В последнее время я вообще ни на что не могу решиться. Сегодня утром не мог решить, какой повязать галстук Если я не в силах справиться с самой простой задачей, то что говорить о таком деле, как операция? Я так долго стоял перед вешалкой с галстуками, что чуть не опоздал на встречу с Александрой. Не мог выбрать между темным, консервативным галстуком и ярким, пестрым. В конце концов остановился на двух: простом темно- синем вязаном галстуке от «Маркса и Спаркса»

[4] [broken link: #_ftn4] и итальянском шелковом, ручной росписи, в оранжевых, коричневых и красных тонах. Но оказалось, что ни один из них не подходит к рубашке, поэтому пришлось

менять и ее. Время бежало стремительно: я повязал шелковый галстук, а шерстяной пихнул в карман пиджака на случай, если передумаю по пути в офис Александры. И действительно… на красном сигнале светофора я поменял его на вязаный. Александра - мой психиатр, мой нынешний психиатр. Мисс Марпл. Нет, на самом деле ее фамилия Марплс, доктор Александра Марплс. Я называю ее мисс Марпл в шутку. При случае я смогу сказать, что в моих проблемах без мисс Марпл не разберешься. Она об этом не подозревает, но, узнав, вряд ли стала бы возражать. Она была бы против того, что я называю ее психиатром. Дело в том, что она считает себя терапевтом когнитивного поведения.

Я лечусь непрерывно. По понедельникам езжу к Роланду на физиотерапию, по вторникам встречаюсь с Александрой для терапии когнитивного поведения, а по пятницам у меня сеанс ароматерапии либо акупунктуры. По средам и четвергам я обычно остаюсь в Лондоне, но там я встречаюсь с Эми, что, на мой взгляд, тоже своего рода терапия.

Какая разница между психиатром и терапевтом когнитивного поведения? Ну, насколько я

понимаю, психиатр пытается выявить скрытые причины вашего невроза, тогда как терапевт когнитивного поведения лечит симптомы, которые делают вас несчастным. Например, вы можете страдать от клаустрофобии в автобусах и поездах, и психиатр пытается раскопать какое-то переживание в вашей прошлой жизни, которое нанесло вам травму. Скажем, ребенком вы подверглись сексуальному насилию со стороны мужчины, сидевшего рядом с вами в купе поезда, пока тот шел в туннеле… скажем, он покусился на вас, и вы испугались, вам стало стыдно, и вы не посмели его обличить, когда поезд вышел из туннеля, и позже никогда никому об этом не рассказывали, даже родителям, а полностью подавили это воспоминание. Потом, если психиатр сможет заставить вас вспомнить об этом случае и сделать так, чтобы вы поняли — вашей вины в том не было, вы перестанете страдать клаустрофобией. Во всяком случае, такова теория. Беда в том, утверждает терапевт когнитивного поведения, что это подавленное, травмирующее переживание можно искать целую вечность, если оно вообще имело место. Возьмем, к примеру, Эми. Она ходит к психиатру уже три года, она встречается с ним *каждый*

день — с понедельника по пятницу, с девяти до девяти пятидесяти каждое утро по пути на работу. Представьте, во сколько это ей обходится. Я как-то спросил ее, как она узнает, что вылечилась. Она ответила:

— Когда почувствую, что мне больше не нужно видеться с Карлом.

Карл — это ее психиатр, доктор Карл Кисс. И если хотите знать мое мнение — Карл хорошо устроился.

Ну а терапевт когнитивного поведения, вероятно, составит для вас программу, которая поможет вам привыкнуть к поездкам в общественном транспорте, например, для начала проехать по кольцевой линии подземки всего одну станцию, затем две, потом три и так далее; сперва в обычное время, потом в час «пик», увеличивая длительность путешествия, и каждый раз чем-нибудь награждать себя за это — выпивкой, едой или новым галстуком, тем, что будет поддерживать ваш интерес, — и вы будете так довольны своими достижениями и этими маленькими подарками самому себе, что забудете бояться и наконец осознаете, что бояться-то и *нечего.* Во всяком случае, такова теория. Когда я попытался разъяснить эту теорию Эми, на нее

она большого впечатления не произвела. Эми сказала:

— А если в один прекрасный день тебя изнасилуют на кольцевой линии?

Эми мыслит слишком уж приземленно.

Хотя в наши дни людей действительно насилуют на кольцевой линии. Даже мужчин.

К Александре меня направил мой терапевт.

— Она хороший специалист, — заверил он. — Очень практична. Не тратит времени попусту, не пытается проникнуть в твое подсознательное, задавая вопросы про то, как тебя приучали к горшку, или о том, не заставал ли ты родителей за сексом, и всякое такое.

Мне это понравилось. И Александра, без сомнения, помогает мне. Нет, серьезно, сделав дыхательные упражнения по ее методике, я чуть ли не целых пять минут ощущаю прилив бодрости. А уж после встречи с ней на меня нисходит спокойствие на пару часов как минимум. Она специализируется на так называемой рационально-эмоциональной терапии, сокращенно РЭТ. Идея состоит в том, чтобы заставить пациента увидеть — его страхи и фобии основаны на неверном и необоснованном истолковании фактов. Я это уже понимаю, но так

утешительно слышать, когда об этом говорит Александра. Однако бывают дни, когда я тоскую по старомодному венскому психоанализу, когда я почти завидую Эми с ее ежедневным Киссом. (На самом деле фамилия этого парня произносится «Киш», он венгр, но я предпочитаю называть его «Кисс».) Я ведь не всегда был несчастен. Я помню время, когда был счастлив. Во всяком случае, умеренно доволен жизнью. Помню время, когда мне и в голову не приходило задумываться: счастлив я или нет; а это, вероятно, то же самое, что быть счастливым. Или умеренно довольным. Не знаю, каким образом я потерял это ощущение — умение просто жить, не тревожась и не впадая в депрессию. Отчего это случилось? Просто Не Понимаю — ПНП.

—

Ну, и как вы сегодня? — спросила Александра.

Она всегда начинает наши сеансы с этих слов. Мы сидим друг против друга в удобных креслах, нас разделяет десять футов пушистого бледно-серого ковра. Красивый кабинет с высоким потолком обставлен скорее как гостиная, если не считать антикварного письменного стола у окна и высокого функционального шкафа с папками в углу. По обе стороны камина, в котором зимой

весело горит газовая горелка, имитирующая угли, а летом красуется ваза со свежими цветами, стоят стулья. Александра высокая и стройная, она носит изящную, струящуюся одежду: шелковые блузки и юбки в складку из тонкой шерсти, достаточно длинные, чтобы прикрыть колени, когда она садится. У Александры узкое, тонко вылепленное лицо, очень длинная и стройная шея и собранные в тугой пучок волосы, а может быть, это шиньон. Представьте себе довольно красивую, с длинными ресницами жирафу, нарисованную Уолтом Диснеем.

Я начал рассказ о своей патологической нерешительности при выборе галстуков.

— Патологической? — переспросила она. — Что заставляет вас использовать это слово?

Она все время ловит меня на негативных словах, которые я использую применительно к себе.

— Я просто хочу сказать, что это всего лишь *галстук*, господи боже мой! Я потратил полчаса своей жизни, мучаясь из-за… я имею в виду, как человек может придавать значение таким пустякам?

Александра спросила, почему мне было так трудно выбрать один из двух галстуков?

— Я подумал, что если я надену простой темно-синий, вы сочтете это знаком того, что я угнетен, или, скорее, того, что *поддаюсь* своей депрессии, хотя должен сражаться с ней. Но яркий галстук, подумал я, может стать для вас признаком того, что я преодолел свою депрессию, а это не так. Мне казалось, какой бы галстук я ни выбрал, всё было бы ложью.

Александра улыбнулась, и я испытал тот обманчивый подъем духа, который часто наступает во время лечения, когда вы даете правильный ответ, как способный ученик.

— Вы вообще могли обойтись без галстука.

— Я думал об этом. Но я всегда надеваю галстук на эти сеансы. Старая привычка. Меня так воспитали: идя к врачу, одевайся как полагается. Если бы я вдруг перестал носить галстук, вы могли подумать, что это что-то означает… неуважение, неудовлетворенность… а я вовсе не неудовлетворен. Ну разве что собой.

Пару недель назад Александра велела мне составить краткое самоописание. Ее задание показалось мне даже интересным. Полагаю, именно оно натолкнуло меня на мысль вести этот… не знаю, как назвать: дневник, ежедневник, исповедь. Раньше я писал исключительно в

драматургической форме — скетчи, сценарии. Разумеется, в любом телесценарии содержатся какие-то описания: декорации, характеристики персонажей, помогающие режиссеру в подборе актеров (*«ДЖУДИ — привлекательная блондинка за двадцать с авантюрным характером»*), но при этом никаких подробностей, ничего аналитического, одни реплики. Вот она, суть ТВ — сплошные строчки. Строчки реплик, которые произносят люди, и строки экрана телевизионной трубки, создающие изображение. Все содержится в картинке, которую тебе показывают, и в диалоге, передающем мысли и чувства героев, а для *этого* порой и слов не нужно — достаточно движения плеч или взгляда. А вот когда работаешь над книгой, у тебя нет ничего, кроме слов, чтобы выразить оттенки поведения, взгляды, мысли, чувства, все внутреннее напряжение. Снимаю перед писателями шляпу, честное слово.

Лоренс Пассмор

. **Самоописание**

Мне пятьдесят восемь лет, рост пять футов и девять с половиной дюймов, вес тринадцать стоунов восемь фунтов — что на два стоуна

больше, чем следует, согласно таблице в нашей потрепанной «Семейной книге здоровья». Прозвище «Пузан» появилось еще во время службы в армии, да так и прилипло ко мне. Но я всегда страдал небольшим избытком веса, даже в юности, когда играл в футбол, — аккуратная выпуклость на моем торсе, напоминавшем бочонок, шла от груди к тому месту, где в шорты заправлялась рубашка. В те дни живот у меня был одни сплошные мышцы — очень удобно в борьбе с противником за мяч, но по мере того, как я становился старше, эти мышцы, несмотря на регулярные упражнения, стали вялыми, а потом незаметно перетекли в бедра и зад, так что теперь фигурой я больше похож на грушу, чем на бочонок Говорят, что внутри каждого полного человека сидит худой, который хочет выбраться наружу, и я слышу его сдавленные стоны каждый раз, когда гляжу на себя в зеркало в ванной комнате. Досаду у меня вызывает не только форма торса, да и вообще дело не в торсе, если уж на то пошло. Моя грудь покрыта растительностью, напоминающей по жесткости металлическую мочалку для мытья посуды, а по размеру — коврик перед дверью, и доходит она как раз до кадыка: если я надеваю рубашку с открытым воротом, жесткие волоски

выглядывают наружу, словно быстрорастущая космическая гадость в старом сериале Найджела Нила. А по суровой генетической прихоти судьбы макушка у меня точь-в-точь как и у моего отца, голая, словно электрическая лампочка, если не считать реденькой бахромы над ушами и на затылке, которую я отпускаю как можно длиннее, до самого воротника. Из-за этого я смахиваю на бродягу, но стрижка для меня — просто нож в сердце, ведь каждая прядка на вес золота. Видеть не могу, как волосы падают на пол, — хочется, чтобы их сложили для меня в бумажный пакет и я бы унес их с собой. Как-то раз я попробовал отрастить усы, но получилось комично: один ус седой, другой — рыжевато-каштановый, и я быстренько их сбрил. Одно время я подумывал отпустить бороду, но побоялся, что она будет выглядеть продолжением грудной клетки. Так что замаскировать заурядность своего лица мне нечем. Розовое, одутловатое, помятое и морщинистое, оно напоминает медленно сдувающийся шарик, а еще обвислые щеки, мясистый нос, слегка картошкой, и довольно печальные водянисто-голубые глаза. Зубы тоже так себе, но зато свои, по крайней мере, те, что видны (справа внизу мост, там, где отсутствует

несколько коренных зубов). Шея у меня толстая, как ствол дерева, а руки довольно короткие, отчего мне трудно подбирать рубашки. Большую часть своей жизни я мирился с рубашками, манжеты которых закрывали кисти рук до костяшек, если их не обуздать рукавами свитера или эластичными резинками на локтях. Потом я поехал в Америку, где раньше всех догадались, что у некоторых мужчин руки короче средней длины (в Британии вам почему-то позволено иметь только длинные руки, длиннее средних), и купил в «Брукс Бразерс» дюжину сорочек с рукавами 32 дюйма. Свой гардероб я пополняю через американскую фирму, которая торгует по каталогам: ее филиал открылся в Англии несколько лет назад. Разумеется, теперь я могу позволить себе шить сорочки на заказ, но мне трудно заставить себя войти в эти шикарные ателье на Пикадилли, а полосатый поплин в их витринах, на мой вкус, чересчур чопорен. Как бы то ни было, я терпеть не могу ходить по магазинам. Я нетерпелив. Во всяком случае, стал в последнее время. Раньше я таким не был. Во времена моей молодости очереди были образом жизни, и я не обращал на них внимания. Очередь на автобус, очередь в кино, очереди

в магазинах. Ну а теперь в автобусе я не езжу, большинство фильмов смотрю дома по видео, а если в магазине увижу у прилавка больше двух человек, то, скорей всего, развернусь и уйду. Лучше обойдусь без того, за чем пришел. Особенно я ненавижу банки и почтовые отделения, где ты вынужден медленно двигаться в очереди, отгороженной шнурами, как на паспортном контроле в аэропорту. И, когда цель уже близка, приходится все время вертеть головой, чтобы не пропустить освободившегося оператора, но ты все равно пропускаешь, и какой-нибудь шустрый придурок позади обязательно ткнет тебя в почки и скажет: «Давай, твоя очередь». Теперь я стараюсь по мере возможности совершать банковские операции по телефону, а большую часть писем отправляю по факсу или вызываю курьера, если нужно переслать сценарий, но иногда мне требуются марки, и тогда приходится идти на почту и выстаивать в длинной очереди, состоящей из старых куриц и мамаш-одиночек с сопящими в колясках младенцами — они стоят кто за пенсией, кто за пособием, — и я едва сдерживаюсь, чтобы не заорать: «Может, пора уже завести окошко для тех, кто хочет просто купить марки? Кто хочет что-нибудь

отправить по почте? Здесь, между прочим, почта, нет?» Но, разумеется, это лишь слова, я легко могу с собой справиться, у меня и мысли нет поднимать шум в общественном месте, но такие у меня ощущения. Внешне я вообще человек сдержанный. Большинство моих знакомых не поверят, если я скажу им, что мне не хватает терпения. В мире ТВ у меня репутация человека мирного, невозмутимого, умеющего сохранять присутствие духа, когда все вокруг его теряют. Они также удивятся, узнав, что я переживаю из-за своего телосложения. Они думают, мне нравится, когда меня зовут Пузаном. Я намекнул пару раз, что не против, если меня станут называть по имени, но это как-то не привилось. Единственное, чем я в своей внешности умеренно доволен, это конечности — кисти рук и ступни. У меня довольно маленькие ноги, седьмой размер, ступни узкие, с высоким подъемом. Они очень хорошо смотрятся в итальянских туфлях, которые я покупаю чаще, чем следовало бы. Я всегда был легок на ногу, принимая во внимание тушу, которую моим ногам приходится нести: я хороший футболист и совсем неплохой танцор. По дому я передвигаюсь очень тихо, так что иногда моя жена подпрыгивает от

неожиданности, обернувшись и увидев меня за спиной. Кисти у меня тоже довольно маленькие, но с длинными, изящными, как у пианиста, пальцами, правда, «играть» я умею только на клавиатуре компьютера.

Я отдал самоописание Александре, она взглянула на него и спросила:

— И это все?

Я ответил, что это самый длинный цельный кусок прозы, который я написал за многие годы. Она сказала:

— Здесь нет абзацев, почему так? — И я объяснил, что привык писать реплики, спичи, где не нужны абзацы, поэтому мое самоописание получилось в виде монолога. И добавил:

— Я могу писать так, словно с кем-то разговариваю. — (Это правда. Возьмите, например, этот дневник — я не собираюсь его кому-нибудь показывать, однако писать я могу, только адресуя его «вам». Понятия не имею, кто этот «вы». Просто воображаемый, сочувствующий слушатель.) Александра убрала мое самоописание в ящик стола, чтобы прочитать позже. На следующем сеансе она сказала, что оно интересное, но очень негативное.

— В основном вы описываете недостатки своего

тела или мысли по этому поводу, и даже два положительных момента, упомянутые вами — ваши кисти и ступни, — вы принижаете замечаниями о том, что покупаете слишком много обуви и не умеете играть на пианино.

Александра считает, что я страдаю заниженной самооценкой. Возможно, она и права, хотя в газетах я читал, что сейчас это вообще распространенное явление. В настоящий момент в Британии наблюдается что-то вроде эпидемии заниженной самооценки, возможно как-то связанной со спадом. Но у меня другой случай. У меня спада нет. Я преуспеваю. Я состоятелен. Почти богат. «Соседей», которые идут уже пять лет, каждую неделю смотрят тринадцать миллионов человек, а еще есть американская версия, которая пользуется таким же успехом, есть версии и на других языках, которые идут по всему миру. Деньги от этих показов текут на мой банковский счет, как вода из крана. Так что же со мной происходит? Почему я неудовлетворен? Просто не понимаю.

Александра говорит — потому, что я перфекционист. Предъявляю к себе настолько высокие требования, что обречен на постоянное недовольство собой. Может, в этом и есть доля

правды. Большинство людей в шоу-бизнесе перфекционисты. Они могут ставить дерьмо, играть дерьмо, писать дерьмо, но они будут стараться сделать его *идеальным* дерьмом. В этом суть разницы между нами и остальным миром. Если вы приходите на почту купить марки, почтовый работник не ставит перед собой цели обслужить вас идеально. Возможно, расторопно, если вам посчастливится, но идеально — нет. Чего ему стараться? Какой смысл? Между первоклассной маркой и другой нет никакой разницы, да и число способов оторвать их от листа и сунуть вам через стойку очень ограничено. Изо дня в день, из года в год он делает одни и те же операции, находясь, как в ловушке, в колесе однообразного механического труда. Но каждая отдельная серия ситкома, какой бы банальной и стереотипной она ни была, всегда несет с собой что-то новое, и на это есть две причины. Первая — в отличие от марок, которые рано или поздно кому-то понадобятся, ситком никому *не нужен*, единственное оправдание его существования — способность доставить удовольствие, а этого не получится, если он будет таким же, как и на прошлой неделе. Вторая причина заключается в том, что все участники процесса осознают

первую причину и понимают, что должны сделать сериал как можно лучше, иначе они лишатся работы. Вы удивитесь, узнав, сколько коллективных усилий и мыслей вкладывается в каждую строчку, каждый жест, каждый крупный план. На репетициях, непосредственно перед записью, все думают: как можно заострить это, улучшить то, добиться больше смеха здесь… Потом критики отхлестают вас за пару слабых фраз. Телевизионные критики — это единственный недостаток телевидения. Видите ли, пусть у меня и заниженная самооценка, но это не означает, что я не хочу, чтобы меня высоко оценивали другие. Вообще-то я впадаю в жуткую депрессию, если меня не оценивают по достоинству. Но я, так или иначе, впадаю в депрессию, потому что недооцениваю сам себя. Я хочу, чтобы все считали меня идеальным, а сам в это не верю. Почему? Просто не понимаю. ПНП.

Еще в самом начале моего лечения Александра велела мне взять лист бумаги и написать в один столбик все хорошее, что у меня есть в жизни, а в другой — все плохое. В колонке «Хорошее» я написал:

1. Профессионально состоялся.

2. Богат.

3. Здоров.
4. Стабильный брак.
5. Дети успешно начали взрослую жизнь.
6. Красивый дом.
7. Отличный автомобиль.
8. Отдыхаю сколько захочу.

В колонке «Плохое» у меня получился всего один пункт:

1. Большую часть времени чувствую себя несчастным.

Несколько недель спустя я добавил еще один пункт:

2. Болит колено.

Меня угнетает не столько сама боль, сколько то, что она ограничивает мои возможности двигаться. Спорт для меня всегда был основным способом поддерживать здоровье, но и не только. Это просто наслаждение — бить по мячу, вести его по полю… я почувствовал это еще ребенком, когда играл в лондонском переулке. А еще мне нравилось всех удивлять, ведь я играл лучше, чем от меня ожидали, — мое толстое, неуклюжее тело в игре с мячом становилось удивительно подвижным и даже грациозным. (Мяч необходим: без него я грациозен, как бегемот.) Общеизвестно,

что спорт — это безобидный способ снять напряжение, сбросить лишний адреналин. Но лучше всего он помогает заснуть. Для меня ничто не сравнится с божественной, смертельной усталостью, которую испытываешь после напряженной партии в сквош, или восемнадцати лунок гольфа, или пяти сетов в теннис; с роскошью растянуться под простыней, когда ложишься в постель, зная, что вот сейчас без всякого усилия погрузишься в долгий, глубокий сон. Секс далеко не так эффективен. Он отключает вас на пару часов, не больше. Прошлой ночью мы с Салли занимались любовью (по ее инициативе, как у нас повелось в последнее время), и сразу же после этого, еще обнимая обнаженную жену, я мгновенно провалился в сон, словно меня огрели по голове мешком с песком. Но в 2.30 я проснулся, потому что замерз, и сна как не бывало, а Салли тихо дышала рядом со мной в своей огромной, не по размеру, футболке, которая заменяет ей ночнушку. И хотя я сходил в туалет и надел пижаму, снова заснуть не мог. Лежал, и в голове у меня крутились мысли… точнее, они все глубже и глубже спускались по спирали во тьму. Плохие мысли. Мрачные. Болело колено — думаю, его растревожил секс, — и я начал

спрашивать себя, не первые ли это признаки рака кости и как я справлюсь с ампутацией ноги, если не справляюсь всего лишь с Патологией Неизвестного Происхождения.

Такие мысли приходят в середине ночи. Ненавижу эти непроизвольные бдения, когда Салли преспокойно спит рядом, а я лежу в темноте и думаю, не включить ли лампу и не почитать ли немного, а может, спуститься вниз и выпить чего-нибудь горячего или принять снотворное, заполучив таким образом несколько часов забытья, но разбитый следующий день, когда ты чувствуешь, будто у тебя из костей откачали весь костный мозг и заменили его свинцом. Александра советует мне читать, пока я снова не почувствую сонливость, но я не хочу включать лампу, чтобы не потревожить Салли, да и вообще. Александра говорит, что мне следует встать и читать в другой комнате, но я не могу заставить себя спуститься вниз, в тишину и отчуждение пустого дома. Поэтому я лежу, как прошлой ночью, надеясь отключиться, и ворочаюсь с боку на бок в надежде найти удобное положение. Какое-то время я лежал, прижавшись к Салли, но ей стало жарко, и она оттолкнула меня во сне. Тогда я попытался обнять себя, плотно скрестив

руки на груди и обхватив ладонями плечи, как человек в смирительной рубашке. Вот что мне следовало бы надевать вместо пижамы, если хотите знать мое мнение.

Среда, 17 фев, 2.05 ночи. Сегодня вечером секса у нас не было, и я проснулся даже раньше — в 1.40. Ошалело уставился на красные цифры своего электронного будильника — словно на отблески адского пламени на полированной поверхности ночного столика. На этот раз я решил встать и, свесив ноги с кровати, нашарил тапки быстрее, чем успел передумать. Внизу натянул поверх пижамы спортивный костюм, приготовил чай и отнес его к себе в кабинет. И вот я здесь, сижу перед компьютером и набираю все это. Где же я был вчера? Ах да. Занимался спортом.

Роланд говорит, что мне не стоит заниматься спортом, пока окончательно не исчезнут симптомы — сами ли по себе или после новой операции, не важно. Мне разрешается работать на некоторых тренажерах в спортзале клуба, на тех, где нет нагрузки на колено, и можно плавать, только не брассом — по-видимому, лягушачьи движения вредны для коленного сустава. Но я никогда не любил заниматься на тренажерах

— это имеет такое же отношение к настоящему спорту, как мастурбация к настоящему сексу, если уж на то пошло; что же до плавания, то как следует только брассом я и умею плавать — так получилось. Сквош по понятным причинам исключается. Гольф тоже, к сожалению: поворот правой ноги, который следует за ударом, для колена смертелен. Но я по-прежнему немного играю в теннис, надевая наколенник, который не дает колену сгибаться до конца. Правую ногу приходится приволакивать, так что, прыгая по корту, я похож на Джона Сильвера, но это лучше, чем ничего. В клубе есть крытый корт, но нынешние мягкие зимы позволяют и на открытом играть круглый год — одна из немногих выгод от глобального потепления.

Я играю с тремя другими клубными калеками средних лет. Это Джо, у которого серьезные проблемы со спиной, он все время носит корсет, и верхняя подача дается ему с трудом; Руперт, несколько лет назад попавший в тяжелую автомобильную аварию и хромающий на обе ноги, если такое возможно; и Хамфри — с артритом голеностопного сустава и пластмассовым тазобедренным суставом. Мы беспощадно используем увечья друг друга в своих интересах.

Например, если, играя против меня, Джо подходит близко к сетке, я отбиваю мяч высоко, потому что понимаю — поднять ракетку над головой он не может, а если я защищаю заднюю линию площадки, он все время меняет направление ударов из угла в угол, потому что знает — из-за своего фиксирующего наколенника я не могу быстро перемещаться по корту. Глядя на нас, нельзя не заплакать — то ли от смеха, то ли от жалости.

Естественно, я больше не могу играть в паре с Салли, и это очень обидно, потому что как смешанная пара мы очень неплохо выступали на соревнованиях ветеранов клуба. Иногда она со мной разминается, но не играет один на один, говорит, что, добиваясь победы, я не посмотрю и на колено, и, возможно, она права. Когда я был здоров, то, как правило, всегда ее обыгрывал, но теперь она совершенствует свою игру, тогда как я сдаю. На днях я был в клубе, играл со своей инвалидной командой, и тут появилась она, приехав прямо с работы на занятия с тренером. Я вообще-то очень удивился, когда она прошла позади крытого корта с Бреттом Саттоном, клубным тренером, потому что не ожидал ее там увидеть. Я не знал, что она берет уроки, или,

вероятнее всего, она говорила, а я пропустил мимо ушей. В последнее время это становится пугающей меня привычкой: люди обращаются ко мне, я слушаю и механически отвечаю, но когда разговор окончен, я вдруг осознаю, что не слышал не единого слова, потому что раскручивал цепочку каких-то своих мыслей. Это еще один вид Патологии Неизвестного Происхождения. Салли от этого просто сатанеет — ее можно понять, — поэтому, когда она небрежно помахала мне, я также небрежно помахал в ответ на случай, если должен был знать, что в тот день она придет на занятие. Вообще-то в первые две секунды я ее не узнал — просто заметил высокую, привлекательную блондинку. На ней был спортивный костюм, конфетно-розовый с белым, которого я раньше не видел, а к ее новому цвету волос я так до сих пор и не привык. Как-то незадолго до Рождества она ушла утром седая, а днем вернулась золотистая. На мой вопрос, почему она меня не предупредила, она ответила, что хотела увидеть мою непроизвольную реакцию. Я сказал, что она выглядит потрясающе. И если в моем голосе не прозвучало достаточно энтузиазма, то исключительно из зависти. (Я безуспешно пытался лечить свое облысение. В

последний раз нужно было несколько минут висеть вниз головой, чтобы кровь приливала к лысине. Это называлось Инверсивной Терапией.) Когда в теннисном клубе до меня дошло, что это Салли, я почувствовал некоторый прилив гордости собственника, глядя на ее гибкую фигуру и подпрыгивавшие золотистые локоны. Остальные тоже обратили на нее внимание.

— Ты присматривай за своей хозяйкой, Пузан, — сказал Джо, когда мы менялись местами между геймами. — К тому моменту, как ты поправишься, она заткнет тебя за пояс.

— Ты думаешь? — спросил я.

— Да, у нее хороший тренер. Говорят, он и по другой части не промах. — Джо подмигнул остальным,
и, разумеется, Хамфри его поддержал.

— Да, снаряжение у него что надо. Я тут на днях видел его в душе. У него дюймов десять, не меньше.

— А ты сколько можешь предложить, Пузан?

— Придется поработать над собой.

— Тебя когда-нибудь арестуют, Хамфри, — отозвался я. — За подглядывание в душе за мужчинами. — Троица загоготала.

Мы постоянно так подшучиваем друг над

другом. Вреда в этом нет. Хамфри холостяк, живет с матерью, подружки у него нет, но никто и на секунду не подумает, что он гей. Если бы мы подозревали, не подтрунивали бы над ним по этому поводу. То же и в отношении намеков на Бретта Саттона и Салли. Это традиционная клубная шутка, будто все женщины в клубе с ума сходят, увидев его — он высокий, темноволосый и так красив, что может себе позволить собирать волосы в хвост и не выглядеть при этом педиком, — но на самом деле никто не верит, что он крутит амуры.

Я почему-то вспомнил этот эпизод, когда сегодня вечером мы ложились в постель, и пересказал его Салли. Фыркнув, она ответила:

— Не поздновато ли уже тебе волноваться о длине своего дружка?

Я ответил, что для истинно одержимого сомнениями никогда не бывает слишком поздно.

Хотя в одном я никогда не сомневался — в верности Салли. Конечно, за тридцать с лишним лет нашего брака у нас всякое бывало, но мы хранили друг другу верность. Хотя других возможностей у нас было предостаточно, по крайней мере у меня, учитывая, что представляет

собой мир шоу-бизнеса, да и у нее, не побоюсь сказать, тоже, хотя вряд ли ее профессия предоставляет столько соблазнов, сколько моя. Ее коллеги в Политехе, или в университете, как я должен приучиться его называть, не кажутся мне слишком привлекательными. Но дело не в этом. Мы никогда друг другу не изменяли. Как я могу быть уверен? Просто уверен, и все. Салли была девственницей, когда мы с ней познакомились, в те дни это было принято среди порядочных девушек, да и сам я был не столь уж опытен. Моя сексуальная история составляла весьма тощенький томик, состоящий из отдельных, случайных совокуплений с гарнизонными шлюшками в армии, с пьяными девчонками на вечеринках в театральной школе и с одинокими хозяйками сомнительных заведений, где квартировали актеры. Думаю, ни с одной из них я не занимался сексом больше двух раз, это всегда происходило очень быстро, неизменно в миссионерской позиции. Чтобы насладиться сексом, нужен комфорт — чистые простыни, жесткий матрас, теплая спальня — и отсутствие помех. Мы с Салли вместе учились заниматься любовью, более или менее с нуля. Я уверен, если бы она сходила налево, я бы это

почувствовал по каким-нибудь новым черточкам в ее поведении, непривычным движениям рук или ног, отклонениям от обычных ласк. Мне всегда трудно поверить в истории, связанные с изменами, особенно с теми, где один обманывает другого годами. Да как тут не догадаться? Разумеется, про Эми Салли не знает. Но, с другой стороны, у нас с Эми и не роман. А что у меня с ней? Просто не понимаю.

Я познакомился с Эми шесть лет назад, когда ее наняли помогать в подборе актеров для первых блоков «Соседей». Нечего и говорить, что справилась она блестяще. В нашем деле распространено убеждение, что девяносто процентов успеха ситкома зависит от удачного выбора актеров. Как сценарист, я бы, естественно, с этим поспорил, но даже самый лучший в мире сценарий ничего не решит, если актеры будут не те, — это правда. А подходящих актеров не всегда определишь с первого взгляда. Именно Эми предложила, например, попробовать на роль Присциллы, матери семейства из среднего класса, Дебору Рэдклифф — классическую актрису, которая только что рассталась с Королевским Шекспировским театром и никогда в жизни не играла в ситкоме. Никто, кроме Эми, не увидел

бы в ней Присциллу, но Дебора чувствует себя в этой роли как рыба в воде. Теперь ее имя у всех на устах, и она может заработать до пяти тысяч за тридцатисекундный рекламный ролик.

Занятное это дело — подбор актеров. Талант сродни способности предсказывать будущее или отыскивать воду, но к нему требуется еще и тренированная память. У Эми не память, а компьютер: когда вы просите о подборе на какую-то роль, она впадает в подобие транса, уставившись в потолок, и вы только что не слышите пощелкивания у нее в голове, пока она перебирает виртуальные карточки с основными данными всех актеров и актрис, которых она когда-либо видела. Когда Эми идет на спектакль, она не просто смотрит, как актеры играют свои роли, она все время представляет их в других ролях, поэтому к концу вечера она не только впитывает их игру, но и определяет их потенциал для совсем других ролей. Посмотрев вместе с Эми «Макбета» в Королевском Шекспировском театре, вы, например, заметите по дороге домой: «Ну разве Дебора Рэдклифф не великолепная леди Макбет?», на что Эми ответит: «М-м-м, я бы хотела посмотреть ее в роли Джудит Блисс в «Сенной лихорадке». Иногда я спрашиваю себя, не мешает

ли ей эта привычка получать удовольствие от спектакля. Возможно, именно это нас и сближает — мы не способны жить в настоящем, постоянно тоскуя о каком-то недосягаемом призраке совершенства.

Однажды я так и сказал.

— Чушь, дорогой, — ответила Эми. — При всем моем огромном уважении, это полная cojones

[5] [broken link: #_ftn5]. Ты забываешь, что иногда мне удается поймать идеальное соответствие актера и роли. *Тогда* я наслаждаюсь представлением, и только им. Ради этих моментов я и живу. Кстати, ты тоже. Я хочу сказать, что когда все в серии идет в точности как надо, ты, затаив дыхание, сидишь перед телевизором и думаешь: «Это не может долго продолжаться, сейчас все пойдет насмарку», но они справляются, и ничего не рушится - в этом все дело, n'est ce pas?[6] [broken link: #_ftn6]

— Не припомню, когда серия казалась мне настолько хорошей, — сказал я.

— А та, с задымлением?

— Да, с задымлением была ничего.

— Чертовски хороша.

Вот что мне нравится в Эми — она постоянно поднимает мою самооценку. У Салли более

волевой подход: прекрати хандрить и живи дальше. Эти две женщины во всем полная противоположность. Салли блондинка, голубоглазая английская роза, высокая, гибкая, спортивная. Эми — средиземноморский тип (ее отец был грек-киприот): темная, невысокая, яркая, кудрявые черные волосы и глаза, как изюмины. Она курит, сильно красится и никогда не ходит пешком, не говоря уж о том, чтобы пробежать, если, конечно, обстоятельства не вынуждают. Однажды мы опаздывали на поезд: я метнулся вперед и держал для нее дверь, пока она не доковыляла на высоких каблуках, похожая на встревоженную утку, при этом все ее ожерелья, серьги, шарфики, сумочки и прочие парафернали так и подпрыгивали. Я расхохотался. Просто не смог удержаться. Забравшись в вагон, запыхавшаяся Эми спросила, что тут смешного, а когда я объяснил, не разговаривала со мной до конца поездки. (Кстати, я только что посмотрел в словаре слово «парафернали», так как не был уверен, что правильно его написал, и обнаружил, что оно происходит от латинского paraphema, что означает «личная собственность женщины, помимо ее приданого». Интересно.)

Мы вообще редко цапаемся. Как правило, мы очень хорошо ладим, обмениваемся профессиональными слухами, жалуемся и подбадриваем
друг друга, сравниваем свое лечение. Эми разведена, воспитывает четырнадцатилетнюю дочь Зельду, которая как раз сейчас начинает открывать для себя мальчиков и постоянно доводит Эми своими запросами в выборе одежды, поздними возвращениями домой и посещением сомнительных дискотек и т. д. и т. п. Эми страшно боится, что Зельда, того гляди, начнет заниматься сексом и пристрастится к наркотикам, и очень переживает, когда девочка уезжает один раз в месяц на выходные к бывшему мужу Эми, Солу, театральному менеджеру, который, по словам Эми, совершенно аморальный тип. Если процитировать ее дословно: «Он не признает моральных устоев, даже если уткнется в них носом». Тем не менее ее гложет вина за распад семьи, она боится, что Зельда собьется с пути истинного без мужчины в доме. Сначала Эми пошла к психоаналитику, чтобы понять, почему разладились их с Солом отношения. В душе она уже знала: из-за секса. Сол хотел в постели разных вещей, на которые она не соглашалась, а он со

временем нашел женщину, которая согласилась. Но Эми до сих пор пытается разобраться, была ли это его вина или ее, и, похоже, ни на йоту не приблизилась к разгадке. Психоанализ — метод своеобразный; чем больше копаешься, тем длиннее становится путь к себе.

Мы с Эми встречаемся почти каждую неделю, когда я приезжаю в Лондон. Иногда мы идем в театр, но гораздо чаще просто проводим вместе тихий вечер в квартире или перекусываем в одном из ближайших ресторанов. В наших отношениях никогда не возникал вопрос о сексе, потому что на самом деле Эми не очень-то хочет этого, а мне не очень-то и надо. Секса у меня хватает дома. В настоящее время у Салли неукротимый эротический аппетит, думаю, из-за гормонозамещающей терапии, которую она получает во время менопаузы. Иногда, чтобы подстегнуть свое слабеющее либидо, я предлагаю разные штучки, которые Сол хотел проделать с Эми, и Салли еще ни разу не отказалась. Когда она спрашивает, откуда у меня такие идеи, я говорю, что из журналов и книг, и она вполне удовлетворяется этим ответом. Если Салли узнает, что в Лондоне я вижусь с Эми, ее это не будет беспокоить, так как я ничего не скрываю.

Салли считает, что наши встречи связаны с профессиональными интересами, и отчасти так и есть.

Поэтому действительно можно сказать, что я нашел выход, верно? Решил проблему моногамности, она же проблема монотонности, не испытывая вины за неверность. У меня плотские отношения с женой и платонические с любовницей. На что мне жаловаться? Просто не понимаю.

Три тридцать. Пожалуй, пора вернуться в постель и попытаться до рассвета урвать еще несколько часов сна.

Среда, 11 утра. Я действительно поспал несколько часов, но сон не принес бодрости. Проснулся я разбитым, как бывало после караульной службы в армии: два часа на посту, четыре — сон, и так всю ночь, а если это выходные — то и весь день. Господи, пишу, и снова все встает перед глазами: спишь урывками, одетый — в ботинках, которые набивают лодыжки, в сдавившем горло обмундировании, — под ярким светом голой электрической лампочки, а потом, грубо разбуженный, успеваешь сделать несколько глотков не слишком сладкого, чуть теплого чая и, если повезет, съесть холодную

застывшую яичницу с запеченной фасолью, а потом тащишься, зевая и ежась, в ночь. Два часа слоняешься у ворот казармы или обходишь дозором тихие закрытые домишки и магазины, слушая звук собственных шагов и наблюдая, как твоя тень то удлиняется, то укорачивается в свете люминесцентных ламп. Позвольте мне на минуту сосредоточиться на этом воспоминании, закрыть глаза и попытаться пожалеть себя тогдашнего, чтобы по достоинству оценить свой нынешний комфорт.

Попытался. Бесполезно. Не получается.

Набираю это на своем ноутбуке в поезде до Лондона. В первом классе, естественно. Определение состоятельного человека: тот, кто платит за проезд в первом классе из своего кармана. Конечно, это вычитается из суммы, облагаемой подоходным налогом, но тем не менее… Большинство моих соседей по вагону едут за счет своих фирм. Бизнесмены при «дипломатах» с электронными замками и при мобильных телефонах; бизнес-леди в пиджаках с широкими плечами и раздутыми портфелями. Чудаковатый, аристократического вида пенсионер в твидовом костюме. Я сам

сегодня в костюме в честь «Граучо», но иногда, когда я в джинсах и кожаной куртке, да еще со своими волосами, свисающими до воротника, как у бродяги, люди косятся на меня с подозрением, наверное, думают, что я сел не в тот вагон. Но только не кондукторы — они меня знают. Я много езжу по этой линии.

Однако не подумайте, что я горячий поклонник Британских железных дорог. Au contraire

[7] [broken link: #_ftn7], как сказала бы Эми (она любит пересыпать свою речь иностранными словечками). Мне в этой организации очень многое не нравится. Например, не нравится запах разогретых в микроволновке булочек с беконом и помидорами, который отравляет воздух в вагоне каждый раз, когда кто-то открывает полистироловую коробочку, принесенную из вагона-ресторана. Мне не нравятся серные запахи смазки тормозов пульмановского вагона, которые проникают внутрь вагона и смешиваются с запахом булочек с беконом и помидорами. Мне не нравится и вкус булочки с беконом и помидорами, когда я по глупости сам ее покупаю, подавив воспоминание, какой отвратительной она была в последний раз. Мне не нравится, что, спросив в ресторане чашку

кофе, вы получите огромный пластиковый стакан, если забудете попросить маленькую (то есть обычную) порцию. Мне не нравится то, как сильно раскачивается поезд независимо от скорости, из-за чего кофе, когда вы подносите его к губам, выплескивается из пластикового стакана, ошпаривая вам пальцы и капая на колени. Мне не нравится, что окна запечатаны и, если выходит из строя кондиционер, а это случается довольно часто, проветрить вагон нельзя. Мне не нравится, что постоянно в обоих концах вагона заклинивает автоматические раздвижные двери и закрыть их невозможно, а если их все же закрывают, то они снова медленно открываются сами или их оставляют открытыми проходящие мимо пассажиры, думая, что двери закроются автоматически, и тогда вы либо вскакиваете каждые две минуты и закрываете их, либо сидите на постоянном сквозняке. Правда, если кондиционеры сломались, открытые двери никогда не заклинит. Мне не нравятся защелки в туалетах, которые должны удерживать сиденье унитаза в вертикальном положении и которые часто бывают слабы или сломаны, так что в разгар процесса, когда одной рукой вы держитесь за поручень, а другой направляете

своего дружка, сиденье внезапно падает из-за рывка поезда, и струя мочи льется вам на брюки. Мне не нравится, что на участке пути, который проходит параллельно Ml, поезд всегда мчится на предельной скорости, обгоняя автомобили и грузовики, чтобы продемонстрировать все преимущества передвижения по железной дороге, а через несколько минут останавливается в поле рядом с Регли из-за поломки семафора.

О-о! Ох! У-у-й! Внезапный приступ боли в колене, без всякой видимой причины.

Салли недавно сказала, что теперь это мое жало в плоть. Я заинтересовался, откуда пошло это выражение, и посмотрел в словаре. (Я постоянно заглядываю в словари — так компенсирую недостаток образования. В моем кабинете множество справочников, я покупаю их с маниакальным постоянством.) Оказалось, что это из Второго послания св. апостола Павла к коринфянам: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился…»

[8] [broken link: #_ftn8] Я вернулся на кухню с Библией, весьма довольный собой, и прочитал

этот стих Салли. Она уставилась на меня: «Но я же только что тебе это сказала», и я понял, что снова отвлекся и думал над происхождением выражения, пока Салли со мной говорила.

— Нуда, я помню, ты сказала, что из святого Павла, — солгал я. — Но при чем здесь мое колено? Текст несколько туманен.

— В том-то все и дело, — ответила она. — Никто не знает, что за жало в плоти было у Павла. Это тайна. Как твое колено.

Салли много знает о религии, гораздо больше меня. Ее отец был викарием.

Ну вот, поезд без всяких видимых причин остановился в чистом поле. Во внезапно наступившей тишине разговор по сотовому соседа — мужчины без пиджака, сидящего через проход от меня, — о контракте на стеллажи для склада звучит раздражающе навязчиво. По правде говоря, я предпочел бы добираться до Лондона на автомобиле, но едва вы съезжаете с Ml, движение становится просто невозможным, да и по самому М1 не лучше, а парковаться в Уэст-Энде такое мучение, что оно того не стоит. Поэтому я еду лишь до станции «Раммидж Экспо», что всего в пятнадцати минутах от дома, и там оставляю машину на стоянке. На

обратном пути я всегда немного беспокоюсь — вдруг ее кто-нибудь поцарапал или даже угнал, поэтому она оборудована всеми новейшими системами охраны и сигнализации. Прекрасная машина: шесть цилиндров, 24 клапана, объем двигателя три литра, автоматическая коробка передач, гидроусилитель руля, круиз-контроль, кондиционер, антиблокировка тормозов, аудиосистема с шестью колонками, управляемая крышка люка и все остальные примочки по последнему слову техники. Летит она как ветер, плавно и бесшумно. Эта невероятно тихая, дающаяся без видимого усилия мощь меня опьяняет. Я никогда не был любителем шумных — брм, брммм — спортивных автомобилей и никогда не понимал британской страсти переключать скорости вручную. У меня есть догадка — может, это бесконечное поглаживание рукоятки переключателя скоростей, это ритмическое нажатие на педаль сцепления является заменителем секса. Говорят, что машина среднего класса с автоматической коробкой передач не дает такого ускорения, как с механической, но с таким мотором, как у меня, его вполне достаточно. Кроме того, она немыслимо, до замирания сердца красива.

Я влюбился в нее с первого взгляда — она стояла в демонстрационном зале, низкая и обтекаемая, сотканная, казалось, из тумана, сквозь который просвечивает солнце, жемчужно-серая, серебристая с перламутровым отливом. Я все время находил повод лишний раз проехать мимо демонстрационного зала, чтобы полюбоваться ею, и каждый раз меня охватывал трепет желания. Осмелюсь предположить, что множество других людей, проезжавших мимо, испытывали то же самое, но в отличие от них мне не нужно было задумываться, могу ли я себе это позволить, стоило просто войти в магазин и заплатить. Но я колебался и медлил. Почему? Потому что когда я не мог позволить себе такую машину, я такие машины не одобрял: быстрые, шикарные, неэкономичные — и японские. Я всегда говорил, что никогда не куплю японскую машину не столько из соображений экономического патриотизма (я все время водил «форды», которые оказывались собранными в Бельгии или Германии), сколько по причинам эмоциональным. Я достаточно стар, чтобы помнить Вторую мировую войну, и у меня был дядя, который воевал и умер в плену на строительстве Сиамской железной дороги.

Я думал, что, если я куплю этот автомобиль, со мной что-нибудь случится, или, уж во всяком случае, я буду чувствовать себя виноватым или несчастным. И все равно я жаждал его. Он стал одним из моих «пунктиков» — когда я не могу принять решение, не могу забыть, не могу оставить в покое. Пунктиков, из-за которых я в тревоге просыпаюсь по ночам.

Я купил все автомобильные журналы, надеясь найти уничтожающую критику этой машины, призванную помочь мне принять отрицательное решение. И напрасно. Часть отчетов по результатам испытаний была выдержана в слегка снисходительном тоне, вот некоторые из эпитетов: «легкая», «послушная», даже «загадочная», но никто не находил в ней ничего дурного.

В томлении я не спал почти целую неделю. Вы можете в это поверить? В то время как бушевала война в Югославии, тысячи людей умирали от СПИДа в Африке, рвались бомбы в Северной Ирландии, а в Британии неуклонно росли темпы безработицы, я не мог думать ни о чем другом, кроме одного: покупать мне этот автомобиль или нет.

Я начал действовать Салли на нервы.

— Бога ради, пойди и опробуй эту машину и, если тебе понравится, купи ее, — сказала она. (Сама она водит «эскорт», меняет его каждые три года после двухминутного разговора со своим дилером, и больше об этом не вспоминает.) Итак, я совершил пробную поездку. И конечно, автомобиль мне понравился. Я в него влюбился. Машина совершенно пленила меня и привела в восторг. Но я сказал продавцу, что подумаю.

— О чем тут думать? — потребовала ответа Салли, когда я вернулся домой. — Тебе она нравится, ты можешь ее себе позволить, так почему не купить?

Я сказал, что утро вечера мудренее. Разумеется, это означало, что всю ночь я в терзаниях пролежал без сна. Наутро за завтраком я объявил, что принял решение.

— Да? — спросила Салли, не отрываясь от газеты. — И какое же?

— Я решил не покупать, — сказал я. — Какими бы иррациональными ни были мои сомнения, я никогда от них не освобожусь, и поэтому решил не покупать.

— О'кей, — ответила Салли. — Что ты купишь взамен?

— Вообще-то мне ничего не нужно, — сказал

я. — Мой автомобиль еще вполне прослужит год-два.

— Отлично, — отозвалась Салли, но в голосе ее послышалось разочарование. И я снова начал волноваться, что принял неверное решение.

Пару дней спустя я проезжал мимо магазина и увидел, что машины нет. Зашел туда и напал на продавца. Буквально стащил со стула за грудки, как это показывают в кино. Кто-то другой купил мой автомобиль! Я не мог в это поверить. У меня было такое чувство, словно мою невесту похитили накануне свадьбы. Я сказал, что хочу этот автомобиль. *Я должен иметь этот автомобиль.* Продавец сказал, что добудет мне другой через две-три недели, но, проверив по компьютеру, выяснил, что в стране нет точно такой модели такого же цвета. Их не производят по лицензии в Британии — их импортируют из Японии на основании квоты. Продавец сказал, что одна такая машина уже плывет в грузовом судне где- то в море, но доставка займет месяца два. Короче говоря, все закончилось тем, что я заплатил 1000 фунтов сверху, чтобы обойти парня, который только что купил мой автомобиль.

И я ни разу об этом не пожалел. Водить мою машину — радость. Мне только жаль, что мамы с

папой больше нет в живых, а то бы я их покатал. Мне нужен кто-то, в ком могло бы отразиться сияние моей гордости владельца. От Салли толку мало — автомобиль для нее всего лишь полезный механизм. Эми никогда его не видела, потому что я не езжу на нем в Лондон. Мои дети во время своих редких визитов смотрят на него с насмешкой и неодобрением — Джейн называет его «супермобиль», а Адам говорит, что таким образом я компенсирую свое облысение. Мне нужен понимающий пассажир. Как Морин Каваног, например, моя первая подружка. В те далекие времена наши семьи не могли позволить себе машины. Поездка в автомобиле была редким приключением, полным новых ощущений. Помню, как Морин пришла в восторг, когда мой дядя Берт на какой-то праздник повез нас в Брайтон на своем старом, пахнущем бензином и кожей довоенном «зингере», который покачивался на рессорах, словно детская коляска. Я представляю, как подъезжаю к ее дому в своем нынешнем суперавтомобиле обтекаемой формы и вижу, как в окне мелькает ее изумленное лицо; потом она вылетает из парадной двери и несется от крыльца, пробует все технические штучки, подпрыгивая и ерзая на сиденье, морща от смеха

нос и с обожанием глядя на меня, сидящего за рулем. Именно так она делала: смотрела на меня с обожанием. С тех пор никто так на меня не смотрел, ни Салли, ни Эми, ни Луиза, никакая другая из нравившихся мне женщин. Морин я не видел почти сорок лет — бог знает, где она сейчас, что делает, как выглядит. Я представил себе: вот она сидит рядом со мной в машине, ей по-прежнему шестнадцать, она в своем лучшем летнем платье, белом с розовыми розами, хотя сам я такой, как сейчас, — толстый, лысый и пятидесятивосьмилетний. Пусть это глупо, но зачем нам тогда дано воображение?

Поезд приближается к Юстонскому вокзалу. Начальник поезда извинился по внутренней связи за опоздание «из-за поломки семафора на подъезде к Трингу». До того как министр транспорта объявил о своем плане отделить компанию, которая обслуживает пути, от компаний, в ведении которых находятся поезда, я сочувствовал планам приватизации «Бритиш рейл». Но теперь представляю, во что это выльется и какие будут великолепные оправдания по поводу опоздания поездов. Они с ума там посходили? Или это ПНИ правительства?

Вообще-то я слышал, что у Джона Мейджора

побаливает колено. Видимо, ему пришлось бросить крикет. Это многое объясняет.

Среда, 10.15 вечера. Только что ушла Эми. Из ресторана «Габриэлли» мы вернулись в квартиру — посмотреть «Новости в десять» по моему маленькому «Сони», чтобы быть в курсе мировых ужасов (зверства в Боснии, наводнение в Бангладеш, засуха в Зимбабве, надвигающийся коллапс экономики в России, самый худший из когда-либо зарегистрированных торговых дефицитов Британии), а потом я посадил ее в такси до Сент-Джонс-Вуда. Из-за Зельды она не любит без особых причин задерживаться где-то допоздна, хотя ее жиличка Мириам, врач по речевым расстройствам, — настоящая домоседка и присматривает за девочкой, когда Эми вечером нет дома.

Теперь я один в квартире, а возможно, и во всем здании. Другие владельцы бывают здесь лишь изредка, как и я, — тут живет стюардесса, потом швейцарский бизнесмен, работа которого связана с постоянными перелетами между Лондоном и Цюрихом в сопровождении секретарши и/или любовницы, и еще пара геев-американцев, они какие-то преподаватели, приезжающие сюда только во время университетских каникул.

Две квартиры до сих пор не проданы из-за экономического спада. Сегодня я никого не видел ни в лифте, ни в холле, но я никогда не чувствую себя здесь одиноко, как иногда днем в нашем доме, когда Салли на работе. В пригородах на улицах так тихо. А здесь тишины не бывает никогда, даже ночью. Шум и вибрация от автобусов и такси, ползущих по Чаринг-Кросс-роуд на малой скорости, пробиваются даже сквозь двойные стекла, изредка все перекрывает пронзительный вой полицейской сирены или машины «скорой помощи». Подойдя к окну, я могу увидеть улицу, допоздна заполненную людьми, которые возвращаются из театра, кино, ресторанов и пабов или стоят, жуя мусорную пищу, купленную на ходу, и потягивая из банок пиво или колу; их дыхание в холодном ночном воздухе превращается в пар. Очень редко кто из них поднимет глаза выше вывески итальянского ресторана на первом этаже и заметит, что над ним расположены еще шесть роскошных квартир и в одной из них у окна стоит, отодвинув штору и глядя вниз, мужчина. Ни у кого и в мыслях нет, что в таком месте можно *жить*, и в самом деле, жить здесь триста шестьдесят пять дней в году было бы не очень весело. Слишком шумно и

грязно. Шум не только от транспорта, но еще и от непрерывно воющих вентиляторов ресторана с обратной стороны здания. Грязь как будто висит в воздухе, отчего на любой поверхности остается тонкий слой черной пыли, хотя большую часть времени я держу окна закрытыми; грязно и на земле, тротуар вечно покрыт отвратительной патиной плевков, блевотины, разлитого молока и пива и усеян раздавленными коробками из-под гамбургеров, смятыми жестянками, целлофановыми обертками и бумажными пакетами,
грязными салфетками и использованными автобусными билетами. Усилия уличных уборщиков Вестминстерского района просто сходят на нет из-за численного превосходства производящих мусор пешеходов. В этом уголке Лондона полно и людских отбросов общества: пьяниц, бездельников, разных криминальных личностей и просто ненормальных. К вам постоянно пристают попрошайки, а к 10 вечера под дверью каждого магазина уже спит постоялец. «Louche» — такой приговор вынесла Эми этому району, когда я впервые привел ее сюда, не уверен, что это правильное слово. (Я посмотрел в словаре, оно означает «темный,

подозрительный» и «враждебный».) В полумиле отсюда находится район порно- и пип-шоу. Здесь рядом с букинистическими магазинами и известными театрами теснятся заведения быстрого питания и многозальные кинотеатры. Это вам, разумеется, не фешенебельный район, но для загородного жителя, как я, трудно найти в столице более приемлемое место. Лондон в любом случае — навозная куча. И уж если ты вынужден здесь жить, лучше сидеть на лоснящейся верхушке дымящейся навозной кучи, чем каждое утро и каждый вечер прокладывать себе путь сквозь все слои слежавшегося старого дерьма. Я-то знаю: поездил в свое время из пригорода в столицу.

Когда двенадцать лет назад в связи с новой работой Салли мы перебрались из Лондона в Раммидж, друзья смотрели на меня с плохо скрытой жалостью, словно нас ссылали в Сибирь. Я и сам, честно говоря, с опаской думал о будущем, поскольку никогда в своей жизни не жил севернее Палмерс-Грин (не считая службы на тренировочной армейской базе в Йоркшире и поездок на гастроли в бытность мою актером, но ни то ни другое не подпадает под определение «жить»). Но все же было бы несправедливо

лишить Салли возможности карьерного роста от школьной учительницы до преподавателя высшего учебного заведения. Когда она была заместителем директора начальной школы в Стоук-Ньювингтоне, ей приходилось вкалывать как проклятой, а свою докторскую диссертацию писать в свободное время. Так что для ее исследований в области психолингвистики и овладения языком (не просите меня объяснить, что это такое) объявление о вакансии лектора от Управления образования в Раммиджском политехе подвернулось как нельзя более кстати. Она подала заявление и получила эту должность. Сейчас она старший лектор. А теперь, когда Политех стал университетом, у нее появилась перспектива со временем стать профессором. Профессор Салли Пассмор — это звучит. Жаль, что с названием университета вышла такая петрушка. Назвать его университетом Раммиджа нельзя было, ведь один уже есть, поэтому остановились на университете Джеймса Ватта, в честь великого изобретателя, который родом отсюда. Держу пари, что это довольно громоздкое название сократится до университета Ватта, и вообразите, какую путаницу это вызовет.

— В каком университете вы учитесь?

— В университете Ватта.

— Какая вата?

— Да не вата, а Ватта.

И так до бесконечности.

Как бы то ни было, я немного волновался из-за переезда, мы все тревожились, даже дети, которые всю жизнь прожили на юго-востоке Лондона. Но нас ожидала приятная неожиданность — на деньги, вырученные от продажи нашего неряшливого, еще довоенной постройки дома на несколько семей в Палмерс-Грин нам удалось купить в Раммидже, в хорошем районе, просторный, с пятью спальнями особняк в эдвардианском стиле. Впервые за годы семейной жизни у меня появился собственный кабинет с видом на лужайку, окруженную старыми деревьями, вместо «фонаря» на нашей бывшей веранде, откуда открывался вид на ряд прилепившихся друг к другу таких же неряшливых домишек на другой стороне улицы. Второе, что мы обнаружили, — Салли и дети теперь добирались до колледжа и школ вдвое быстрее, чем в Лондоне; а третий сюрприз заключался в том, что за пределами Лондона люди всё еще вежливы, продавцы говорят «чудесно», когда ты даешь им деньги без сдачи,

таксисты приятно удивляются чаевым, а рабочие, пришедшие починить стиральную машину, отремонтировать дом или залатать крышу, — вежливы, профессиональны и надежны. В те дни высочайшее качество жизни в Британии за пределами Лондона еще тщательно скрывалось от британцев, и мы с Салли от души веселились, вспоминая всех наших лондонских друзей, которые жалеют нас, а сами простаивают в пробках, висят на поручнях в битком набитых вагонах метро или безуспешно пытаются вызвать слесаря по телефону в выходные. С нашим переездом в Раммидж удача улыбнулась нам и во многом другом. Кто знает, увидели бы когда-нибудь «Соседи» свет, если бы на городском приеме, куда пригласили Салли, я не познакомился с Олли Силвером, и как раз в тот момент, когда «Хартленд» искал новую идею для ситкома…

Когда Джейн и Адам закончили школу и поступили в университет, мы переехали в Холлиуэлл, полусельский пригород на южной окраине города, — подозреваю, что на юго-востоке его бы нарекли поясом биржевых брокеров, хотя на землях Центральной Англии биржевых брокеров водится не так уж много. Наши соседи

— по большей части старшие управляющие промышленных предприятий, бухгалтеры, врачи и юристы. Все дома — разного стиля современные особняки — стоят далеко от дороги и напичканы сигнализацией. Здесь зелено и тихо. Самый громкий звук по выходным — это жалобное завывание электрокара, который развозит по домам обезжиренное молоко, натуральный йогурт и яйца из-под кур, никогда не знавших клеток. Иногда в выходные дни можно услышать гулкое цоканье копыт пони или шорох шин «рейнджровера» по асфальту. Всего в десяти минутах езды находится загородный клуб: поле для гольфа на восемнадцать лунок, теннисные корты, крытый и открытый бассейны и спа. Это главная причина того, что мы перебрались в Холлиуэлл… и потому, что наш новый дом недалеко от станции «Раммидж Экспо».

Станцию построили совсем недавно для обслуживания Международного выставочного центра и аэропорта. Она вся из себя современная, этакий хайтек, правда, на мужской туалет его не хватило. Почему-то посреди царства мрамора, стекла и хромированных панелей было с любовью воссоздано отхожее место в стиле Британских железных дорог во всех деталях

— с настенными цинковыми писсуарами, щербатым белым кафелем и даже густой вонью засорившихся стоков. А так «Раммидж Экспо» — большой шаг вперед по сравнению с «Раммидж-Центральной», и мне от нее до Лондона ближе на целых двенадцать минут. Если вы заняты в какой-нибудь отрасли шоу-бизнеса, вы, естественно, не можете бесконечно пребывать вдали от Лондона. «Хартленд» снимает в собственной студии в Раммидже, которую арендует на льготных условиях — благодаря тому, что обеспечивает занятость в этом районе и все прочее, — но офис компании в Лондоне, и репетиции большинства программ проходят там, потому что именно там живет большинство актеров и режиссеров. Поэтому я постоянно мотаюсь до Юстона и обратно по доброй старой БЖД. Квартиру я купил три года назад, отчасти чтобы вложить деньги (хотя цены на недвижимость с тех пор упали), но в основном желая избавить себя от изматывающих поездок в оба конца за один день или утомительной регистрации «прибыл-убыл» в гостиницах. Наверное, в глубине души мелькала и мыслишка о встречах с Эми.

В последнее время я еще больше оценил уединение и анонимность своего жилья. Никто

из пешеходов внизу и не догадывается, что я здесь, наверху, за двойными рамами своего уютного гнездышка с центральным отоплением. И если я спущусь вниз за газетой или молоком в круглосуточный продуктовый магазинчик на углу, где хозяин — азиат, и смешаюсь с толпой туристов, бездельников, юнцов, сбежавших из дома, детей из пригородов, что приехали сюда провести вечер, конторских служащих, которые остановились выпить по Дороге с работы, лишь бы не идти домой, актеров, доставщиков товаров, уличных музыкантов, полицейских, попрошаек и продавцов газет, — их взгляд скользнет по мне, не замечая, никто меня не узнает, никто не поздоровается и не спросит, как у меня дела, и мне не нужно ни перед кем притворяться, что я счастлив.

Эми приехала в мою квартиру сразу после работы, и мы выпили по паре джина с тоником, прежде чем отправиться в ресторанчик «Габриэлли» за углом. Иногда, приезжая ко мне прямо из дому, она привозит какое-нибудь замороженное блюдо собственного приготовления — мусаку, говядину с оливками или coq au vin

[9] [broken link: #_ftn9] - и разогревает его в

микроволновке, но обычно мы идем куда-нибудь. Изредка она приглашает меня на ужин к себе домой и тогда накрывает роскошный стол, но это всегда *званый* ужин, с участием других гостей. Эми не хочет, чтобы Зельда вообразила, будто нас связывают какие-то особенные отношения, хотя не понимаю, как девочка до сих пор ничего не заподозрила, если ее мать периодически уходит из дому по вечерам, разодевшись в пух и прах и держа на отлете ручками в тугих перчатках сверток с домашней едой.

— Потому что я прячу сверток в сумку, stupido [10] [broken link: #_ftn10], - сказала Эми, когда я однажды спросил ее об этом.

Сумка у нее действительно необъятных размеров, мягкая итальянская кожаная торба, полная всяких парафернaлий: тюбиков губной помады и подводки для глаз, пудры и духов, сигарет и зажигалок, ручек и карандашей, блокнотов и ежедневников, аспирина и пластыря, «Тампакса» и прокладок на каждый день, — настоящая система жизнеобеспечения, в которой без особого труда можно спрятать пластиковый контейнер с замороженной мусакой.

Я менял перегоревшую лампочку, когда Эми

позвонила по домофону, поэтому не смог сразу ответить. Но вот я нажал кнопку, и на экране в моей крошечной прихожей возникло ее комично искаженное лицо — один рот, нос и глаза.

— Быстрей, Лоренцо, — проговорила она, — умираю хочу писать и выпить, именно в таком порядке.

Среди прочего мне нравится в Эми то, что она никогда не зовет меня Пузаном. Она называет меня разными другими интимными прозвищами, но этим никогда. Я нажал кнопку домофона, и спустя мгновение Эми появилась у меня на пороге. Мы обнялись. Она прижалась холодной щекой к моей щеке, и я вдохнул пьянящий аромат ее любимых духов «Живанши», окутывавших ее облаком. Я повесил ее пальто и, пока она была в ванной, налил нам выпить. Через несколько минут она появилась с заново подкрашенными губами, опустилась в кресло, скрестила свои полные ножки, закурила, взяла бокал и произнесла:

— Твое здоровье, дорогой. Как колено?

Я сказал, что сегодня в поезде здорово прострелило.

— А как поживает Angst?

— Что это такое?

— Да ладно тебе, дорогой! Не притворяйся, что не знаешь, что такое Angst. «Страх» по-немецки. Или «тревога»?

— Меня не спрашивай, — ответил я. — Ты же знаешь, что в языках я полный ноль.

— Ну, все равно, как ты сам? Если не считать колена?

— Паршиво. — И детально описал ей свое состояние в последние несколько дней.

— Это потому, что ты не пишешь. — Она имела в виду сценарии.

— Но я пишу, — возразил я. — Веду дневник.

Черные глаза Эми мигнули от удивления.

— Это еще зачем?

Я пожал плечами.

— Не знаю. Началось из-за одного задания, которое мне дала Александра.

— Ты должен писать то, что уведет тебя прочь от себя, а не вглубь. А новый блок серий будет?

— Потом скажу, — ответил я. — Джейк пригласил меня на ланч обсудить это. А как у тебя прошел день?

— О, ужасно, ужасно, — с милой гримаской ответила она. Дни у Эми всегда проходят плохо. Случись иначе, я думаю, она бы огорчилась. — За завтраком я поссорилась с Зельдой из-за

свинарника в ее комнате. Ну, c'est normal

[11] [broken link: #_ftn11]. Потом позвонила секретарша Карла и сказала, что сегодня он не сможет меня принять: у него болит горло, хотя не знаю, зачем отменять сеанс только из-за того, что разболелось горло, - иногда за час он и словечка не проронит. Секретарша ответила, что у него еще и температура. Поэтому весь день я, разумеется, была на грани срыва, как наркоман, которому нужна доза. А Майкл Хинчклифф? Его агент сказал мне, что он «технически свободен» и может сниматься в шпионском сериале на Би-би-си, он чудесно подходит для роли, и что вместо этого начал сниматься в кино, вот скотина. Не говорю уж о последнем ляпе Гарриет.

Гарриет — напарница Эми в агентстве по подбору актеров. Ее длительные отношения с мужчиной по имени Норман только что оборвались, поэтому она не способна мыслить ясно и то и дело ударяется в слезы, разговаривая с клиентами по телефону. Эми пообещала, что расскажет о промахе Гарриет, когда я расскажу ей про свой ланч с Джейком, и мы отправились к «Габриэлли» и заняли там наш столик.

Джейк Эндикотт — единственный агент в моей

жизни. Он написал мне сто лет назад, услышав мой скетч по радио, и предложил свои услуги. Многие годы от него не было ни слуху ни духу, но потом я напал на золотую жилу в виде «Соседей» — ничего удивительного, что теперь я у него клиент номер один. Он заказал столик в «Граучо» — в зале под стеклянной крышей. Ему нравятся такие места. Сюда все приходят людей посмотреть и себя показать, хотя, конечно, виду не подают. Есть особый взгляд, который местные завсегдатаи довели до совершенства и который я называю «сканирование от Граучо»: вы быстро окидываете взглядом зал из-под полуопущенных век на предмет присутствия знаменитостей и при этом безумно хохочете, слушая своего собеседника, даже если он не сказал ничего смешного. Я думал, что это будет обычный светский ланч — немного сплетен, немного взаимных комплиментов, но оказалось, что Джейк припас важное сообщение.

Когда мы сделали заказ (я остановился на копченой утиной грудке на теплых листьях салата рукола и лолло россо, за чем последовали колбаски с пюре, и стоило это столько, что мои бедные мама с папой получили бы по инфаркту каждый), Джейк сказал:

— Ну, хорошая новость такая: «Хартленд» хочет

заказать еще два блока серий.

— А плохая новость? — спросил я.

— Плохая новость — Дебби выходит из игры. — Джейк с тревогой посмотрел на меня, ожидая реакции.

Не такая уж это неожиданность, по правде сказать. Я знал, что нынешний блок — последний, на который Дебби Рэдклифф подписала контракт, и я вполне допускаю, что она начала уставать, посвящая съемкам «Соседей» большую часть года. Ситком — тяжкая работа для актера. Программа идет каждую неделю. Расписание съемок «Соседей» таково: читка во вторник, репетиции со среды по пятницу, в субботу — переезд в Раммидж, в воскресенье — генеральная репетиция и запись, понедельник — выходной, а во вторник все сначала. Актеры лишаются уикэнда, а если съемки шли на натуре, то иногда и выходного. Им хорошо платят, но ритм работы суров, и ни за что нельзя заболеть. Ближе к делу: для такой актрисы, как Дебора Рэдклифф, роль Присциллы Спрингфилд уже давно перестала быть подарком судьбы. Конечно, она имеет право играть в театре около четырех месяцев в году, между блоками, но чтобы тебя успели ввести в спектакль в Уэст-Энде, этого мало, а кроме того,

по закону подлости, роли, которые она хотела бы сыграть, подворачиваются, как раз когда она занята. Поэтому я не удивился, узнав, что она жаждет свободы. Нечего и говорить, Джейк этого не понимает.

— Неблагодарность людей этой профессии… — вздохнул он, качая головой и возя наколотым на вилку кусочком маринованной семги в лужице укропного соуса. — Кто слышал о Деборе Рэдклифф до «Соседей», кроме нескольких человек из списка рассылки Королевской Шекспировской компании? Мы сделали ее звездой, а она просто бросает нас. Куда девалась благодарность?

— Да успокойся, Джейк, — сказал я. — Наше счастье, что она работала с нами столько времени.

— За это скажи спасибо мне, мой мальчик, — проговорил Джейк. (Вообще-то он на десять лет меня младше, но ему нравится играть роль отца.) — После первых серий я убедил «Хартленд» подписать с ней контракт на четыре года. Они бы сошлись на трех.

— Я знаю, Джейк, ты хорошо поработал, — заверил я его. — Надеюсь, это не уловка ее агента, чтобы повысить гонорар?

— Сначала, естественно, я так и подумал, но она

говорит, что не останется и за двойную плату.

— Как же снимать следующие блоки без Дебби? — спросил я. — Другую актрису мы взять не можем. Зрители ее не примут. Для них Присцилла — это Дебби.

Джейк подождал, пока официант снова наполнит нам бокалы, потом наклонился вперед и заговорил, понизив голос:

— Я поговорил об этом с людьми в «Хартленде». С Дэвидом Трисом, Мэлом Спэксом и Олли. Имей в виду — про Дебби это *полная* тайна, Пузан. Ты собираешься завтра на репетицию? Никому ни *слова.* Остальные актеры ничего не знают об уходе Дебби. «Хартленд» хочет, чтобы ты переписал последний сценарий.

— А что с ним не так?

— Все так. Но тебе придется каким-то образом вывести Дебби из сериала.

— Ты хочешь сказать, убить Присциллу?

— Господи, нет, конечно. Ради бога, это ж *комедийный* сериал, а не драма. Нет, Присцилла должна бросить Эдварда.

— Бросить? Почему?

— Ну, это уж по твоей части, сынок. Может, встретила другого парня.

— Не сходи с ума, Джейк. Присцилла никогда

не покинет Эдварда. Она не такая.

— Ну, женщины вообще-то и не такое выкинут. Посмотри на Маргарет. Она меня бросила.

— Это потому, что у тебя был роман с Родой.

— Ну, может, Эдвард тоже закрутил с кем-то роман, чем и спровоцировал Присциллу на развод. Вот тебе и новый персонаж!

— Эдвард тоже не такой. Они с Присциллой архетипичная моногамная пара. Они просто не могут расстаться — как мы с Салли.

Мы немного поспорили. Я сказал ему, что Спрингфилды, несмотря на их модные либеральные суждения и утонченность, на самом деле глубоко консервативны, тогда как живущие по соседству Дэвисы, с их вульгарностью и филистерством, гораздо более терпимы и современны. Джеку, разумеется, все это прекрасно известно.

— Хорошо, — наконец согласился он. — Что ты предлагаешь?

— Может, на этом и закончим, — недолго думая предложил я. Джейк чуть не подавился своим тушеным «сладким мясом» и полентой.

— Ты хочешь сказать, закончим сериал после этого блока?

— Возможно, он пришел к своему естественному

концу.

Я и сам в этом не до конца был уверен, но с удивлением обнаружил, что подобная перспектива меня совсем не пугает.

Джейк, напротив, очень разволновался и, промокнув салфеткой рот, принялся меня увещевать:

— Пузан, не поступай со мной так. Скажи, что ты шутишь. «Соседи» вполне могут выдержать еще три блока. Эта курочка способна снести еще множество золотых яиц. Ты подрубишь сук, на котором сидишь.

— Ты знаешь, а он прав, — сказала Эми, когда я пересказал ей этот разговор за ужином (учитывая ланч в «Граучо», я решил ограничить себя каннелони со шпинатом, но кончилось тем, что я покусился и на десерт Эми, восхитительный тирамису). — Разве что у тебя появилась идея для другого сериала?

— Не появилась, — признал я. — Но я могу спокойно жить на те деньги, которые я уже заработал на «Соседях».

— Ты хочешь сказать, *уйти на покой*? Ты сошел с ума.

— Я все равно схожу с ума, — сказал я.

— Ничего подобного, — заявила Эми. — Ты не

знаешь, что значит сходить с ума.

Когда мы подробно обсудили все варианты, все «за» и «против» продолжения «Соседей» без Деборы Рэдклифф, настал черед Эми посвятить меня в свои проблемы. Но стыдно сказать — сейчас, когда я намереваюсь записать эту часть нашей беседы, я мало что могу вспомнить. Я помню последнюю ошибку Гарриет — она направила не ту актрису для интервью на Би-би-си, нанеся тем самым огромную обиду и вызвав большую неразбериху, но боюсь, что пропустил мимо ушей детали этой истории, витая мыслями где-то очень далеко. Я не запомнил даже имя актрисы, а когда очнулся, Эми уже говорила, в какой ярости была Джоанна, и я не понял, о какой Джоанне шла речь, переспрашивать было уже слишком поздно, иначе она поняла бы, что я не слушал. Так что я ограничился тем, что кивал, понимающе покачивал головой, издавал сочувственные возгласы и бормотал неясные обобщения, и Эми, похоже, не заметила, а если и заметила, то не подала виду. Потом она заговорила о Зельде, и об этом я ничего не помню, хотя спокойно могу все домыслить, поскольку жалобы Эми на свою дочь всегда одни и те же.

Я пересказал Эми не весь наш разговор с

Джейком. В конце трапезы, пока мы с ним ждали официанта с подписанным счетом и платиновой кредитной картой Джейка, он как бы между прочим спросил, просканировав помещение взглядом и сдержанно помахав рукой Стивену Фраю, который как раз уходил:

—

Нельзя ли на следующей неделе воспользоваться твоей квартирой, Пузан?

Я решил, что приезжает какой-то иностранный клиент, которого он хочет там поселить, но Джейк продолжил:

— Всего на полдня. В любой день, когда тебя устроит. — Он поймал мой взгляд и лукаво улыбнулся. — Простыни мы принесем свои.

Я был потрясен. Не прошло и двух лет, как Джейк развелся с Маргарет, причем со скандалом, и женился на своей секретарше Роде. За прошедшие годы Маргарет стала почти другом, во всяком случае, доброй знакомой, и я только-только начал привыкать, что теперь Джейк приезжает на торжества и редкие уик-энды в сопровождении Роды. По моему лицу он понял, что я в замешательстве.

— Разумеется, если это неудобно, так и скажи…

— Это не вопрос удобства или неудобства,

Джейк, — сказал я. — Просто потом я никогда не смогу посмотреть Роде прямо в глаза.

— На Роде это никак не отразится, поверь мне, — серьезно заявил он. — Это не роман. Мы оба счастливы в браке. Просто у нас общие интересы по части развлекательного секса.

— Я бы не хотел иметь к этому отношения, — сказал я.

— Без проблем, — отозвался он, взмахом руки как бы отводя вопрос. — Забудь об этом. — И добавил с ноткой тревоги в голосе: — Ты ведь не скажешь об этом Салли?

—

Не скажу. Но не пора ли тебе уже угомониться?

— Это помогает почувствовать себя молодым, — самодовольно ответил он. Он и выглядит очень молодо для своего возраста, если не сказать инфантильно. У него тип лица, который иногда называют мальчишеским: пухлые щеки, слегка навыкате глаза, вздернутый нос, озорная улыбка. Красивым его не назовешь. Трудно понять, как ему удается приманивать этих пташек. Возможно, все дело в бьющей через край, щенячьей энергии, которой у него хоть отбавляй.

— Тебе тоже следует попробовать, Пузан, — сказал он. — В последнее время ты неважно

выглядишь.

Когда мы уселись на диван смотреть десятичасовые новости, я обнял Эми за плечи, и она положила голову мне на плечо. Этим наша физическая близость и ограничивается, не считая прощального поцелуя — всегда в губы; при расставании не страшно зайти так далеко. Мы не милуемся, пока сидим на диване, и в своих попытках обнять или погладить Эми я никогда не заходил ниже плеч. Признаюсь, что временами стараюсь представить Эми без одежды. Образ, который возникает перед моим мысленным взором, — слегка располневший вариант знаменитой обнаженной, ее еще написал этот парень, как его, из Испании, старый мастер, у него две картины с одной и той же женщиной, там она отдыхает на кушетке: один раз одетая, а другой — голая, надо посмотреть в словаре. Эми всегда настолько *одета*, так старательно застегнута на все пуговицы и молнии, при этом ее одежда так продумана, что мою подругу вообще трудно вообразить раздетой, разве что в ванне, и даже тогда, держу пари, она прикрывается пеной. Освобождение Эми от одежды превратилось бы в неспешное и возбуждающее мероприятие, похожее на

разворачивание в темноте дорого и затейливо упакованного свертка, сопровождающееся шуршанием прозрачных слоев папиросной бумаги. (Это будет происходить в темноте — Эми говорила, что одной из ее проблем было настойчивое желание Сола заниматься любовью при свете.) Тогда как одежда моей жены настолько свободна и незатейлива, ее так мало и она настолько функциональна, что Салли может раздеться за каких-то десять секунд. Часто она так и делает, придя с работы домой. Она расхаживает наверху абсолютно голая, пока делает скучную домашнюю работу, например меняет простыни или сортирует белье для стирки.

Такая цепочка мыслей оказалась хоть и возбуждающей, но напрасной, поскольку здесь нет Салли, чтобы утолить мое вожделение, а Эми этого не сделала бы, даже будь она тут. И почему это в последнее время я испытываю возбуждение исключительно в Лондоне, в обществе столь целомудренной подруги, и почти никогда дома, в Раммидже, где у меня есть жена, обладающая неутолимым сексуальным аппетитом? Просто не понимаю.

— *Тебе тоже следует попробовать, Пузан.*

Откуда Джейк знает, что я не пробовал? Должно быть, об этом непроизвольно сообщает язык моего тела. Или лицо, глаза. Глаза Джейка каждый раз, когда мимо проходит красивая девушка, вспыхивают, как инфракрасный сканер системы безопасности.

Наверное, в последнее время я ближе всего подошел к этому с Луизой, в Лос-Анджелесе, три или четыре года назад, когда ездил туда на месяц для консультаций по американской версии «Соседей». Она была креативным директором американской телекомпании, а на самом деле — вице-президентом, должность не настолько солидная, как это может показаться британцу, но все равно очень неплохая для женщины чуть за тридцать. Она опекала меня и выполняла роль посредника между мной и группой сценаристов. Над сюжетом работало восемь авторов. Восемь. Сидя за длинным столом, они пили кофе и диет-колу и угрюмо проверяли свои остроты друг на друге. Так как компания купила права, они могли вытворять с моими сценариями все что угодно, и они это делали, выбрасывая большую часть первоначальных сюжетных ходов и диалогов и сохраняя только основную линию конфликта. У меня было чувство, что

я получаю здесь тысячи долларов ни за что, но жаловаться не стал. Поначалу я прилежно ходил на заседания сценаристов, наблюдая их мозговые атаки, но через некоторое время мне стало казаться, что мое присутствие только смущает и отвлекает этих людей, похожих на участников отчаянного соревнования, от которого меня, к счастью, освободили. Моя роль все больше и больше сводилась к отдыху у бассейна отеля «Беверли Уилшир» и чтению рабочих вариантов сценария, которые Луиза Лайтфут приносила мне в своем красивом холщовом портфеле, окантованном кожей. Она приезжала в конце дня в маленьком японском спортивном автомобиле-купе, чтобы забрать мою правку и выпить со мной по коктейлю, чаще всего мы вместе и ужинали. Она недавно рассталась со своим партнером и «ни с кем не встречалась», а я, отрезанный в Беверли-Хиллс от мира, был очень рад ее обществу. Она водила меня по клубным голливудским ресторанам и показывала знаменитых продюсеров и агентов. Брала на предварительные просмотры фильмов и на премьеры. Водила в художественные галереи, театрики, а также в менее престижные заведения курорта: автозакусочные «Бургер Кинг» и «Донат

Дилайтс», в кегельбаны-автоматы и однажды даже на бейсбол под тем предлогом, что это поможет мне лучше понять американское телевидение.

Луиза была маленькая, но фигуристая. Прямые коротко стриженные каштановые волосы всегда блестели и колыхались, словно только что вымытые, потому что так всегда и было. Идеальные
зубы. Разве в Голливуде бывают не идеальные зубы? Но Луизе они были особенно нужны, потому что она много смеялась. Это был звучный, солидный смех, довольно удивительный для маленькой фигурки и общего сдержанного стиля женщины, делающей профессиональную карьеру; когда она смеялась, она закидывала голову назад и покачивала ею из стороны в сторону, отчего волосы разлетались волнами. Рассмешить ее как будто не составляло труда. Луизу забавляли мои маленькие ироничные британские шпильки в адрес голливудских обычаев и калифорнийской манеры говорить. Разумеется, ничто не доставляет сценаристу большего удовольствия, чем присутствие привлекательной и умной молодой женщины, которая без удержу смеется его остротам.

Как-то теплым вечером, незадолго до моего отъезда, мы поехали в Венис, чтобы поужинать в одном из тамошних прибрежных рыбных ресторанчиков. Сидя на улице, на веранде ресторана, мы наблюдали техниколоровские краски заката над Тихим океаном во всем их вульгарном великолепии, в сумерках пили кофе, а потом заказали вторую бутылку «шардоне» из долины Напа, и маленькая масляная лампа мерцала на столе между нами. В первый раз я не пытался рассмешить Луизу, а серьезно говорил с ней о своей писательской карьере и о том, что ее взлет начался с «Соседей». Я прервался, спросил, не заказать ли еще кофе, а она, улыбнувшись, сказала:

— Нет, чего я сейчас хочу, так это отвезти тебя к себе и трахать до потери пульса.

— В самом деле? — Я потянул время, радуясь полутьме и пытаясь привести в порядок мысли.

— Ну, что скажете, мистер Пассмор? — Обращение «мистер Пассмор», конечно же, было шутливым — она была со мной на ты, наверное, еще до нашего знакомства. Мистер Пассмор — так она называла меня только в разговорах с другими сотрудниками компании. Я слышал, как она говорила по телефону:

«*Мистер Пассмор полагает, что делать Дэвисов латиноамериканской семьей — ошибка, но он прислушается к нашему мнению. Мистер Пассмор считает, что сцена, начинающаяся с тридцать второй страницы двенадцатого варианта, излишне сентиментальна*». Луиза сказала, что в нашей индустрии это знак уважения.

— Очень мило с твоей стороны, Луиза, — сказал я, — и не думай, что я не хочу лечь с тобой в постель — хочу. Но, как ни банально это звучит, я люблю свою жену.

— Она никогда не узнает, — сказала Луиза. — Ей это не принесет никакого вреда.

— Я буду чувствовать себя настолько виноватым, что, вероятно, она заметит, — возразил я. — Или вдруг я все ей расскажу. — И с несчастным видом добавил: — Прости.

— Да ладно, ничего страшного, Пузан, ведь я в тебя не влюбилась, не думай. Может, попросишь счет?

Когда мы возвращались в мой отель, она внезапно спросила:

— Я единственная девушка, насчет которой у тебя возникли затруднения с совестью? — И когда я ответил, что они у меня есть всегда, сказала: — Ну что ж, хоть какое-то утешение.

В ту ночь я мало спал, ворочаясь на своей широкой постели в «Беверли Уилшир» и терзаясь, не позвонить ли Луизе и сказать, что передумал, но не сделал этого; и хотя мы еще несколько раз виделись, отношения изменились, она постепенно отдалялась, вместо того чтобы стать ближе. В последний день она отвезла меня в аэропорт, поцеловала в щеку и сказала:

— Пока, Пузан, все было отлично.

Я с энтузиазмом согласился, но весь полет гадал, что же я упустил.

Пора ложиться спать. Интересно, что сегодня покажут по каналу грез? Не удивлюсь, если что-нибудь неприличное.

Четверг, утро, 18 фев. Видеодомофон в квартире соединен с камерой на крыльце, которая показывает крупным планом лицо звонящего к вам человека либо — по вашему желанию — общий вид крыльца на фоне улицы. Иногда в минуты безделья я нажимаю кнопку общего вида, чтобы посмотреть на идущих или стоящих на тротуаре людей. Так я ищу своих персонажей — передо мной проходят все типажи — и, наверное, получаю некое ребяческое удовольствие от подглядывания с помощью техники. Словно перископ наоборот. Из своей

удобной рубки я осматриваю неряшливую земную поверхность далеко внизу: туристы хмурятся над своими картами, юные девушки, слишком легкомысленные, чтобы накинуть поверх своих легких выходных нарядов пальто, бегут, обхватив себя, чтоб хоть как-то согреться, молодые щеголи в кожаных куртках, шаркающие и подталкивающие друг друга локтями, влюбленные парочки то и дело останавливаются, чтобы поцеловаться, а на них натыкаются нетерпеливые господа с «дипломатами», спешащие на Чаринг-Кросс.

Прошлым вечером, уже собираясь ложиться, я от нечего делать нажал кнопку. Разрази меня гром — на крыльце устраивался на ночлег какой-то тип! Удивительно, как это не произошло раньше, хотя на таком маленьком квадрате взрослому целиком не поместиться — ноги окажутся на тротуаре. Этот тип сидел в спальном мешке, прислонившись к одной стене и упершись ногами в другую, его голова свесилась на грудь. Молодой, с острым, лисьим лицом и длинными прямыми волосами, падающими на глаза.

Сначала я пребывал в шоке, потом разозлился. Каков наглец! Занял все крыльцо. Ни войти, ни выйти — придется через него перешагивать. Не

то чтобы этим вечером я собирался выходить или входить, но мог появиться кто-нибудь из жильцов, а кроме того, разбивший лагерь бродяга снижал престиж владения. Нужно было спуститься и прогнать его, но я уже надел пижаму — не воевать же с ним в халате и шлепанцах, а переодеваться лень. Потом надумал позвонить в полицию и попросить их убрать парня, но в этой части Лондона происходит столько серьезных преступлений, что я засомневался, отреагируют ли они вообще, да еще станут допытываться, просил ли я его уйти для начала сам. Я стоял в прихожей, смотрел на расплывчатую черно-белую картинку, и жалел, что нет такой кнопки, чтобы включить еще и звук и гаркнуть в микрофон: *«Эй, ты! Проваливай!»*, а за реакцией бродяги наблюдать по монитору. Я улыбнулся этой мысли, а потом устыдился собственной улыбки.

Эти молодые люди, которые попрошайничают и спят прямо на улицах Лондона, меня раздражают. Они не похожи на обычных бродяг и пьяниц, грязных, вонючих, оборванных. Новые скитальцы обычно очень хорошо одеты и экипированы — чистенькие куртки, джинсы и мартинсы, а толстые стеганые спальные мешки оказали бы

честь даже туристическому клубу или курсам по выживанию в экстремальных условиях. Но в то время как обыкновенные бродяги скрываются, словно насекомые, в темных, заброшенных местах, например под железнодорожными мостами или вблизи мусорных свалок, эта молодежь выбирает двери магазинов на ярко освещенных улицах Уэст-Энда или лестницы и переходы подземки, чтобы вы не могли их не заметить. Их присутствие похоже на обвинение — но в чем они нас обвиняют? Это мы выгнали их на улицы? Такие на вид нормальные, такие приличные, так вежливо осведомляются, нет ли у вас мелочи, что трудно поверить, будто они не смогут найти крышу над головой или даже работу, если захотят. Возможно, не в Уэст-Энде, но кто сказал, что у них есть право на жилье в Уэст-Энде? У меня есть, но мне пришлось его заработать.

Вот так развивался мой оправдательный внутренний монолог, а тем временем я лег в постель и в конце концов уснул. В четыре я проснулся и пошел пописать. На обратном пути нажал кнопку видеодомофона — парень все еще был там, лежал, свернувшись в спальном мешке на кафельном полу крыльца, как щенок

в своей корзине. На заднем плане промелькнула полицейская машина, и до меня через двойные рамы донесся пронзительный визг сирены, но молодой человек даже не пошевелился. Когда утром, в половине восьмого, я снова посмотрел, его уже не было.

Четверг, днем. Пишу это в поезде 5-10 с Юстонского вокзала. Хотел успеть на 4.40, но такси попало в огромную пробку, вызванную поисками якобы заложенной в Сентер-Пойнт бомбы. Полиция выставила оцепление на пересечении Тоттнэм-Корт-роуд с Оксфорд-стрит, и движение застопорилось. Я спросил у водителя:

— Кто пытается взорвать это здание — ИРА или принц Чарльз?

Но он не понял шутки — или, скорее всего, ему было не до шуток. Бомбы отпугивают туристов и наносят урон его бизнесу.

Этим утром, как всегда по четвергам, я заскочил на репетицию. Когда «Соседи» только начинались, я ходил на репетиции практически ежедневно, но теперь уже сериал катится, как поезд по рельсам (или как поезду *следует* катиться по рельсам — этот вот внезапно замедлил ход и едва ползет, а мы еще не доехали и до Уотфорд-Джанкшн), и достаточно моего присутствия один

раз в неделю, только чтобы убедиться, что все идет гладко, и в случае необходимости немного подправить сценарий. Репетиции проходят недалеко от станции метро «Пимлико» в бывшем молитвенном доме, там на полу есть разметка, которая соответствует разметке съемочной площадки в раммиджской студии. Тот, кто думает, что создавать развлекательное телевидение — это шикарная профессия, заглянув сюда в зимний день, сразу лишится всяких иллюзий. (По-моему, я в первый раз в своей жизни употребил выражение «лишиться всяких иллюзий». Мне оно нравится — классное выражение.) Кирпичные стены выкрашены в казенные цвета: ярко-зеленый и желтовато-белый, как в городской больнице Раммиджа, а грязные стекла голых окон покрыты слоем льда. Разнокалиберная и разномастная мебель расставлена вдоль стен или местами создает подобие «комнат»: столы на растопыренных ножках, с ламинированными столешницами, пластмассовые стулья, которые можно поставить стопкой, разваливающиеся диваны и кресла и кровати с продавленными матрасами. Если не считать стола на козлах в углу, на котором стоят кофеварка, безалкогольные напитки, фрукты и закуски, можно подумать,

что вы попали в приют Армии спасения или на склад подержанной мебели. Актеры носят старую, удобную одежду — все, за исключением Дебби, которая всегда выглядит так, словно сейчас поедет фотографироваться для «Вог», — в свободные минуты они сидят, развалившись, в сломанных креслах и читают газеты и дешевые издания романов, разгадывают кроссворды, женщины вяжут или, как Дебби, вышивают.

Но когда я вхожу, все они отрываются от своих занятий и встречают меня улыбками и здороваются:

— Привет, Пузан! Как дела?

Актеры никогда не забывают улыбнуться. Большинство продюсеров и режиссеров втайне презирают сценаристов, считая их всего лишь неизбежным злом, рабочими лошадками, назначение которых состоит в том, чтобы поставлять сырье для решения их творческих задач. А вот актеры относятся к сценаристам с уважением, даже с некоторым благоговением. Они понимают, что сценарист — единственный источник реплик, без которых сами они бессильны, и если сериал длинный, во власти сценариста подчеркнуть или умалить важность их роли в будущих сериях. Поэтому

обычно актеры из кожи вон лезут, чтобы сделать сценаристу приятное.

На этой неделе они репетируют седьмую серию текущего блока, которую покажут через пять недель. Интересно, подумалось мне, есть ли у них хоть малейшее предчувствие, что этот блок может оказаться последним? Нет, пока мы обменивались приветствиями, я не заметил никаких признаков тревоги ни в их глазах, ни в позах. Только мы с Дебби обменялись мгновенными взглядами-посланиями, когда я наклонился к креслу, где она сидела со своим вечным вышиванием, чтобы поцеловать ее в щеку: она знает, что я знаю, что она хочет уйти. А в остальном секрет как будто пока удается сохранить. Даже Хэл Липкин, режиссер, еще не знает. Как только я вошел, он подлетел ко мне, хмурясь и покусывая шариковую ручку, но это лишь по поводу сценария.

Ситком — это телевидение в чистом виде, сочетание двух принципов: неизменности и новизны. Неизменность проистекает из основного конфликта — в нашем случае это конфликт двух семей, отличающихся друг от друга стилем жизни. Беспечные, существующие на всевозможные пособия Дэвисы неожиданно

получают в наследство дом в центре города, где живут люди довольно высокого происхождения. Вместо того чтобы продать дом, Дэвисы решают в нем поселиться — к плохо скрываемому неудовольствию их новых ближайших соседей, Спрингфилдов — образованных представителей среднего класса, читающих «Гардиан». Зрители быстро привыкают к персонажам и знают, чего от них ждать, словно это их собственные родственники. Новизну обеспечивает история, рассказываемая в каждой из серий. Искусство ситкома состоит в том, чтобы неделю за неделей находить новые коллизии в рамках привычных обстоятельств. История не должна быть слишком сложной, потому что на одну серию вам отводится всего двадцать пять минут, и по бюджетным и техническим причинам действие в основном должно происходить в одной и той же студии.

Я с нетерпением ждал репетиции, потому что на этот раз мы подошли вплотную к серьезной драме. Ситком — это легкое семейное развлечение, которое должно забавлять и занимать зрителей, а не тревожить или расстраивать их. Но если изредка не касаться серьезных, мрачных сторон жизни, пусть и вскользь, тогда аудитория потеряет доверие к персонажам и интерес к

их будущему. На этой неделе речь пойдет о дочери Спрингфилдов, шестнадцатилетней Алисе. Когда пять лет назад сериал начинался, ей было около пятнадцати. Фебе Осборн, которая ее играет, тогда было четырнадцать, а теперь девятнадцать, но, к счастью, она не слишком выросла за это время, а макияж и прическа творят чудеса. Взрослые персонажи в долго идущих ситкомах заколдованы, они никогда не стареют, но юным можно позволить немного повзрослеть в соответствии со сценарием. Когда, например, у Марка Харрингтона ломался голос (он играет самого младшего из Спрингфилдов — Роберта), я сделал это темой постоянных острот.

Ну вот, сюжет этой серии таков. Эдвард и Присцилла страшно опасаются, что Алиса беременна, потому что ее постоянно рвет. Соседка Алисы — Синди Дэвис — незамужняя мать-подросток, за младенцем которой, пока она в школе, присматривает ее мама. Драматизм ситуации заключается в том, что Спрингфилды, безгранично снисходительные в отношении Синди, приходят в ужас при мысли, что то же самое может случиться и с их дочерью, к тому же они подозревают, что предполагаемый отец — юный Терри Дэвис, встречаться с которым скрепя

сердце Алисе разрешили. Нечего и говорить, что Алиса не беременна, на это и намека нет, она не позволяет Терри вообще никаких вольностей. А без конца ее рвет потому, что сексуально неудовлетворенный Терри подмешивает в козье молоко, которое покупают исключительно для Алисы (у нее аллергия на коровье), афродизиак

[12] [broken link: #_ftn12] (так он думает, на самом деле это слабое рвотное) при участии своего друга Роджа, помощника молочника. Все выясняется, когда Присцилла случайно пьет Алисино молоко и ее страшно рвет. (ЭДВАРД **(с ужасом).** Только не говори, что ты тоже беременна.) А до этого хитроумные попытки Эдварда и Присциллы проверить окольным путем свои страшные подозрения, да еще контраст между их показной терпимостью и неприятием в своем кругу матерей-одиночек создают множество комических ситуаций.

— Несколько затянуто, Пузан, — неразборчиво проговорил Хэл. Перебирая листы сценария, он держит в зубах шариковую ручку, еще одна торчит из его жесткой шевелюры прямо над правым ухом — сунул и забыл. (Вот бы *мне* такие волосы.)

— Я подумал, не убрать ли нам отсюда несколько

строк, — бормотал он.

Я знал, какие именно строчки он хочет вычеркнуть, еще до того, как он их прочитал:

Эдвард. Ну, так если она беременна, придется беременность прервать.

Присцилла *(сердито).* Ты, видимо, считаешь, что это решает все проблемы?

Эдвард. Минуточку! Я полагал, что вы все стоите за право женщины выбирать?

Присцилла. Она не женщина, она подросток. И вообще, а вдруг она решит сохранить ребенка?

Пауза.
Эдвард осмысливает такую возможность.

Эдвард *(тихо, но твердо).* Тогда, разумеется, мы ее поддержим.

Присцилла *(смягчаясь).* Да, конечно. *(Сжимает руку Эдварда)*

У меня уже была схватка по поводу этих строк с Олли Силвером, моим продюсером, когда я представил сценарий. Теперь он гораздо больше чем мой продюсер, он ни много ни мало начальник отдела сериалов «Хартленда»; но поскольку «Соседи» в некотором смысле его детище, до сих пор имеющее самые высокие рейтинги

по сравнению со всей другой продукцией «Хартленда», он и мысли не допускает передать их линейному продюсеру, несмотря на свое повышение, и по-прежнему умудряется находить время, чтобы совать нос во все детали каждой серии. Он сказал, что в ситкоме нельзя упоминать об аборте, даже если шоу идет после переломных девяти часов, когда самые маленькие зрители должны лежать в кроватях, это слишком спорный вопрос и слишком огорчительный. Я заявил, что предположение, будто образованная пара из среднего класса станет обсуждать беременность их дочери-школьницы, не произнося слова «аборт», нереально. Олли сказал, что зрители принимают условности ситкома, здесь о некоторых вещах просто не говорят, и зрителям это нравится. Я ответил, что теперь в ситкомах принято все, на что долгое время было табу. Но не аборты, парировал Олли. Всегда бывает первый раз, сказал я.

— Почему в нашем сериале? — спросил он.

— А почему нет? — спросил я. Он сдался, по крайней мере я так подумал. Я должен был знать, что он найдет способ избавиться от этих реплик.

Когда я спросил, не принадлежит ли идея убрать эту сцену Олли, Хэл немного смутился.

— Олли был здесь вчера, — признался он. — И действительно сказал, что эти реплики не так уж и важны.

— Не так уж и важны, — согласился я. — Просто немножко правды.

У Хэла сделался несчастный вид, и он сказал, что мы еще раз обсудим это с Олли, который приедет после ланча, но я ответил, что уже слишком поздно устраивать схватку не на жизнь, а на смерть по принципиальным вопросам. Актеры уловили вибрации, разволновались и сыграли сцену напряженно. Хэл вздохнул с облегчением и поспешил дать указания Сьюзи, помощнику режиссера, внести изменения в сценарий. Я ушел до приезда Олли. И теперь задаюсь вопросом, почему не дал им настоящий бой.

Старший кондуктор только что объявил, что мы приближаемся к Регби. «Следующая станция — платформа Регби». В последнее время они взяли моду употреблять это длинное нескладное словосочетание: «следующая станция — платформа», видимо, чтобы отличать запланированные остановки на станциях от незапланированных в чистом поле, и, вероятно, заботясь о том, как бы пассажиры, сбитые с толку смесью запаха булочек с беконом и помидорами

и вони перегретой тормозной смазки в вагонах с неисправными кондиционерами, не вышли по ошибке из поезда где попало и не погибли.

Четверг, вечер. Домой вернулся около 7.30. Поезд в итоге опоздал всего на двенадцать минут. Мой автомобиль, не тронутый ни ворами, ни вандалами, как преданный пес ожидал меня там, где я его оставил. Я разбудил его, нажав на кнопку дистанционного управления на кольце с ключами, и машина, подмигнув мне огоньками поворотников, приветствовал троекратным пиканьем. С мягким щелчком разблокировались двери. Дистанционное управление приводит меня в безграничный, совершенно детский восторг. Ворота нашего гаража открываются таким же образом, и мне нравится посылать им сигнал, чтобы въехать внутрь без задержки, едва я сворачиваю на нашу улицу. Когда сегодня вечером ворота распахнулись, я увидел, что машины Салли нет. Войдя в дом, я нашел на кухне записку, где говорилось, что она поехала в клуб поплавать в бассейне и посидеть в сауне. Я почувствовал ужасное разочарование, потому что мне не терпелось рассказать ей о проблеме с Дебби Рэдклифф и о ссоре из-за выброшенных строк сценария. Не то чтобы она умирала от

желания слушать про то и про другое. Au contraire.

По-моему опыту, есть два типа писательских жен. Первый — это сочетание няньки, секретаря и президента фан-клуба. Такая жена читает рукопись, как только она написана, и всегда ее хвалит; смотрит программы мужа и смеется каждой остроте; она морщится, читая плохие отзывы, и, как и он, от души радуется хорошим; она чутко следит за его настроением и за производительностью труда и периодически приносит ему в кабинет то чай, то кофе, передвигаясь на цыпочках, чтобы не спугнуть вдохновения; она отвечает на телефонные звонки и письма, оберегая его от скучных и невыгодных приглашений, просьб и предложений; она ведет записи запланированных встреч и загодя о них напоминает, отвозит мужа на станцию или в аэропорт и встречает, когда он возвращается, и устраивает вечеринки с коктейлями и званые ужины для его друзей по профессии и покровителей. Другой тип — это Салли, которая ничего из вышеперечисленного не делает, у нее своя карьера, которую она считает не менее важной, чем карьера супруга, если не более.

Вообще-то Салли — единственная известная

мне представительница второго типа, других встречать не доводилось, хотя, наверное, где-то они все же есть.

Поэтому я вовсе и не надеялся ни на сочувствие, ни на толковый совет, когда вернулся домой, просто рассчитывал хоть частично сбросить гнетущий груз. По пути со станции я окончательно пришел к выводу, что допустил ошибку, так легко согласившись убрать из сценария слова об аборте, и начал терзаться сомнениями, возобновлять ли с Олли и Хэлом разговор на эту тему, позвонив им домой, — я понимал, что позиции у меня очень слабые, поскольку утром я уже пошел на это сокращение. Пытаясь отказаться от этого решения, я ничего в итоге не достигну, скорее всего, уже слишком поздно снова менять сценарий, и лишь вызову всеобщее неудовольствие. Скорее всего, но *необязательно.* Сегодня днем актеры репетировали уже урезанную версию, но, если потребуется, смогут восстановить пропущенные реплики на завтрашней репетиции.

Я бродил по пустому дому, не находя себе места, несколько раз хватался за телефонную трубку и бросал ее, не набрав номера. Сделал себе сандвич — ветчина из холодильника была такая

холодная, что показалась безвкусной, — и выпил жестянку пива, от которого раздуло желудок. Я наугад включил телевизор и на Би-би-си-1 попал на ситком-соперник, показавшийся мне гораздо занятнее и острее «Соседей». Через десять минут я выключил его, пошел в кабинет и сел за компьютер.

Я чувствую, как самоуважение вытекает из меня, словно вода из дырявого ведра. Презираю себя за то, что дал слабину и согласился на сокращение, и за свои колебания тоже. Заболело колено, как у ревматика на плохую погоду. Я ощущаю, что на горизонте замаячил шторм, слышу, как поднимается приливная волна отчаяния, готовая меня накрыть.

Слава богу. Только что приехала Салли. Я услышал, как захлопнулась за ней дверь и она весело позвала меня из холла.

Пятница, утро, 19 фев. Сегодня утром мне по почте пришла просьба от «Майнда». По-моему, в первый раз. Должно быть, они взяли мой адрес у какой-нибудь благотворительной организации. В конверте лежало письмо и голубой шарик Письмо начиналось с инструкции: «*Пожалуйста, надуйте шарик, прежде чем читать дальше, но не завязывайте его».* Поэтому я надул шарик, и

на нем обозначился белый профиль мужчины, немного, между прочим, похожего на меня, с толстой шеей и без волос; а внутри черепа, одно над другим, как мысли, были написаны слова: ОСИРОТЕВШИЙ, БЕЗРАБОТНЫЙ, ДЕНЬГИ, РАЗДЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ, ЗАКЛАДНАЯ, РАЗВЕДЕННЫЙ, ЗДОРОВЬЕ. *«Для Вас,* — гласило письмо, — *слова на шарике это всего лишь слова. Но то, что они обозначают, приводит к нервному срыву».*

В этот момент позвонили в дверь. Салли уехала на работу, поэтому пришлось самому идти открывать дверь. Я продолжал зажимать отверстие шарика большим и указательным пальцами, чтобы не выходил воздух, несколько суеверно ощущая необходимость повиноваться инструкциям в письме, как герой какой-то сказки.

Пришел молочник, желавший, чтобы ему заплатили. Он посмотрел на шарик и усмехнулся.

— Вечеринка? — спросил он.

Было полдесятого утра.

— У вас день рождения, да? — поинтересовался он. — Поздравляю.

— Его только что прислали по почте, —

объяснил я, неуклюже взмахивая шариком. — Сколько мы вам должны? — Одной рукой я выудил из бумажника десятифунтовую банкноту.

— Отличная вчера была серия, — сказал молочник, отсчитывая мне сдачу. — Как папаша Дэвис спрятал по всему дому сигареты, прежде чем бросить курить… очень смешно.

— Спасибо, рад, что вам понравилось, — ответил я.

Все местные торговцы знают, что я пишу сценарии для «Соседей». Могу, так сказать, с порога своего дома проводить опрос аудитории.

Я отнес шарик назад в кабинет и взял письмо от «Майнда». *«Подобно тому, как растягиваются слова на шарике, растут проблемы людей, когда на них усиливается давление»*, — говорилось в нем.

Я снова посмотрел на слова, написанные внутри головы. Я не осиротел (во всяком случае, это случилось довольно давно — мама умерла четыре года назад, а папа — семь), я не безработный, у меня много денег, я не разошелся с Салли и закладную могу оплатить хоть завтра, если захочу, но мои бухгалтеры с целью снижения налогов пока не советуют. Единственное, что может привести меня к нервному срыву, —

это проблема здоровья, хотя я подозреваю, что «Майнд» имел в виду нечто более смертельное, чем Патологию Неизвестного Происхождения.

Я пробежал текст письма: *«Самоубийство., психоз… заведения по реабилитации бывших преступников и наркоманов., служба помощи…»* После заключительной просьбы о деньгах следовал PS: «*Теперь Вы можете выпустить из шарика воздух. И когда Вы это сделаете, пожалуйста, подумайте, как быстро можно облегчить проблемы другого человека с помощью времени, заботы и особого понимания благодаря Вашему сегодняшнему дару».* Я отпустил шарик, и он за две секунды облетел комнату, прежде чем удариться об оконное стекло и упасть на пол. Я взял свою благотворительную чековую книжку и послал «Майнду» 36 фунтов, чтобы на одно утро обеспечить какого-нибудь душевнобольного медицинской сестрой, прошедшей специальную подготовку.

Мне и самому сегодня такое не помешало бы.

Вчера вечером, вернувшись домой, Салли принялась готовить себе на кухне горячий шоколад, я пил скотч, и мы разговаривали. Или, скорее, я говорил, а она слушала, довольно рассеянно. После сауны она пребывала в

томно-эйфорическом состоянии, и ей было труднее, чем обычно, сосредоточиться на моих профессиональных проблемах. Когда я объявил, что строчки про аборт были вырезаны из сценария, она сказала: «О, отлично», и хотя тут же по выражению моего лица поняла, что подала неверную реплику, все равно по своему обыкновению принялась защищать ее, говоря, что «Соседи» — это слишком веселый сериал, чтобы соответствовать столь серьезной теме, — в точности аргументы Олли. Потом, когда я сказал, что будущее сериала под угрозой из-за намерения Дебби уйти по окончании текущего блока, Салли заметила:

— Но это же как раз тебе на руку, ведь так? Ты можешь попробовать что-нибудь новое с другим продюсером, готовым пойти на больший риск, чем Олли.

Вывод
логичный, но не имеющий практического значения, поскольку идей для нового сериала у меня нет и вряд ли они появятся, учитывая мое нынешнее состояние.

Салли собрала остатки шоколада пальцем и облизала его.

— Когда ты собираешься ложиться? — спросила

она. Так она обычно предлагает заняться сексом, что мы и сделали, и я не смог кончить. Эрекция у меня была, а оргазма не получилось. Может, это произошло из- за скотча, выпитого после пива, не знаю, но все это как-то тревожит, словно насос качает, а из трубы ничего не льется. Салли кончила… по крайней мере я так думаю. Как-то вечером я смотрел телепередачу, в которой сидели кружком женщины и разговаривали о сексе, и оказалось, что всем им случалось изображать оргазм, чтобы ободрить партнера или сгладить неудачу. Возможно, Салли тоже так делает. Не знаю. Но заснула она, пожалуй, легко. Прежде чем отключиться, я слышал, как замедлилось и стало глубоким ее дыхание. Я снова проснулся в 2.35, воротник пижамы весь промок от пота. Мною овладело дурное предчувствие, как будто я забыл что-то неприятное и должен вспомнить. Потом вспомнил: вдобавок ко всем моим неприятностям у меня еще и Патология Неизвестного Происхождения Половых Органов. Я представил жизнь без секса, без тенниса, без своего ТВ-сериала. И почувствовал, будто скатываюсь по спирали вниз, во тьму. Я всегда представлял себе отчаяние в виде движения вниз по спирали — подобно самолету, который

лишился крыла и падает вниз, как листок, кружась и переворачиваясь, пока пилот безуспешно пытается справиться с приборами управления, рев мотора поднимается до пронзительного визга, стрелка альтиметра неумолимо скользит по кругу, приближаясь к нулю.

Прочитав последний абзац, я вспомнил странный вопрос Эми: «А как поживает Angst?» — и полез в словарь. Я слегка удивился, найдя это слово в английском словаре: «1. *Острое, но неопределенное чувство беспокойства или раскаяния.* 2. *(В философии экзистенциализма) страх, вызванный тем, что человек осознает неопределенность своего будущего и необходимость его свободного выбора*». Второе значение я до конца не понял, философия — один из самых больших пробелов в моем образовании. Увидев слово «страх», я ощутил легкий холодок узнавания. Это больше похоже на то, что я чувствую, чем тревога или беспокойство. Беспокойство почему-то звучит банально. Беспокоиться можно о том, успеешь ли на поезд или по поводу пропущенной почты. Думаю, именно поэтому мы позаимствовали это немецкое слово. В слове «Angst» есть некий мрачный призвук, и губы растягиваешь,

как от боли, произнося его. Но «Страх» — это здорово. Страх, вот что я чувствую, просыпаясь в предрассветные часы в холодном поту. Острый, но неопределенный Страх. Разумеется, скоро я придумаю, каким определенным смыслом его наполнить. Например, импотенцией.

Само собой, когда-то это должно случиться с каждым мужчиной. В пятьдесят восемь как будто рановато, но, думаю, бывает. Так или иначе, рано или поздно должен наступить последний раз. Беда в том, что поймешь это, только когда больше уже ничего не можешь. Это не сравнить с последней сигаретой перед тем, как бросишь курить, или с последней игрой, прежде чем повесишь на крючок свои бутсы. Не получится превратить свое последнее совокупление в торжественное мероприятие, потому что ты не узнаешь, что оно последнее, пока оно не наступит; а когда узнаешь, то оно уже сотрется у тебя из памяти.

Я только что посмотрел «Экзистенциализм» в словаре современной мысли. *«Суть философской доктрины, которая подчеркивает резкое различие между человеческим существованием и существованием*
животных. Люди, наделенные волей и сознанием,

обнаруживают, что находятся в чуждом им мире предметов, которые не обладают ни тем, ни другим». Ничего особо нового я не открыл. Кажется, я уже это знал. *«Экзистенциализм был предложен Кьеркегором как бурная реакция на всеобъемлющий абсолютный Идеализм Гегеля»*. А, вот, значит, как? Я посмотрел на Кьеркегора. *«Кьеркегор, Серен. Датский философ, 1813–1855. См. ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ»*.

Я посмотрел на Кьеркегора в другой книге, биографическом словаре. Кьеркегор был сыном купца. Своими успехами его отец был обязан только самому себе, он оставил сыну значительное состояние. Кьеркегор его потратил на изучение философии и религии. Он был помолвлен с девушкой по имени Регина, но разорвал помолвку, потому что решил, что не создан для брака. Он учился на священника, но так и не принял сана, а в конце жизни написал несколько противоречивых эссе с нападками на традиционное христианство. Не считая нескольких поездок в Берлин, он никогда не покидал Копенгагена. На первый взгляд, жизнь его казалась столь же скучной, сколь и короткой. В конце статьи были перечислены некоторые книги Кьеркегора. Не могу описать,

что я чувствовал, читая эти названия. Если бы волосы у меня на затылке были покороче, они бы встали дыбом. «Страх и трепет», «Болезнь к смерти», «Понятие страха» — эти слова звучали не как названия книг по философии, но, словно стрелы, попавшие прямо в цель, они определяли суть моего состояния. Даже те, которые я не только не мог понять, но даже догадаться по ним о содержании, например, «Или — или» и «Повторение» казались полными скрытого смысла, предназначенного специально для меня. И представьте себе, Кьеркегор вел дневник. Я должен достать его и еще какие-нибудь его книги.

Пятница,
вечер. Сегодня днем сеанс акупунктуры в Клинике здоровья. Мисс Ву, как обычно, начала с того, что посчитала пульс, держа мое запястье в своих прохладных влажных пальцах так осторожно, словно моя рука была стеблем хрупкого и ценного цветка, и спросила, как я себя чувствую. Меня так и подмывало поведать ей о проблеме с эякуляцией прошлой ночью, но я сдержался. Мисс Ву родилась в Гонконге, но воспитывалась в Раммидже, она очень стеснительная и скромная. Она всегда выходит из комнаты, пока я раздеваюсь до

трусов, забираюсь на высокую мягкую кушетку и накрываюсь сетчатым покрывалом; прежде чем войти, она всегда стучит в дверь, чтобы убедиться, что я готов. Я подумал, что она смутится, если я упомяну об отказе моего семени излиться наружу, да и, сказать по правде, мне совсем не улыбается терпеть иголки, втыкаемые в мошонку. Не то чтобы она стала втыкать их туда, но мало ли что. Поэтому я ограничился описанием моих обычных симптомов, и она, как обычно, воткнула мне иглы в кисти рук и ступни. Они немного похожи на булавки с цветными пластмассовыми головками, какими размечают настенные карты и прикрепляют объявления. Когда мисс Ву попадает в нужную точку, испытываешь пощипывающий укол, иногда его можно сравнить со слабым ударом током. В этой акупунктуре точно что-то есть, хотя трудно сказать, оказывает ли она продолжительное действие. Сюда я обратился по поводу Патологии Неизвестного Происхождения, но мисс Ву честно сказала, что мало чем сможет помочь, разве что поспособствовать общему оздоровлению, улучшению моего физического и психического состояния, поэтому я и согласился. После сеанса я целый день и, пожалуй, еще следующее утро чувствую себя лучше, но потом

это проходит. Наверное, иглоукалывание сродни искуплению грехов — иголки действительно причиняют некоторую боль, плюс нельзя пить алкоголь в день сеанса, вот я и чувствую себя лучше, — и все же бесконечно мягкое обращение мисс Ву успокаивает. Она всегда извиняется, если особо сильная реакция на укол заставляет меня дернуться; а когда (очень редко) она не может с первого раза найти нужную точку, то сильно переживает. Когда же мисс Ву случайно уколола меня до крови, я думал, она умрет от стыда.

Во время сеанса мы разговариваем, как правило, о моей семье. Мисс Ву проявляет живой интерес к жизни Адама и Джейн. Иногда я затрудняюсь ответить на ее вопрос и чувствую себя виноватым: до меня доходит, как мало я в последнее время думаю о своих детях. Но они живут теперь своей жизнью, независимо и самостоятельно, и знают, что при серьезных денежных затруднениях им достаточно меня попросить. Адам работает в Кембридже, в компании, выпускающей компьютерное обеспечение, а его жена Рэчел преподает на полставки историю искусств в университете Саффолка. У них маленький ребенок, так что они полностью поглощены своими домашними

заботами и профессиональными проблемами. Джейн, археологу по специальности, можно сказать, повезло с работой в музее в Дорчестере, живет она в Свонедже со своим другом Гасом, каменщиком. В этом скучном курортном городишке они ведут тихую, непритязательную, растительную жизнь и, похоже, в современном понимании вполне счастливы. В последнее время мы видим их всех только на Рождество, когда они приезжают к нам в Холлиуэлл. Легкая тень набежала на лицо мисс Ву, когда она поняла из моих ответов, что Джейн и Гас не женаты — по-видимому, среди ее соплеменников это неприемлемо. Что ж, надеюсь, когда-нибудь Джейн выйдет замуж, лучше не за Гаса, хотя с нее станется найти вариант и похуже. Сегодня я смело спросил у мисс Ву, собирается ли она сама замуж, и мисс Ву, улыбнувшись, покраснев и потупив взор, ответила: «Брак — это большая ответственность». Снова посчитала мне пульс, объявила, что он значительно улучшился, и что-то записала в своем журнале. Потом вышла из комнаты, чтобы я мог одеться.

Чек в простом коричневом конверте я оставил на столике, где мисс Ву держит свои иголки и другие инструменты. После первого сеанса

я допустил ошибку: достал бумажник и, по неведению, сунул банкноты ей прямо в руку. Мисс Ву очень смутилась, смутился и я, осознав свой faux pas

[13] [broken link: #_ftn13]. Вообще расплата с врачами дело непростое. Александра предпочитает получать деньги по почте. Эми рассказывала мне, что в последнюю пятницу каждого месяца, когда она приходит в кабинет к Карлу Киссу, на кушетке ее ждет маленький конверт со счетом. Она берет его и молча прячет в сумку. И никто из них никогда об этом не упоминает. На самом деле подобная щепетильность неудивительна. Лечение не должно быть финансовой сделкой - Иисус не брал деньги за свои чудеса. Но терапевты должны как-то жить. Мисс Ву берет всего пятнадцать фунтов за часовой сеанс. Как-то раз я выписал ей чек на двадцать, что привело лишь к новой неловкости, - она побежала за мной на автостоянку сказать, что я ошибся.

Она вернулась в комнату, когда я оделся, и мы договорились о встрече через две недели. В следующую пятницу у меня ароматерапия. Хотя мисс Ву об этом не знает. Я готов на любую терапию, кроме химиотерапии. Я имею в

виду транквилизаторы, антидепрессанты и другие подобные средства. Это я уже проходил. Довольно давно, в 1979 году. Тогда готовился к постановке в компании «Эстуари» мой первый собственный ситком «Наоборот» про мужа-домохозяйку при эмансипированной жене, делающей карьеру. Я работал над пилотной серией, когда мне позвонил Джейк и сообщил, что «Би-би-си лайт энтертейнмент» предлагает присоединиться к группе, пишущей сценарий для нового комедийного сериала. Для вольного художника ситуация типичная: несколько лет бьешься над тем, чтобы хоть кто-то взял твою работу, и вдруг становишься нужным двум каналам сразу. Я решил, что не справлюсь с обоими предложениями одновременно. (Джейк считал, что у меня все получится, но от *него*-то требовалось всего лишь составить два контракта и протянуть две руки за гонорарами.) Я отказался от сотрудничества с Би-би-си, поскольку «Наоборот» казался мне более серьезным проектом. Вместо того чтобы просто позвонить Джейку, я написал ему длиннющее письмо, где подробнейшим образом изложил все причины, скорее для себя, чем для него (сомневаюсь, что он удосужился прочитать письмо до конца). Но пилотная серия

оказалась ужасной до такой степени, что даже не увидела света катодной трубки, и дело шло к тому, что сериал никогда не состоится. Естественно, я начал сожалеть о своем отказе. «Сожалеть» — это до смешного неадекватное определение моего тогдашнего состояния. Я был убежден, что безвозвратно загубил свою карьеру, совершил профессиональное самоубийство, прошел мимо единственного шанса в своей жизни и т. д. и т. п. Оглядываясь на прошлое, я полагаю, что это был первый по-настоящему жестокий приступ Патологии Неизвестного Происхождения. Я не мог думать ни о чем другом, кроме как о своем роковом решении. Не мог работать, не мог расслабиться, не мог читать, смотреть ТВ, не мог ни с кем ни о чем разговаривать дольше нескольких минут, потому что мои мысли, подобно самописцу сломавшегося прибора, неумолимо возвращались в привычную колею бесплодных размышлений о Решении. У меня развился синдром раздраженного кишечника, я ходил совершенно обессиленный из-за нарушений перистальтики желудка, в десять тридцать, измученный, валился в постель, а два часа спустя просыпался весь в поту и остаток ночи мысленно переписывал письмо к Джейку,

в котором с безупречной логикой обосновывал, почему я прекрасно могу работать одновременно и на Би-би- си, и в «Эстуари». В своем воображении я обращал время вспять, представляя, что мое роковое решение не имело никаких последствий: письмо к Джейку потерялось, или вернулось ко мне нераспечатанным, потому что я неправильно написал адрес, или Би-би-си взывала ко мне, умоляя передумать, и так далее. После недели таких мучений Салли заставила меня пойти к моему лечащему врачу, неразговорчивому шотландцу по фамилии Паттерсон, сейчас я хожу к другому. Я рассказал ему про свой раздраженный кишечник и бессонницу и осторожно признался, что испытываю стресс (тогда я еще не был готов открыть перед другим человеком дверь в сумасшедший дом своего разума). Паттерсон выслушал, поворчал и выписал мне валиум.

В отношении валиума я был девственником — видимо, поэтому воздействие лекарства оказалось столь мощным. Я был поражен: буквально через несколько минут необычайное умиротворение и расслабленность окутали меня словно теплым одеялом. Мои страхи и тревоги съежились, уменьшились и исчезли,

как причудливые призраки при свете дня. В ту ночь я проспал десять часов как младенец. А на следующее утро я был вялый и немного подавленный. Я смутно ощущал, что на горизонте сознания маячат дурные мысли, угрожая вернуться, но еще одна маленькая бледно-зеленая таблетка заглушила и эту угрозу и снова обволокла меня спокойствием. Я чувствовал себя нормально — не в самой лучшей форме, но вполне сносно, как в плане творчества, так и общения, — пока принимал лекарство. Но когда курс закончился, моя одержимость вернулась, как сорвавшийся с поводка взбесившийся ротвейлер. Я оказался в гораздо худшем состоянии, чем раньше.

В то время еще не до конца осознавали опасность привыкания к валиуму, и хотя я принимал его не так Долго, чтобы впасть в зависимость, тем не менее пережил настоящую ломку, борясь с искушением пойти к Паттерсону и попросить новый рецепт. Я понимал, что, если сделаю это, действительно окажусь уже в полной зависимости. Кроме того — я был уверен, что, пока принимаю валиум, не смогу писать. Разумеется, тогда я не мог писать и *не* принимая его, но некое шестое чувство подсказывало мне,

что со временем этот кошмар пройдет сам собой. Так и случилось — ровно через десять секунд после звонка Джейка, который сообщил, что «Эстуари» собирается взять новых актеров и сделать новую пилотную серию. Она получила одобрительный отклик, и они заказали целый блок, имевший скромный успех — мой первый, в то время как шоу Би-би-си провалилось. Год спустя я едва мог припомнить, почему вообще сомневался в правильности своего решения. Но симптомы окончания действия валиума запомнил и поклялся никогда не прибегать к нему.

Два спазма в колене, пока я писал эту часть, один настолько сильный, что заставил меня вскрикнуть.

Суббота, вечер, 20 фев. Сегодня в клубе я услышал от Руперта удивительную и отчасти тревожную историю. Мы с Салли приехали туда после раннего ланча, чтобы поиграть в теннис на улице. Стоял прекрасный зимний день, сухой и солнечный, воздух бодрил, но было тихо. Салли играла двое на двое в компании других женщин, я — со своими дружками-калеками. У нас уходит много времени на переодевание, так как перед игрой мы накладываем такое количество

повязок, шин, ограничителей, бандажей и протезов, что похожи на средневековых рыцарей, облачающихся в свои доспехи перед сражением. Салли и ее приятельницы уже отыграли большую часть первого сета, когда мы прошествовали, а точнее, прохромали мимо их корта к своему. Бетти, жена Руперта, играла в паре с Салли, и как раз в этот момент она особенно хорошо отбила слева, заработав тем самым очко, и мы все зааплодировали.

— Бетти тоже берет уроки, да, Руперт? — с ухмылкой заметил Джо.

— Да, — довольно резко ответил Руперт.

— Да уж, наш мистер Саттон что-то такое делает с нашими дамами, — заметил Джо. — Не знаю, что именно, но…

— Джо, заткнись, а? — раздраженно бросил Руперт, уходя вперед.

Джо скорчил гримасу и подвигал бровями, обращаясь к нам с Хамфри, но ничего не сказал, а мы тем временем уже дошли до корта и разбились на пары.

Я играл с Хамфри, и мы побили противников в пяти сетах: 6:2, 5:7, 6:4, 3:6, 7:5. Матч был что надо, пусть даже стороннему наблюдателю и могло из-за нашей медлительности показаться,

что мы играем словно под водой. Наконец-то я научился хорошо отбивать слева и послал пару мячей низко над сеткой, застигнув Руперта врасплох. Нет большего удовлетворения, чем быстро, без видимого усилия отбить мяч слева. Правда, выиграли-то мы матч благодаря моему плохо рассчитанному удару рамкой ракетки по мячу влет, что больше на нас похоже. Тем не менее удовольствия мы получили много. Джо хотел поменяться партнерами и отыграться в трех сетах, но мое колено угрожающе свело, а Руперт сказал, что заканчивается действие его обезболивающего (он всегда принимает пару таблеток перед игрой), так что мы оставили сражаться этих двоих и, приняв душ, пошли выпить. Взяв пива, мы сели в симпатичном укромном уголке клубного бара. Несмотря на периодические вспышки боли в колене, я, разгоряченный после нагрузки, чувствовал себя хорошо, почти как прежде, и с наслаждением потягивал холодное горькое, но Руперт хмурился над своей кружкой, словно на дне ее затаилось что-то недоброе.

— И что Джо никак не уймется насчет Бретта Саттона, — сказал он. — Это бестактно. Более того, неприятно. Неприятно смотреть, как человек

растравляет свою рану.

Я спросил, что он имеет в виду. Понизив голос, Руперт сказал:

— Разве ты не знаешь про Джин?

— Какую Джин? — тупо переспросил я.

— Ах да, тебя же там не было, — ответил Руперт. — Джин, жена Джо. Она трахнулась с молодым Ритчи на вечеринке перед Новым годом.

Молодой Ритчи — это Алистер, сын Сэма Ритчи, клубного тренера по гольфу. Пока его отец дает уроки, он присматривает за магазинчиком и сам, бывает, инструктирует начинающих. Ему не больше двадцати пяти.

— Ты шутишь? — спросил я.

— Клянусь, — ответил Руперт. — Джин напилась и стала жаловаться, что Джо не танцует, потом заставила танцевать молодого Ритчи, хихикая и вешаясь ему на шею, а через какое-то время они оба исчезли. Джо пошел ее поискать и нашел их вместе в медпункте, в недвусмысленном положении. Видимо, эта комната не в первый раз использовалась не по назначению. Они заперлись, но у Джо как у члена комитета был ключ.

Я поинтересовался у Руперта, откуда он все

это знает.

— Джин рассказала Бетти, а Бетти рассказала мне.

Я недоверчиво покачал головой. Мне было непонятно, зачем Джо беспрерывно отпускает шуточки насчет Бретта Саттона, будто бы клубного жиголо, если ему только что наставил рога молодой Ритчи.

— Отвлекающая тактика, наверное, — сказал Руперт. — Он пытается отвлечь внимание от Ритчи и Джин.

— Что нашло на молодого Ритчи? — спросил я. — Джин ему в матери годится.

— Может, это была жалость, — предположил Руперт. — Джин сказала ему, что у нее не было этого с тех пор, как Джо перенес операцию на спине.

— Чего не было?

— Этого, — сказал Руперт. — Секса. Ты сегодня что- то туго соображаешь, Пузан.

— Извини, просто ты меня удивил, — признался я, вспоминая наш разговор недельной давности на крытом корте: беспокойная мысль, что якобы безобидное подшучивание со стороны Джо имело болезненный подтекст, дошла до моего сознания. Теперь я вспомнил, что Руперт, в отличие от

Хамфри, не поддерживал эти шутки.

— А Хамфри об этом знает? — спросил я.

— Не знаю. Не думаю. У него же нет жены, которая пересказывает сплетни, верно? Удивительно, что Салли об этом не слышала.

Возможно, и слышала, подумал я, да мне не сказала.

Но когда я позднее спросил, не слышала ли она чего-то скандального про Джин Веллингтон, Салли ответила — нет.

— Но я бы и не услышала, — сказала она. — Такими сплетнями нужно обмениваться. Грязи не получишь, если сам не выльешь.

Я думал, она поинтересуется подробностями, но она ни о чем не спросила. В этом смысле у Салли необыкновенный самоконтроль. Или, может быть, она просто нелюбопытна в отношении личной жизни других. Сейчас она с головой ушла в свою работу — кроме преподавания и научных изысканий, она взялась еще и за администрирование.

Изменение статуса Политеха — преобразование его в университет — потребовало большой реорганизации. Университет имеет право составить собственную программу присвоения магистерских и докторских степеней, и Салли

ведет новый межфакультетский курс по прикладной лингвистике для аспирантов педагогического и других гуманитарных факультетов, а также в университете и за его пределами заседает в бесчисленных комитетах с названиями вроде Факультетский комитет обеспечения качества и Совет по английскому языку для колледжей и университетов. Еще Салли организует переобучение учителей местной начальной школы без отрыва от производства, претворяя в жизнь новый Национальный учебный план. Я считаю, что декан факультета эксплуатирует Салли, он свалил на нее все самые сложные задания, потому что знает — она выполнит их лучше любого другого сотрудника, но когда я заикнулся об этом, она пожала плечами и ответила — это лишь доказывает, что он хороший руководитель. Она приносит домой груды скучных программ и отчетов, над которыми работает вечерами и по выходным. Мы сидим в тишине по обе стороны камина, она просматривает свои бумаги, а я смотрю телевизор в наушниках.

Сегодня вечером жуткая боль в колене во время просмотра новостей.

— Черт! — крикнул я. Салли подняла от бумаг

вопросительный взгляд. Я тут же снял наушники и пояснил: — Колено.

Салли кивнула и вернулась к чтению, а я к телевизору. Главной новостью оставалось расследование дела об убийстве Джеймса Балджера, которое уже несколько дней в центре внимания всех средств массовой информации. На прошлой неделе двое мальчишек увели двухлетнего малыша из мясного магазина в Бутле, пока его мать чем-то отвлеклась. Позднее его нашли мертвым, с жуткими ранами, недалеко от железнодорожного полотна. Похищение было зафиксировано скрытой видеокамерой, и по всем газетам и ТВ-новостям прошел нестерпимо мучительный размытый кадр, где два больших мальчика уводят малыша, который доверчиво держится за руку одного из них, как на какой-нибудь рекламной картинке. Оказалось, несколько взрослых видели этих троих и заметили, что маленький мальчик плачет и кажется напуганным, но никто не вмешался. Сегодня объявили, что двум десятилетним негодяям было предъявлено обвинение в убийстве.

— Напрашивается вопрос, — сказал ТВ-репортер, стоявший на фоне торгового центра

Бутла, — в каком же обществе мы живем, если в нем случаются подобные вещи?

В очень больном, напрашивается ответ.

Воскресенье, 21 фев. 630 вечера. Пишу это на своем ноутбуке в перерыве между генеральной репетицией и съемкой «Соседей», сидя за столом с ламинированным покрытием в столовой студии «Хартленда» в окружении грязных тарелок, чашек и стаканов, которые после раннего ужина актеров и персонала остались неубранными — это должны делать поставщики, работающие спустя рукава. Запись начинается в 7.30, после получасового разогрева аудитории. Актеры разошлись по своим уборным подправить грим или отдохнуть. Хэл вместе с помощником и видеоинженером в последний раз проверяет сценарий для оператора, Олли выпивает с Дэвидом Трисом, хартлендским «проверяющим по комедиям» (обожаю название этой должности), а мне удалось выкроить часок для себя, отделавшись от дуэньи Марка Харрингтона — Саманты, которая задержалась дольше всех. У Саманты Хэнди диплом университета Эксетера по театральному искусству, и она работает здесь faute de mieux

[14] [broken link: #_ftn14], как сказала бы Эми.

Присматривать
за двенадцатилетним мальчиком, который говорит только о компьютерных играх, следить, чтобы он выполнял домашнее задание, - явно не ее призвание. На самом деле она хочет писать для телевидения и, кажется, думает, что с моей помощью сможет получить заказ. Она красивая, рыжая, с потрясающими сиськами, и, наверное, другой мужчина - Джейк Эндикотт, например, - мог бы поддаться искушению и поддержать в ней эту иллюзию, но я честно сказал, что лучше ей для начала попросить у Олли какие-нибудь сценарии на рецензию. Она слегка надулась и ответила:

— Просто у меня есть замечательная идея для сногсшибательного «мыла», что-то вроде английского «Твин Пикса». Рано или поздно до нее додумается кто-нибудь еще, и я этого не вынесу.

— И что же это за идея? — спросил я, отводя глаза от двух ее пиков, и поспешно добавил: — Нет, не говорите мне. Скажите Олли. Я не хочу, чтобы в один прекрасный день меня обвинили в плагиате.

Саманта улыбнулась и сказала, что эта идея не в моем вкусе, я сочту ее извращением.

— Где тут извращение? — спросил Марк, приканчивая вторую порцию шоколадного десерта.

— Не твое дело, — отрезала Саманта, слегка потрепав его по уху острым ногтем.

И спросила меня, не следует ли ей найти агента. Я ответил, что это отличная мысль, но не предложил представить ее Джейку Эндикотту. Исключительно для ее же блага, но она, естественно, не оценила моего великодушия и, слегка обиженная, увела своего юного подопечного к гримерам.

Я стараюсь никогда не пропускать воскресных съемок. Не то чтобы я надеялся внести какие-то серьезные изменения в последний момент, но присутствие в студии зрителей создает на этих съемках приподнятое настроение, как в день премьеры. Никогда не знаешь, как поведет себя аудитория, какая будет реакция. Обычно на билеты подписываются поклонники сериала, и можно не сомневаться, что смеяться они будут в нужных местах, но, поскольку билеты бесплатные, всегда есть риск, что кто-то не придет. И чтобы гарантированно заполнить студию, «Хартленд» предпочитает приглашать в основном организованные группы,

например, из общественных клубов или с предприятий, заинтересованных в дешевом вечернем развлечении, — таких зрителей за счет компании привозят и отвозят на автобусе, чтоб не сбежали. Иногда зрительный зал заполняют обитатели дома престарелых, которые уже с трудом улавливают сюжет, глуховаты и не слышат диалогов или подслеповаты и ничего не видят на мониторах, а как-то раз у нас была группа японцев, которые ни слова не понимали по-английски и всю запись просидели в полном молчании, озадаченно и вежливо улыбаясь. В иные вечера приходят люди, настроенные повеселиться по-настоящему, и тогда актеры добираются до финала на непрерывной волне смеха. Непредсказуемость студийной аудитории сближает ситком с настоящим театром более других телевизионных передач, и, видимо, поэтому я ловлю такой кайф от записи.

ТВ-студия «Хартленда» в Раммидже занимает огромное новое здание, похожее снаружи на терминал аэропорта: стекло и стальные летящие опоры. Его построили три года назад на рекультивированном участке земли в заброшенной индустриальной зоне примерно в миле от центра города, между каналом и линией

железной дороги. Предполагалось, что оно станет сердцем огромного Медиа-парка, с бесконечной чередой студий, галерей, типографий и рекламных агентств, но экономический спад помешал осуществлению этой затеи. Здесь ничего нет, за исключением сверкающего монолита «Хартленда» и его огромной, утопающей в зелени автомобильной стоянки. «Соседей» записывают в самой большой «Студии С» — в ней поместился бы дирижабль, — по длинной стороне уходят вверх сиденья на триста шестьдесят человек. На полу установлены обращенные к зрителям стационарные декорации — самые большие и сложные, потому что здесь все в двух экземплярах: две гостиные, две кухни, два холла с лестницами, разделенные брандмауэром. На самом деле «Брандмауэр» был изначальным рабочим названием моего сценария, и некоторые эпизоды демонстрируются на разделенном экране, чтобы показать, что они происходят одновременно в обоих домах. Этот визуальный прием и следует признать фирменным знаком нашего сериала и, положа руку на сердце, нашим единственным открытием. На потолке, на металлических балках, укреплено около миллиона лампочек, напоминающих перевернутое поле подсолнухов.

Их приходится охлаждать кондиционерами, из-за которых в студии слишком холодно. На генеральные репетиции я всегда надеваю толстый свитер, даже летом. Хэл Липкин и большинство персонала щеголяет в футболках темно-синего цвета с желтой надписью курсивом на груди — «Соседи».

Воскресенье — самый длинный и тяжелый день для всех, но особенно для Хэла. Он всеми командует и за все отвечает. Когда я приехал, он на съемочной площадке разговаривал с Роном Дикином, который стоял на верхней ступеньке стремянки с дрелью «Блэк энд Деккер» в руках. Снимается сцена синхронно на двух кухнях. Папаша Дэвис вешает полки под саркастические подначивания Долли Дэвис, а через стенку Присцилла и Эдвард озабоченно говорят об Алисе под завывание дрели. В разгар беседы папаша Дэвис протыкает сверлом стену, сталкивая кастрюлю, которая чуть не падает Эдварду на голову, — непростой эпизод, который должен быть жестко выверен по секундам. Разумеется, его репетировали, но теперь все надо проделать с настоящими предметами. Шнур дрели не достает до розетки, и съемка на некоторое время застопоривается, пока

электрик ходит за удлинителем. Операторы зевают и поглядывают на часы, прикидывая, сколько осталось до перерыва на кофе. Актеры прогуливаются по съемочной площадке. Феба Осборн отрабатывает перед зеркалом балетные па. Создание телевизионных программ состоит главным образом из ожидания.

Рабочий день течет неторопливо и предсказуемо. Сначала Хэл на съемочной площадке дает указания, прерывая и, если необходимо, переставляя актеров, пока не достигнет желаемого результата. Затем он удаляется в контрольную комнату, чтобы посмотреть, как это выглядит оттуда. Пять камер с разных сторон съемочной площадки наведены на отдельных персонажей или группы. Каждая камера посылает изображение на черно-белый монитор в контрольной комнате. Цветной монитор в середине блока экранов показывает, что будет записываться сегодня для контрольной копии: отбор производит ассистент режиссера, следуя подготовленному Хэлом операторскому сценарию, в котором каждый кадр пронумерован и закреплен за определенной камерой. По мере того как разворачивается действие, ассистент называет номера сидящему

рядом видеоинженеру, и тот нажимает на нужные кнопки. Определить из зрительного зала, какая из камер сейчас пишет, можно по горящей на камере красной лампочке. С галереи Хэл дает команды ассистенту режиссера Изабел, она их слышит через наушники и доносит до актеров. Иногда Хэл решает, что нужно изменить кадр или ввести новый, но это происходит на удивление редко. Он уже «увидел» всю серию в голове, кадр за кадром.

Мультикамера, так называется эта техника, сейчас редко используется на телевидении. На заре телеиндустрии все снималось только ею, даже серьезные драматические спектакли, — и снималось *живьем*, без последующего монтажа (вообразите, какому стрессу подвергались актеры, которым нужно было успеть перебежать и занять свои места в следующей сцене). Сегодня большинство серьезных спектаклей и ситкомов снимаются одной видеокамерой с последующим монтажом. Другими словами, они делаются, как кино: каждую сцену снимают несколько раз под разными углами и с разного расстояния, шаг за шагом, чаще на натуре, а не в студии и затем монтируют в удобное для режиссера время. Режиссеры предпочитают этот метод,

потому что он позволяет им чувствовать себя настоящими творцами. Те, что помоложе, фыркают по поводу мультикамеры и называют ее «наборным телевидением», но большинство из них просто не умеют с ней обращаться — попытайся они ею воспользоваться, границы их скромных дарований сразу станут ясны всем. После съемок, при монтаже, вы всегда можете скрыть свои ошибки, но мультикамера требует, чтобы к моменту съемок все было подготовлено идеально. Это вымирающее искусство, и Хэл — один из его немногих еще сохранившихся корифеев.

Олли приехал в студию позже и сел рядом со мной. На нем был костюм от Хьюго Босса — их у него, должно быть, целый шкаф. Думаю, он покупает их из-за марки. Когда он сел, широкие плечи пиджака поднялись и подперли его большие красные уши. Вместе со сломанным носом, они делают его похожим на бывшего боксера, и ходят слухи, что он в самом деле начинал свою карьеру, организуя бои в лондонском Ист-Энде.

— Мы должны поговорить, — сказал он.

— О Дебби? — спросил я.

У него сделался встревоженный вид, и он

поднес палец к губам.

— Не так громко, у стен есть уши, — сказал он, хотя в нашем ряду мы сидели одни, а до ближайшей стены было футов пятьдесят.

— Ланч? Ужин? — предложил я.

— Нет, я хочу пригласить еще Хэла, да и труппа насторожится, если мы устроим междусобойчик. Ты можешь остаться выпить после записи?

Я сказал, что могу. В этот момент я с изумлением услышал, как Льюис Паркер произносит на площадке:

— *«Чтож, если она беременна, придется беременность прервать,* — и Дебби отвечает:

— *Видимо, ты считаешь, что это решает все проблемы?»*

Я повернулся к Олли:

— Я думал, что эти реплики вырезаны.

— Мы решили уважить художественную целостность твоей работы, Пузан, — оскалился волчьей улыбкой Олли.

Когда в перерыве я спросил об этом у Хэла, тот объяснил, что они сэкономили немного времени, вырезав часть реплик из следующей сцены, так что в конце концов жертвовать этим эпизодом не пришлось. Не часть ли это некоего заговора, чтобы задобрить меня для решения

более серьезного вопроса с ролью Присциллы?

Без пяти семь. Пора занимать свое место в студии. Интересно, что у нас сегодня за зрители.

Понедельник, утро, 22 фев. Не зрители оказались, а сущий кошмар. Прежде всего среди них попался Идиотский Смех. Это всегда плохо: какой-нибудь придурок с очень громким, глупым смехом продолжает гоготать, хихикать или взвизгивать, когда все остальные уже давно замолчали, он любит вылезать в промежутке между двумя комическими сценами, когда никто больше не смеется. Он отвлекает зрителей: через какое-то время вместо того, чтобы смеяться над шоу, все начинают смеяться над Идиотским Смехом, — и это путает актерам все карты, они теряют заданный темп. Билли Барлоу, наш разогревающий, немедленно засек опасность и попытался нейтрализовать эту мадам несколькими саркастическими замечаниями, но Идиотский Смех (почему-то это всегда женщина) невосприимчив к иронии. Когда она внезапно захихикала (эта специализируется на хихиканье) в середине какого-то абсолютно нейтрального объяснения, Билли спросил:

— Я сказал что-то смешное? Должно быть, у вас извращенное восприятие, мадам. Это семейное

шоу — никаких инсинуаций. Вы ведь знаете, что такое инсинуация? От итальянского слова «влезать».

Раздался смех, на время заглушивший хихиканье, хотя я знаю, что при прочих равных эта шутка Билли обычно имеет гораздо больший успех.

Разогревающий
жизненно необходим для успешной записи. Он не только заранее настраивает аудиторию на восприятие шоу, но и сглаживает перерывы между сценами, пока камеры перемещают по съемочной площадке, заполняет паузы, пока техники проверяют пленку после каждого отснятого куска; если необходима перезапись, он должен обуздать нетерпение зрителей и, взывая к их пониманию, заставить смеяться над теми же репликами еще раз. Билли превосходно знает свое дело, но даже он не всесилен. Эта аудитория была поистине непробиваема. Они всего лишь похихикивали, когда нужно было смеяться от души, и молчали, когда нужно было похихикать. Реплика за репликой не получала отклика, актеры заволновались, начали делать ошибки, играть без огонька, начались бесконечные перезаписи, а зрители

становились еще более непробиваемыми. Покрывшийся испариной Билли расхаживал взад и вперед перед рядами зрителей со своим радиомикрофоном, осклабившись и лихорадочно остря. Чтобы расшевелить сидевших рядом со мной, я хохотал как безумный, хотя все это я уже слышал. Я дошел до того, что стал смеяться над собственными репликами, чего никогда себе не позволяю. Я начал думать, что дело не только в зрителях, должно быть, что-то неладно со сценарием. По-видимому, идея сосредоточить сюжет на предполагаемой беременности Алисы оказалась неудачной. Олли и Салли были правы. Тема смущала аудиторию. Когда дело дошло до слов об аборте, во время напряженной паузы, повисшей после вопроса Присциллы: «И вообще, а вдруг она решит сохранить ребенка?», мадам Идиотский Смех нарушила тишину со всей деликатностью говорящего попугая. Я закрыл лицо руками.

Съемки закончились в пять минут десятого, после такого количества дублей, какого на моей памяти еще не бывало. Билли лицемерно поблагодарил аудиторию за поддержку, и все разошлись. Актеры поспешно покидали площадку, устало махая мне на прощание рукой и

посылая вымученные улыбки. В субботу вечером все торопятся уехать, кто-то на машине, кому-то надо успеть на последний поезд в Лондон, а после такой съемки тем более задерживаться желания не было. Если б не совещание с Олли и Хэлом, я и сам был бы рад удрать домой. Я пошел в контрольную комнату, где Хэл обеими руками ерошил воронье гнездо своих жестких волос.

— Господи боже, Пузан, что это были за зомби?

Я пожал плечами, выражая озадаченность.

— Может, дело в сценарии, — с несчастным видом выговорил я.

При этих словах в комнату стремительно ворвался Олли.

— Будь ты Шекспиром, Оскаром Уайльдом и Граучо Марксом

[15] [broken link: #_ftn15] в одном лице, это ничего бы не изменило, - сказал он, - такие недоумки убьют любой сценарий. Где мы их раздобыли - в местном морге?

Сьюзи, ассистент режиссера, ответила, что самая большая группа приехала из клуба местной фабрики.

— Первое, что я сделаю утром, — это выясню, кто они, к черту, такие и кто их пригласил, и сделаю все, чтобы они никогда больше не появлялись на

записи. Пошли выпьем. Нам это необходимо.

Олли известный скупердяй, он пользуется любым предлогом, чтобы не платить за выпивку, особенно в большой компании. Он всегда последним спрашивает: «Кто-нибудь еще будет?», когда уже все, кто за рулем, переключились на фруктовые соки или вообще перестали пить. Мы с Хэлом обычно развлекаемся, пытаясь хитростью заставить Олли заплатить в баре первым — например, Хэл вспоминает, что якобы забыл что-то в контрольной комнате, и возвращается туда, бросив на бегу, что он будет пить, и я делаю то же самое, внезапно взяв курс на туалет. Но вчера на это ни у кого не было настроения, и Хэл оплатил первый круг, даже не попытавшись раскрутить Олли.

— Ваше здоровье, — мрачно произнес он.

Мы выпили и несколько секунд посидели молча.

— Я ввел Хэла в курс дела насчет Дебби, — сказал Олли.

Хэл печально кивнул и промолвил:

— Приплыли.

Но я знал, что рассчитывать на настоящую поддержку с его стороны бесполезно. Когда дойдет до дела, он примет сторону Олли.

— Джейк рассказал тебе, что мы предлагаем, Пузан? — спросил Олли.

В этот момент в бар вошла Сьюзи и стала озираться по сторонам, ища нас.

— Ни слова про Дебби, — тихо предупредил Олли, когда она шла к столу.

Я отодвинул для нее стул, но она покачала головой.

— Нет, спасибо, — сказала она. — Я потолкалась среди зрителей, пока они ждали автобусов. Большинство с завода электродеталей в Уэст-Уоллсбери. В пятницу им сказали, что в конце следующего месяца завод закроют. Они все вместе с зарплатой получили уведомления об увольнении по сокращению.

Мы переглянулись.

— Ну что ж, это многое объясняет, — сказал я.

— Просто не повезло, — поддержал Хэл.

— Идиоты руководители, не могли подождать до завтра, — прокомментировал Олли.

Мне было жаль рабочих, но объяснение, надо сказать, подоспело как нельзя более кстати. Я был настолько деморализован провалом вечерней записи, что, вероятно, согласился бы на все предложения Олли и Хэла. Теперь себя я больше не винил. В конце концов, я чертовски хороший

сценарист — всегда был им и всегда буду. И готов сражаться за свои принципы.

— Джейк приблизительно обрисовал мне вашу идею, — сказал я Олли. — Вы хотите, чтобы я вывел Присциллу из сюжета, да?

— Наша идея, — ответил Олли, — такова: дружеский развод, который убирает Присциллу со сцены в конце нынешнего блока и позволяет в следующем ввести в жизнь Эдварда новую привязанность.

— *Дружеский?!* — взорвался я. — Да для них это станет убийственной травмой.

— Разумеется, без боли не обойдется, — согласился Олли, — но Эдвард и Присцилла взрослые современные люди. Они знают, что один из трех браков заканчивается разводом. И зрители об этом знают. Ты же постоянно говоришь, что время от времени ситком Должен затрагивать серьезные жизненные проблемы, Пузан.

— До тех пор, пока это согласуется с характером персонажа, — сказал я. — С чего бы это Присцилла захотела бросить Эдварда?

У них оказалось еще несколько нелепых предложений: например, Присцилла решает, что она лесбиянка и уходит с подружкой; она

увлекается восточной религией и уезжает в ашрам учиться медитации; ей предлагают прекрасную работу в Калифорнии; или она просто западает на красивого иностранца. Я спросил, неужели они всерьез считают, что любой из этих ходов а) правдоподобен и б) его можно реализовать за одну серию?

— Тебе придется переписать две или три последние серии, чтобы подготовить почву, — предложил Олли, уходя от первого вопроса.

— У меня есть идея для последней серии, — заявил Хэл. — Давай расскажу.

— Это отличная идея, Пузан, — заверил меня Олли.

Хэл наклонился вперед.

— После ухода Присциллы Эдвард подает объявление в газету о найме экономки, и на пороге его дома появляется потрясающая птичка. Эдвард внезапно осознает, что, может, нет худа без добра. Это самый последний кадр блока. Зрители уже не так расстраиваются из-за развода и заинтригованы, что же случится в следующем блоке. Ну, что скажешь?

— По-моему, дохлый номер, — ответил я.

— Естественно, тебе сполна заплатят за дополнительную работу, — поспешно вставил

Олли. — Честно говоря, тут мы полностью в ваших с Джейком руках.

Он хитро глянул на меня из-под полуопущенных век, словно проверяя, удалось ли ему сыграть на моей алчности. Я сказал, что меня заботят не деньги, а персонажи и мотивация. Хэл спросил, есть ли у меня идеи получше. Я ответил:

— Единственный правдоподобный способ убрать Присциллу из программы — это убить ее.

Олли и Хэл тревожно переглянулись.

— Ты хочешь сказать, чтобы ее убили преступники? — нерешительно проговорил Хэл.

Я ответил, что, конечно, нет, может, автокатастрофа или скоротечная болезнь. Или небольшая операция, которая пошла не так.

— Пузан, я не верю своим ушам, — сказал Олли. — Мы тут разговариваем про ситком, а не про «мыло». Никто из твоих основных персонажей умереть не может. Категорически не может.

Я сказал, что все бывает в первый раз.

— То же самое ты говорил и про сегодняшнюю серию, — напомнил Олли, — и посмотри, что получилось.

— Виноваты были зрители, ты сам сказал, — парировал я.

— Самые лучшие в мире зрители станут в тупик, если вместо ожидаемой комедии они получат рассказ о смерти матери семейства в расцвете лет, — сказал Олли, и Хэл с умным видом закивал, соглашаясь. Затем Олли сказал нечто, что действительно меня разозлило:

— Мы понимаем, как тебе тяжело, Пузан. Может, стоит подумать о том, чтобы над этим поработал другой сценарист?

— Не выйдет, Хосе, — ответил я.

— В Америке это распространенная практика, — заметил Олли. — У них там над таким шоу, как наше, обычно работает целая команда.

— Знаю, — ответил я, — и именно поэтому их шоу похожи на цепочку вымученных острот. И вот еще что я скажу тебе про Америку. В Нью-Йорке есть таблички на улицах, где написано: «Даже НЕ думай здесь парковаться». То же могу сказать вам о «Соседях». — Я сердито воззрился на Олли.

— Длинный выдался день, — нервно произнес Хэл. — Мы все устали.

— Да, мы еще поговорим, — сказал Олли.

— Только не о других сценаристах, — предостерег я. — Я лучше затоплю корабль, чем передам его кому-то другому.

Эта реплика, как мне показалось, поставила достойную точку в разговоре, поэтому я встал и пожелал им обоим доброго вечера.

Только что открыл словарь, чтобы проверить, как пишется «воззрился», и, листая страницы, наткнулся на слова «Доверов порошок» в начале статьи. Определение гласило: «*Препарат из опиума и ипекакуаны, применялся в прошлом для облегчения болей и наркотической ломки. Назван в честь Томаса Довера (1660–1742), английского врача».* Я задумался, нельзя ли и сейчас его где-нибудь раздобыть. Могло бы помочь моему колену.

Поразительно, что можно случайно узнать из словаря. Поэтому я никогда не проверяю правописание с помощью компьютерной программы. Другая причина заключается в том, что словарь в этой программе до смешного мал. Если она не узнаёт слово, то предлагает другое, считая, что, может, ты имел в виду его. Иногда случаются смешные казусы. Например, однажды я написал «Freud», и компьютер предложил «Fraud» — мошенник. Я рассказал Эми, но ее это не позабавило.

Сегодня
утром позвонил Джейку и доложил о своем

разговоре с Олли и Хэлом. Он посочувствовал, но нельзя сказать, чтобы поддержал меня.

— Думаю, тебе следует проявлять гибкость, насколько
это возможно, — сказал он. — «Хартленд» отчаянно заинтересован в продолжении сериала. Это флагман их комедий.

— Ты на чьей стороне, Джейк? — спросил я.

— Разумеется, на твоей, Пузан.

Разумеется. Джейк живет по поговорке Олли: «Искусство искусством, но денежки вперед». Я договорился, что заеду к нему в контору в четверг.

Прошлую ночь провел практически без сна. Салли уже спала, когда я вернулся с записи. Пристроившись к ней под бочок, я быстро отключился, но в два тридцать проснулся словно от толчка — приступ ПНП. Несколько часов я пролежал не сомкнув глаз, мысленно проигрывая вчерашние события и дожидаясь следующего приступа боли. Утром во время бритья обратил внимание, что у меня побаливает и локтевой сустав. Вот было бы здорово, если бы я согласился на еще одну операцию на колене, а теннис все равно пришлось бросить из-за локтя. Хорошо, что сегодня у меня физиотерапия.

Понедельник, вечер. Я спросил у Роланда, слыхал ли он когда-нибудь о Доверовом порошке, но он ответил, что это название ни о чем ему не говорит. Он знаток противовоспалительных гелей с такими названиями, как «Мовелат», «Траксам» и «Ибулев», которые он втирает в мое колено после ультразвуковой процедуры (как в песенке:«*Ибулев» в каждой капле дождя — и цветок прорастает_ «Ибулев» против жалящей боли-и новая ткань нарастает…*»). В наши дни физиотерапия немыслима без сложного оборудования. Когда я, раздевшись, ложусь на кушетку, Роланд вкатывает в комнату большую электронную установку и с помощью проводов и электродов подключает меня к ней или наставляет на пораженную часть диск, направляет лампу или лазер. Я поражаюсь, как ловко он управляется со всем этим хозяйством. И только одним аппаратом я управляю самостоятельно. Он посылает электрические импульсы, стимулирующие четырехглавую мышцу, а я должен увеличивать напряжение настолько, насколько могу вытерпеть. Все равно что сам себя пытаешь. Забавно, как много общего между тренировкой и истязанием. Со своей кушетки, опутанный проводами, я вижу в окно,

что делается за стеклянной стеной спортивного зала позади маленького дворика. Гримасничая от напряжения и блестя потом, мужчины работают на тренажерах, которые, если отвлечься от их высокотехнологичного вида, вполне могли бы служить орудиями пытки, явившимися прямо из средневековой темницы: дыба, ворот, утяжелители и «бегущая дорожка».

Роланд спросил у меня, слышал ли я про транссексуальную форель. Нет, ответил я, расскажи мне про транссексуальную форель. Он просто кладезь информации, этот Роланд. Его жена читает ему интересные заметки из газет, и он все запоминает. Судя по всему, мужские особи форели меняют пол из-за высокого уровня женских половых гормонов, попадающих в сточные воды от противозачаточных пилюль и гормонозаменяющих лекарств. Опасаются, что все мужские особи рыб в пораженных реках станут гермафродитами и прекратят размножаться.

— Заставляет задуматься, а? — заключил Роланд. — Мы ведь, между прочим, пьем ту же самую воду. А потом вдруг у мужчин начнет расти грудь.

Не хочет ли Роланд меня напугать? У меня

на груди, под волосами, большие жировые отложения. Должно быть, Роланд заметил их, когда делал мне массаж.

Возможно, прошлой ночью я не смог кончить, потому что превращаюсь в гермафродита. ПНП Гормонов.

Вторник, вечер, 23 фев. Сегодня я спросил Доверов порошок в самой большой аптеке Раммиджа, но фармацевт ответил, что никогда не слышал о таком и не может найти его в своей книге лекарственных средств. Я сказал: «Наверное, его запретили из-за опиума», а он как-то странно на меня посмотрел. И я ушел из аптеки, пока он не вызвал подразделение по борьбе с наркотиками.

Сначала я отправился в городской торговый центр купить что-нибудь Кьеркегора, но радости это мне не доставило. В «Уотерстоуне» было только пингвиновское издание «Страха и трепета», я купил его и пошел в «Диллонз». Когда оказалось, что «Диллонз» предлагает ту же книгу и ничего больше, я почувствовал обычные симптомы своего магазинного синдрома, то есть иррациональную ярость и нетерпение. Низкая Сопротивляемость Разочарованию, НСР, по определению Александры. Боюсь, я был

очень язвителен с безобидной продавщицей, которая подумала, что «Кьеркегор» это два слова, и начала искать на своем компьютере на «Гор». К счастью, Центральная библиотека оказалась укомплектована лучше. Я смог взять «Понятие страха» и две другие работы, которые заинтриговали меня своими названиями: «Или — или» и «Повторение». «Дневник» был на руках.

Я уже довольно давно не пользовался библиотекой и с трудом отыскал ее. Типичное здание гражданской архитектуры шестидесятых, брутальная конструкция из необработанного бетона, напоминающая, по словам принца Уэльского, муниципальный завод по сжиганию отходов. Стоит она на голой площади рядом с центральным парком, в котором когда-то был мелкий прудик и изредка действовавший фонтан — свалка самого разнообразного мусора. Это унылое и продуваемое всеми ветрами пространство считалось сердцем города, хотя большинство людей старалось его избегать, особенно ночью. В последнее время эту площадь превратили в застекленный и выложенный плиткой атриум, украшенный гирляндами зелени, неоклассическими статуями из стеклопластика и розовой неоновой надписью

«Риальто». Большие торговые площади отведены здесь под разные бутики, киоски и филиалы ресторанов и кафе с намеком на итальянское происхождение, а из спрятанных динамиков сочится оперная музыка и неаполитанские песни. Я сел за столик кафе-бара «У Джузеппе» (снаружи, но все равно внутри этого похожего на студийную декорацию сооружения) и заказал капучино, приготовленное, похоже, специально для того, чтобы его вдыхали, а не пили, потому что в основном оно состояло из пены.

Такую вот своего рода подтяжку лица сделали городскому центру в смелой попытке придать ему привлекательность в глазах туристов и приезжих бизнесменов. Смирившись с развалом традиционных для этого региона отраслей промышленности,
отцы города обратились к индустрии услуг как к альтернативному источнику занятости. Теперь напротив библиотеки, с другой стороны этой мощеной пьяццы, стоит громадный конференц-центр и концертный зал — настоящее произведение искусства. По соседству чуть ли не за одну ночь выросли гостиницы, ночные клубы, рестораны и винные погребки. Каналы вокруг вычистили, а пешеходные дорожки

по их берегам выложили плиткой, чтобы можно было ходить и любоваться результатами строительных работ. Это был типичный для последних лет правления Тэтчер проект, краткая вспышка процветания и оптимизма между спадом начала восьмидесятых и рецессией начала девяностых. Теперь эти почти пустые новые здания с их эскалаторами из нержавеющей стали, стеклянными лифтами и звучащей из ретрансляторов музыкой замерли в ожидании, как парк аттракционов накануне открытия или как некая утопическая столица в государстве третьего мира, построенная из идеологических соображений посреди джунглей, — на нее дивятся местные жители, но редко посещают иностранцы. Днем главные завсегдатаи «Риальто» — безработная молодежь, школьники, прогуливающие уроки, и матери с младенцами, радующиеся теплому и приятному месту, где можно погулять зимним днем. Плюс случайные привилегированные праздношатающиеся вроде меня.

Слово «рецессия» я услышал всего несколько лет назад. Откуда оно взялось и что точно означает? Впервые от словаря оказалось мало толку: «*временная депрессия в хозяйственной жизни*

стран». Как долго должна продлиться рецессия, прежде чем ее назовут депрессией? Даже резкий спад тридцатых годов был «временным» с точки зрения исторической перспективы. Возможно, уже скопилось столько депрессии психологической, что кто-то решил изобрести для экономической сферы новое слово. Рецессия-депрессия, рецессия-депрессия. Слова отдавались у меня в голове, словно сипение ритмично работающего парового двигателя. Разумеется, они связаны. Люди впадают в депрессию, потому что не могут найти работу, или их бизнес идет ко дну, или за неплатежи отняли дом. Они теряют надежду. Опубликованный сегодня опрос института Гэллапа свидетельствует, что почти половина населения страны хотела бы эмигрировать, если бы могла. Гуляя сегодня днем по центру города, можно было подумать, что они это уже сделали.

Мой младший брат Кен эмигрировал в Австралию в начале семидесятых, когда сделать это было легче, чем теперь, приняв тем самым самое удачное решение в своей жизни. По профессии он электрик, в Лондоне работал в большом универмаге в Уэст-Энде и никогда не мог заработать на приличный автомобиль

или на достаточно большой дом для растущей семьи. Теперь у него своя строительная фирма в Аделаиде, дом в стиле ранчо в пригороде, гараж на две машины и бассейн.

Пока «Соседи» не пошли в гору, дела у него шли значительно лучше, чем у меня. Причем, заметьте, он всегда был счастливее меня, хотя ему часто приходилось туго. У него от природы веселый нрав. Удивительно, до чего же разными рождаются люди, даже те, чьи гены зачерпнуты из одного котла.

Я поехал на сеанс к Александре прямо из «Риальто»
и, описывая ей этот эпизод, позволил слететь с моего языка словам «привилегированный праздношатающийся».

— Почему вы так себя называете? — потребовала она ответа.

— Праздношатающийся, потому что я сидел и пил кофе в середине дня, — ответил я, — а привилегированный, потому что это был мой свободный выбор, а не потому, что мне некуда было себя деть.

— Насколько я помню, — сказала она, — вы говорили мне, что работаете чрезвычайно напряженно, когда пишете сценарии для

телевизионного сериала, часто по двенадцать часов в сутки. — Я кивнул. — Разве в оставшееся время вы не можете отдыхать?

— Да, конечно, — согласился я. — Я хочу сказать, что меня поразил контраст между моей жизнью и жизнью лишенных надежды завсегдатаев «Риальто».

— Откуда вы знаете, что у них нет надежды?

Я, естественно, не знал.

— У них был вид отчаявшихся людей?

Я вынужден был признать, что нет. На взгляд стороннего наблюдателя, они, пожалуй, выглядели куда веселей меня — обменивались шутками и сигаретами, притопывали в такт музыки.

— Но при нынешнем спаде, — признался я, — у меня складывается такое ощущение, что я становлюсь богаче, тогда как все остальные вокруг меня становятся беднее. Из-за этого я чувствую себя виноватым.

— Вы чувствуете личную ответственность за спад?

— Нет, конечно нет.

— Насколько я помню, вы говорили, что значительная часть денег поступает к вам из-за границы?

— Да.

— Значит, вы реально вносите положительный вклад в торговый баланс страны?

— Наверное, можно посмотреть на это и так.

— *Кто* же ответствен за спад, на ваш взгляд?

Я немного подумал.

— Не отдельный человек, конечно. Это комплекс факторов, по большей части никому не подвластный. Но мне кажется, правительство могло бы сделать больше, чтобы ослабить его последствия.

— Вы голосовали за это правительство?

— Нет, я всегда голосовал за лейбористов, — ответил я. — Но… — Я колебался. Внезапно ставки взлетели очень высоко.

— Но что?

— Но втайне я почувствовал облегчение, когда победили тори.

Я никому раньше в этом не признавался, даже самому себе. Меня затопила волна стыда и облегчения оттого, что я наконец-то понял истинную причину своего недостатка самоуважения. Мои ощущения, наверное, были сродни тому, что испытывали пациенты Фрейда, когда наконец ломались и признавались в желании заниматься сексом со своими

мамочками и папочками.

— Почему так? — спокойно поинтересовалась Александра.

— Потому что с тори мне не придется платить более высокие налоги, — ответил я.

— Насколько я понимаю, — продолжала Александра, —
Лейбористская партия предложила электорату поднять подоходный налог, электорат это отверг, и Лейбористская партия от этой идеи отказалась. Так?

— Да, — ответил я.

—
Так из-за чего вы чувствуете себя виноватым? — спросила Александра.

— Не знаю, — ответил я.

Мне кажется, Александра попусту растрачивает на меня свои таланты. Ей бы работать в лондонском Сити, убеждая людей, что Алчность — это хорошо.

Сегодня вечером я взялся было за «Понятие страха» — решил, что начну с книги, название которой кажется мне ближе всего, — но сильно разочаровался. Одного «Оглавления» было достаточно, чтобы отпугнуть меня:

Гл. 1. Страх как предпосылка первородного

греха и как то, что разъясняет первородный грех вспять, в направлении его истока.

Гл. II. Страх как то, что разъясняет первородный грех вперед, в прогрессии.

Гл. III. Страх как следствие того греха, который является отсутствием сознания греха.

Гл. N. Страх греха, или Страх как следствие греха в единичном индивидууме.

Гл. V. Страх как спасающая сила веры.

Я никогда не считал себя религиозным человеком. Думаю, в Бога я верю. То есть я хочу сказать, что верю — есть Нечто (скорее чем Некто) за пределами нашего понимания, что объясняет или могло бы объяснить, если б мы могли задать ему вопрос, зачем мы здесь и зачем все это нужно. И я, пожалуй, верю, — после смерти мы воскреснем, чтобы узнать ответы на эти вопросы. Сама мысль, что мы никогда этого не узнаем, что наше сознание потухнет после смерти, как выключенная электрическая лампочка, — нестерпима. Не слишком-то серьезное основание для веры, согласен, но какое есть. Задумываясь об этической стороне жизни, я принимаю заповеди Иисуса — не бросать первым камня, подставлять вторую щеку и так далее, но я бы не назвал себя

христианином. Когда я был мальчишкой, мама с папой посылали меня в воскресную школу — не спрашивайте зачем, сами они в церковь никогда не ходили, кроме как на свадьбы и похороны. Поначалу мне там нравилось, у нас была очень красивая учительница, мисс Уиллоу, с желтыми кудряшками, голубыми глазами и очаровательными ямочками, появлявшимися на щеках, когда она улыбалась. С ее помощью мы разыгрывали сюжеты из Библии… наверное, это было мое самое первое знакомство с театром. Но потом она ушла, и вместо нее нам дали сурового вида даму средних лет — миссис Тернер, у которой из большой родинки на подбородке росли волосы и которая говорила нам, что наши души запятнаны грехом и должны быть отмыты Кровью Агнца. Мне стали сниться кошмары, что миссис Тернер окунает меня в ванну, полную крови, и после этого родители больше уже не заставляли меня ходить в воскресную школу.

Гораздо позднее, подростком, я ходил в Католический молодежный клуб, потому что Морин Каванаг была католичкой и состояла в нем; иногда воскресными вечерами меня заманивали или затаскивали на службы, которые состояли из чтения вслух молитв в помещении

прихода, а иногда в соседнюю церковь на так называемое Благословение, занятное действо: нескончаемые гимны на латыни, клубы ладана, и священнику алтаря, с предметом, похожим на золотой футбольный кубок. Во время этих посещений я всегда испытывал неловкость и растерянность, не зная, что и когда мне делать: сесть, встать или опуститься на колени. Я никогда не испытывал искушения стать католиком, хотя Морин время от времени бросала смутные намеки. В ее религии тоже слишком много говорилось о грехе. Большая часть того, что я хотел делать с Морин (и она хотела делать со мной), называлась у них грехом.

Поэтому все эти слова о грехе в оглавлении «Понятия страха» обескуражили меня, а сама книга лишь подтвердила мои опасения. Она оказалась смертельно скучной и очень трудной для понимания. Например, автор определяет страх как «*появление свободы перед самой собой в возможности*». Какого хрена это значит? Сказать по правде, я пролистал книгу, выхватывая кусок то тут, то там, и не понял почти ни слова. Только в самом конце я нашел интересный пассаж:

Я бы сказал, что научиться постигать страх — это опыт, который должен пережить каждый

человек, если он не хочет погибнуть либо от незнания страха, либо потонув в нем. Таким образом, тот, кто должным образом научился находиться в страхе, познал самую важную вещь на свете.

Но что значит «научиться находиться в страхе» и чем это отличается от того, чтобы потонуть в нем? Вот это я бы хотел узнать.

Сегодня три спазма в колене, один, когда вел машину, два, когда сидел за письменным столом.

Среда, 24 фев., 1130 вечера. Сегодня от рака скончался Бобби Мур. Ему было всего пятьдесят один. Во многих СМИ, должно быть, уже знали, что он болен, потому что Би-би-си сразу выступила с материалом-некрологом, который воткнули в «Спортивный вечер». Туда вошло интервью с Бобби Чарлтоном, наверное, оно шло живьем, или это сегодняшняя запись, потому что он плакал. Я сам чуть не заплакал, между прочим.

Узнал я о Бобби Муре, когда около восьми мы с Эми вышли из кинотеатра на Лестер-сквер. Мы ходили на «Бешеных псов», на ранний вечерний сеанс. Блестящий, ужасный фильм. Сцена, где один из гангстеров пытает охранника, самая

тошнотворная из всего, что мне доводилось видеть в жизни. Все в этом фильме умирают насильственной смертью. Мне остается верить, что все персонажи, каких мы видели, были застрелены по-настоящему — к сожалению, полицейские, которые в конце застрелили героя Харви Кейтеля, были представлены всего лишь голосами за кадром. Эми, похоже, ничуть не тронуло это кровопролитие. Гораздо больше ее волновало, что она не может вспомнить, где видела одного из актеров раньше, и все шептала мне: «В «Доме игр»? Нет. В «Таксисте»? Нет. Где же я его видела?» — пока я не попросил ее замолчать. Когда мы выходили из кинотеатра, она победно возвестила: «Я вспомнила, я видела его не в кино, а в одной из серий «Полиция Майами. Отдел нравов». И в этот момент мой взгляд упал на газетный заголовок: «УМЕР БОББИ МУР». Внезапно смерти в «Бешеных псах» показались мне карикатурными. За ужином я все время подгонял Эми, чтобы скорее поехать домой и включить телевизор, и она решила вернуться к себе прямо из «Габриэлли».

— Я вижу, что ты хочешь побыть один на один со своим горем, — заметила она сардонически и не слишком ошиблась.

В «Спортивном вечере» показали много старой хроники с Бобби Муром в расцвете сил, особо подчеркнув, конечно, его участие в финале Кубка мира 1966 года: те незабываемые кадры, где Мур, получая кубок из рук королевы, сначала тщательно вытер ладони о футболку, а затем повернулся к зрителям, подняв трофей высоко над головой, чтобы весь Уэмбли и вся страна полюбовались на него. Какой это был день! Англия — Германия, 4:2 после дополнительного времени. Просто сюжет для детских комиксов. Могли ли мы мечтать в начале соревнований, что после стольких лет унизительных поражений от южноамериканцев и славян мы наконец-то станем чемпионами мира в игре, которую сами и придумали? Та команда — это были настоящие герои. Я до сих пор помню наизусть их имена. Бэнкс, Уилсон, Коэн, Мур *(капитан),* Стилз, Джек Чарлтон, Болл, Херст, Хант, Питере и Бобби Чарлтон. Кажется, тогда он тоже плакал. Но только не Бобби Мур, капитан, который всегда на высоте, спокойный, уверенный, сдержанный. Он обладал великолепным чувством игры, что компенсировало его медлительность при обводке. Хроника воскресила все это в памяти: то, как в самый что ни на есть последний момент

он вытягивает свою длинную ногу и снимает мяч с носка противника — безупречно, без всякого нарушения правил. А потом — как он отбирает мяч у защитников и бросается в атаку: голова высоко поднята, спина прямая, — словно полководец впереди войска. Он был похож на греческого бога — прекрасная фигура и короткие золотистые кудри. Бобби Мур. Теперь таких нет. Современный тип — неотесанная деревенщина, гребет деньги лопатой, весь расписан какой-то рекламой, постоянно сплевывает на поле и ругается так много, что читающие по губам глухие зрители пишут на Би-би-си жалобы.

(Делаю исключение для Райана Гиггса, молодого нападающего из «Манчестер Юнайтед». Он восхитительный игрок; когда он устремляется на защитников, разгоняя их, как овец, а мяч ведет так, словно тот привязан к его ноге, зрителей охватывает трепет. И он в определенном смысле до сих пор сохранил невинность. Он еще не скатился до осторожности и цинизма, не вымотался, играя слишком много матчей подряд, еще не заболел звездной болезнью. Он до сих пор играет как ребенок, получая наслаждение от игры. Я скажу, что мне нравится в нем больше всего: когда у него что-то по-настоящему хорошо

получается — он забивает гол, или обходит троих игроков, или делает идеальный проход по полю и бежит назад, к центральному кругу, а толпа неистовствует, — он *хмурится.* Он выглядит ужасно серьезным, как мальчик, который старается казаться очень взрослым, будто это единственный способ сдержаться и не пройтись колесом, не бить себя в грудь, вопя от восторга. Мне нравится то, как он хмурится, когда сделает что-то действительно выдающееся.)

Но вернемся к Бобби Муру и тому славному июньскому дню финала Кубка мира 1966 года. Даже Салли, которая никогда не была большой поклонницей футбола, передалось общее возбуждение, и она, уложив Джейн в кроватку, села смотреть телевизор со мной и Адамом, который был еще слишком мал, но все равно интуитивно чувствовал, что происходит нечто важное, поэтому безропотно сидел, держа большой палец во рту и прижавшись щекой к своему пледу, все время глядя на меня, а не на экран. Это был наш первый цветной телевизор. Англичане выступали в красных, цвета клубничного джема футболках вместо обычных белых. Мы с немцами, наверное, бросили жребий, кому играть в белом, и проиграли, но с тех пор

нам следовало бы держаться красного, похоже, он приносит удачу. Нам просто повезло, что наш третий гол засчитали, и именно поэтому четвертый мяч был встречен таким безумным ликованием. Когда он оказался в сетке, из открытых окон донеслось ликование соседей, а когда матч закончился, все высыпали на улицу, радостно галдя и возбужденно обмениваясь впечатлениями с людьми, с которыми раньше едва здоровались.

Это было время надежд, время, когда можно было считать себя патриотом, не боясь, что тебя заклеймят приспешником тори. Позор Суэца остался в прошлом, и теперь на глазах всего мира мы одерживали победы, понятные и близкие простым людям, — в спорте, поп- музыке, моде и телевидении. Британию олицетворяли «Битлз», мини-юбки, «Ну и неделька была»

[16] [broken link: #_ftn16] и победоносная английская команда. Интересно, смотрела ли королева сегодня вечером телевизор и что она чувствовала, видя себя, вручающую Кубок мира Бобби Муру. Думаю, укол ностальгии.«Вот было время, да, Филип?» Время, когда она просыпалась утром, уверенная, что не увидит в газетах подробностей о сексуальных выходках

членов своего семейства: Дианагейт, Камилла-гейт, пленки Скуиджи[17] [broken link: #_ftn17], фантазии Чарлза с тампонами, Ферджи, сосущую палец ноги. ПНП Монархии. Я никогда не был большим поклонником королевской семьи, но нельзя не посочувствовать бедной старой королеве.

В связи с этим я вспомнил странное происшествие, которое случилось сегодня утром по пути в Лондон и взбудоражило меня. Ожидая поезда на станции «Раммидж Экспо», я заметил дальше на платформе Низара. Только я хотел подойти поздороваться, подбирая подходящую улыбку, как увидел, что он не один, а с молодой женщиной. По возрасту она годилась ему в дочери, и я знал, что это не жена, так как ее фотографию в серебряной рамке видел у него на письменном столе — пухлая, устрашающего вида матрона в платье в цветочек, в окружении троих детей, она ничем не напоминала эту высокую стройную молодую женщину с блестящими черными волосами до плеч, в изящном черном шерстяном пальто. Низар стоял к ней очень близко, что-то оживленно рассказывая, его пальцы хирурга порхали по воротнику ее пальто, он поправлял ей

волосы и отряхивал рукава жестом собственника и в то же время почтительно, словно костюмер звезды. Я заметил их в тот момент, когда Низар что-то шептал женщине на ухо, а она, склонив к нему голову (он был намного ниже ее ростом) с самодовольной улыбкой слушала. И вдруг посмотрела в мою сторону. К счастью, она меня не знала. Я успел развернуться и скрыться в зале ожидания, где и остался сидеть, пряча лицо за «Гардиан», пока не пришел поезд.

Просто какое-то поветрие супружеской неверности: Джейк, Джин Веллингтон, королевская семья, а теперь вот и Низар. Интересно, почему я испытываю неловкость, даже чувство вины, застав Низара врасплох с его красоткой? Почему я убежал? Почему я спрятался? Просто не понимаю.

Мы с Салли не занимались любовью с прошлого четверга. Я ложился в постель позже ее, или жаловался на несварение или на якобы начинающуюся простуду и т. д., лишь бы воспрепятствовать этому мероприятию. Я боюсь, что снова не смогу кончить. Наверное, стоит попробовать мастурбацию, чтобы убедиться, что со стороны механики никаких неполадок нет.

Четверг, утро, 25 фев. Написав последний

фрагмент, я разделся, лег на кровать с полотенцем под рукой и предпринял попытку мастурбации. Давно я уже этим не занимался, тридцать пять лет, если быть точным, и растерял все навыки. В шкафчике в ванной комнате я не нашел вазелина, и на кухне, как на грех, закончилось оливковое масло, поэтому я смазал член «Салатной заправкой Пола Ньюмена», что оказалось ошибкой. Во- первых, она была жутко холодная, из холодильника, и поначалу произвела скорее сдерживающий, чем стимулирующий эффект, во-вторых, уксус с лимонным соком жгли невыносимо, а в-третьих, когда травы нагрелись от трения, я начал благоухать, как polio alia cacciatora

[18] [broken link: #_ftn18] у «Габриэлли». Но основная проблема состояла в том, что я не мог вызвать подходящих мыслей. Вместо эротических образов я продолжал думать о Бобби Муре, который победно держит над головой кубок Джулза Римета, или о Тиме Роте, когда он лежит в луже крови в «Бешеных псах», а по его рубашке спереди расползается красное пятно, и начинает казаться, будто он одет в форму английской команды.

Я надумал позвонить в «секс по телефону», о

котором столько слышал в последнее время, — но где взять номер? От «Желтых страниц» проку мало, и справочная вряд ли поможет. Тогда я вспомнил, что в газетнице лежала какая-то старая газета рекламных объявлений, и точно — в конце ее я нашел колонку с предложениями секса по телефону. Я выбрал номер, который обещал «*Быстрое мгновенное сексуальное облегчение, крепкий неприличный разговор о сексе*» с примечанием, что «*теперь в соответствии с новыми правилами ЕЭС мы предоставляем вам услуги европейского качества*». Минут десять я слушал девушку, которая описывала процесс очищения и глотания банана, сопровождая это бесчисленными вздохами и стонами, соображая, не об аграрных ли правилах ЕЭС шла речь. Полная лажа, как и на двух других линиях, куда я позвонил.

Мне пришло в голову, что я нахожусь всего в нескольких минутах ходьбы от самого крупного скопления магазинов порнографической литературы в стране, и хотя сейчас уже далеко за полночь, какие-нибудь из них все еще могут быть открыты. Столько хлопот — снова одеваться и выходить на улицу, но я был полон решимости довести свой эксперимент до конца. Потом,

когда я уже стоял в дверях, мне пришло в голову проверить по монитору крыльцо — ну и конечно, мой захватчик, которого я видел на прошлой неделе, лежал там, уютно свернувшись в своем спальном мешке. Я узнал его острый нос, подбородок, торчавший над краем мешка, и прядь волос, упавшую на глаза. Я таращился на эту картинку, пока камера автоматически не выключилась и передо мной на сером стекле экрана не появилось мое собственное отражение. Я представил, как спускаюсь вниз и открываю входную дверь. Придется или разбудить его и устроить скандал, или переступить через него, словно он пустое место, — и не один раз, а дважды, поскольку довольно скоро я вернусь с пачкой журналов «с девочками» под мышкой. Ни один из этих вариантов меня не прельщал. Я снова разделся и вернулся в постель, жестоко страдая от Низкой Сопротивляемости Разочарованию. Получалось, что этот бродяга держал меня узником морали в собственном доме.

В конце концов мне удалось достичь выброса спермы путем чисто физического усилия, теперь я знаю, что снаряжение в основном в порядке, но член очень болит, да и локтевому суставу от этого лучше не стало.

Четверг, днем. Сижу в зале ожидания для пассажиров первого класса на Юстонском вокзале и жду поезда в 5.10. Хотел успеть на 4.40, но опоздал. Контролер видел, как я бегу по пандусу, и ровно в 4 39, когда мне оставалось десять ярдов, перекрыл вход. Весь вокзал обклеен объявлениями, в которых говорится, что доступ на платформы закрывают ровно за одну минуту до указанного времени отправления поезда *«в интересах соблюдения расписания движения и безопасности пассажиров»*, но он спокойно мог впустить меня, без всякого риска. Багажа у меня не было, за исключением «дипломата» с ноутбуком. Последний вагон поезда находился от меня в каких-то двадцати ярдах, около него в непринужденной позе стоял кондуктор и поглядывал на пустынную платформу в ожидании сигнала к отправлению. Я стал горячо доказывать, что легко могу успеть, но парень у барьера, упрямый и непреклонный маленький азиат, меня не пропустил. Я попытался оттолкнуть его, но он в ответ оттолкнул меня. С минуту мы фактически боролись, пока поезд наконец не тронулся, а я, круто развернувшись, в ярости зашагал назад по пандусу, бормоча пустые угрозы, что буду жаловаться. У него

больше оснований для жалобы, чем у меня, и он действительно мог бы привлечь меня за нападение.

Меня до сих пор слегка трясет после выброса адреналина, и, по-моему, во время этой борьбы я потянул какую-то маленькую мышцу в спине. И правда, ужасно глупое поведение, если вдуматься, — я и вдумался.

Я представил, как Низкая Сопротивляемость Разочарованию
уступает место Низкой Самооценке, и новая волна отчаяния надвигается, чтобы затянуть душу Пассмора низкой тучей, из которой периодически сыплет дождь. Совершенно ни к чему. В конце концов до следующего поезда всего полчаса, а зал ожидания для пассажиров первого класса — весьма цивилизованное место. Похож на публичный дом, во всяком случае по моим представлениям, но без секса. Вы поднимаетесь по лестнице, ведущей к ресторану с официантами и суперсортиру; на полпути к последнему находится скромно-неприметная дверь с кнопкой звонка и решеточкой переговорного устройства. Когда вы нажимаете кнопку, женский голос спрашивает, первого ли класса у вас билет, если вы говорите «да», дверь с щелчком и жужжанием

открывается, и вы входите. Красивая девушка за стойкой с улыбкой предлагает вам бесплатный кофе или чай, пока вы показываете ей билет и расписываетесь в книге посетителей. Внутри спокойно и тихо, работает кондиционер, кругом ковры, удобные кресла и банкетки с обивкой успокаивающих серо-голубых тонов. К вашим услугам газеты, телефоны и ксерокс. Там внизу простой народ в ожидании поездов сидит на своих чемоданах или на полу (поскольку в огромном мраморном зале никаких сидений нет) или же коротает время в одном из заведений быстрого питания — «Аппер краст», «Кейси Джонс», «Хот круассан», «Пицца хат» и т. п., которые сбились в Кучу в углу, — настоящий парк аттракционов мусорной еды.

Я так увлекся этим описанием, что пропустил и 5.10. Точнее, я обнаружил, что до отправления осталось всего две минуты, и одна мысль о необходимости бежать по пандусу к тому же самому контролеру и снова наткнуться на закрытый перед самым носом проход показалась мне нестерпимой, как некое кошмарное повторение свежей травмы. Поэтому я вполне могу, дожидаясь 5.40, записать, чего я вообще так завелся.

По дороге на Юстонский вокзал я заехал в контору Джейка. Это всего несколько комнат на Карнаби-стрит над невзрачным магазинчиком, торгующим футболками и сувенирами. В крохотной приемной на втором этаже сидела новая девушка, высокая и стройная, в очень обтягивающем, очень коротком черном платье, едва прикрывающем попку. Представилась она как Линда. Когда Линда, проводив меня до кабинета Джейка, закрыла дверь, тот сказал:

— Я знаю, о чем ты думаешь, но нет, это не она. — И добавил со своей развязной мальчишеской улыбочкой: — Но не буду зарекаться, что в один прекрасный день она ею не станет. Ты видел, какие у нее ноги?

— Трудно было этого не заметить, не так ли? — отозвался я. — Учитывая размеры твоего офиса и длину ее юбки.

Джейк рассмеялся.

— Какие новости от «Хартленда»? — спросил я. Он перестал смеяться.

—

Пузан, — серьезно начал Джейк, наклонившись вперед в своем вращающемся кресле, — тебе придется найти приемлемый способ убрать Присциллу из сериала. Приемлемый для всех,

я имею в виду. Я знаю, что ты сможешь, если захочешь.

— А если не смогу? — спросил я. Джейк развел руками.

— Тогда они найдут для этого кого-нибудь другого.

Я ощутил слабый, предостерегающий укол страха.

— Но ведь без моего согласия они не могут так поступить?

— Боюсь, могут, — ответил Джейк, поворачивая кресло, чтобы открыть ящик стола, и избегая при этом моего взгляда. — Я посмотрел в первоначальном контракте. — Он достал из ящика папку и передал ее мне: — Пункт четырнадцатый.

Контракт на первый блок серий был составлен давно, когда я был безвестным сценаристом, не имевшим особого веса. Пункт четырнадцатый гласил, что если меня попросят написать дальнейшие блоки, основываясь на тех же персонажах, а я откажусь, они имеют право нанять для этого других сценаристов, платя мне символические отчисления за оригинальную концепцию. Не помню, чтобы в то время я всерьез задумался над этим пунктом, но не удивляюсь,

что согласился на него. Еще несколько блоков программы были тогда пределом моих мечтаний, и мысль о том, что я могу не захотеть писать их, показалась бы мне абсурдной. Но в пункте говорилось не о втором блоке, а вообще о «блоках», в неопределенном количестве. Фактически я отказывался от авторского права на сюжет и персонажей. Я упрекнул Джейка в том, что он не разглядел опасности и не изменил этот пункт в последующих контрактах. Он сказал, что, по его мнению, «Хартленд» на это все равно бы не пошел. Я не согласился. Думаю, мы могли бы выкрутить им руки между вторым и третьим блоком, они так жаждали сотрудничества. И даже сейчас я не верю, что они отдадут всю программу другому сценаристу или сценаристам. Это мое дитя. Это я. Никто другой не справится с этой работой лучше меня.

Или справится?

Опасный ход мысли, чреватый потерей самоуважения. В любом случае мне лучше остановиться, а то я пропущу и 5.40.

Пятница, 26 фев., 8 вечера. Сегодня утром позвонил Джейк и сказал, что получил от Олли Силвера послание, которое *«лишь резюмирует, во избежание любых недоразумений, основные*

пункты нашей с Пузаном беседы в прошедшее воскресенье». Это письмо приводит в действие четырнадцатый пункт, что означает — у меня двенадцать недель, чтобы решиться, вывести Присциллу из сценария самому или позволить сделать это кому-то другому.

Ароматерапия сегодня днем с Дадли. Дадли Нейл-Хатчинсон, если полностью. Он немного смахивает на хиппи Литтона Стрэчи — высокий, тщедушный, с длинной густой курчавой бородой, которая словно приросла к его большим круглым очкам в стальной оправе. Он носит джинсы, парусиновые туфли на толстой каучуковой подошве, рубашки с набивным этническим рисунком и жилеты из оксфамовских магазинов. Бороду он засовывает в вырез жилета, чтобы не щекотала пациентов во время массажа. Принимает он у себя — квартира с тремя спальнями в современном коттедже на две семьи, рядом — аэропорт. Окна с тройными стеклами для защита от шума взлетающих и садящихся самолетов. Иногда, лежа ничком на массажном столе, чувствуешь, как над тобой проплывает тень, и если успеешь быстро поднять глаза, то увидишь огромный самолет, беззвучно скользящий над крышами так близко, что

можно разглядеть белые лица пассажиров в иллюминаторах. Поначалу это очень пугает. Два утра в неделю Дадли принимает в Клинике здоровья, но я предпочитаю приезжать к нему домой, не хочу, чтобы мисс Ву узнала, что я прибегаю и к акупунктуре, и к ароматерапии. Она столь чувствительна, что может посчитать это проявлением недоверия к ее способностям. Я так и представляю себе, как сталкиваюсь с ней в дверях, выходя после сеанса от Дадли, и вижу обиженный взгляд ее темно-карих глаз, полный невысказанного упрека. Мисс Ву не знает и про Александру. Александра знает о мисс Ву, но не знает о Дадли. Я не сказал ей не потому, что она могла бы воспринять это как угрозу себе, скорее, она разочаровалась бы во мне. Она уважает иглоукалывание, но не думаю, чтобы это распространялось и на ароматерапию.

Вывела меня на нее Джун Мейфилд. Она работает в «Хартленде» гримером и во время записей «Соседей» сидит за кулисами, готовая в случае необходимости метнуться на площадку и подправить прическу Дебби или попудрить носы актерам, если они начнут у них блестеть в свете ламп. Как-то раз я болтал с ней в столовой, и она сказала, что ароматерапия изменила ее жизнь,

излечив от мигреней, которые годами отравляли ей существование. Она дала мне визитку Дадли, и я решил попробовать. Я как раз оставил йогу из-за Патологии Неизвестного Происхождения, поэтому в моем терапевтическом расписании образовалось окно. Раз в Две недели я ходил к мисс Флинн, семидесятипятилетней даме с необыкновенно подвижными суставами, которая обучает пранаяма-йоге. Тут не надо стоять часами на голове или завязываться в узлы, которые можно развязать только в отделении «скорой помощи». В основном она занимается дыханием и расслаблением, но позу лотоса или хотя бы полулотоса выполнять полагалось, чего, по мнению мисс Флинн, мне, пока болит колено, делать не стоило, поэтому я это бросил. Честно говоря, я все равно не слишком преуспевал в йоге. Мне так и не удалось уловить ту «ускользающую секунду», которая является едва ли не главной частью занятий, когда вы должны очистить свой мозг и вообще ни о чем не думать. Мисс Флинн пыталась научить меня мысленной процедуре, с помощью которой вы очищаете свой мозг сначала от мыслей о работе, затем от мыслей о семье и друзьях, затем от мыслей о себе. Дальше первой ступени я так никогда и не продвинулся.

Как только я произносил про себя слово «работа», в голове у меня начинали крутиться мысли о поправках к сценарию, проблемах с подбором актеров и количестве зрителей. Я начал дергаться по поводу работы, чего раньше у меня никогда не было.

С ароматерапией легче. Вы просто лежите, и вас массируют с так называемыми эфирными маслами. Стоящая за этим теория проста — возможно, даже слишком проста. Дадли разъяснил ее мне во время нашего первого сеанса.

—

Если вы ушиблись, какова ваша инстинктивная реакция? Вы трете ушибленное место, верно?

Я спросил, как потереть мозги.

Он ответил:

— А вот тут-то и вступают эфирные масла.

Ароматерапевты считают, что, проникая через кожу, масла попадают в кровоток и таким образом воздействуют на мозг. А также, что вдыхание определенных ароматов оказывает стимулирующее или успокаивающее действие на нервную систему, в зависимости от того, какое масло вы используете. В ароматерапии есть возбуждающие и успокаивающие средства,

свои «высокие ноты» и «басы», как они их называют. По словам Дадли, это очень древняя форма медицины, ее применяли в Китае и Египте тысячелетия назад. Но, как и все остальное, сегодня она компьютеризирована. Придя к Дадли, я перечисляю свои симптомы, он вносит их в лично им разработанную программу для ароматерапии, которая называется «ФУ» (допустим, я это придумал, название файла «АТП»), нажимает на клавишу, и компьютер выдает список рекомендуемых масел — можжевельник, жасмин, мята, да все что угодно. Затем Дадли дает мне их понюхать и составляет смесь из тех, что понравились мне больше всего, используя в качестве «масла-носителя» растительное масло.

Дадли, в отличие от мисс Ву, я могу сказать о сексе, поэтому, когда он спросил меня о самочувствии с нашей прошлой встречи, я упомянул о проблеме с эякуляцией. Он сказал, что способность осуществлять половой акт без эякуляции высоко ценилась восточными мистиками. Я ответил — да на здоровье. Дадли несколько секунд постучал немного по клавишам компьютера и предложил мне бергамот, иланг-иланг и розовое масло.

— Разве в прошлый раз ты не давал мне розу от депрессии? — с ноткой подозрения в голосе спросил я.

— Это очень многофункциональное масло, — вежливо ответил Дадли. — Его применяют как при депрессии, так и при импотенции и фригидности. При скорби и менопаузе.

Я спросил, входит ли сюда менопауза у мужчин, и он засмеялся, но ничего не ответил.

Суббота, 27 фев. Что ж, помогло до известной степени. Вчера вечером мы занимались любовью, и я кончил. Не думаю, что и Салли кончила, но она и так была не настроена и, казалось, удивилась, когда я предложил ей заняться сексом. Не буду утверждать, что у меня земля закачалась под ногами, но эякуляция по крайней мере была. Значит, испытанное розовое масло не подвело в том, что касается импотенции. Но не в отношении депрессии, скорби и мужской менопаузы. Я проснулся в 3.05 — мысли в мозгу вращались, как бетон в бетономешалке, и тревоги походили на острую щебенку в общей серой массе Страха. Оставшиеся несколько часов я провел в полудреме, то словно куда-то проваливаясь, то снова пробуждаясь с ускользающим ощущением, что мне снился сон

и я не в состоянии его вспомнить. Мои сны, как серебристые рыбки: я ловлю их за хвост, но они выскальзывают из рук и, извиваясь, уходят в темную глубину. Я просыпаюсь, хватая ртом воздух, с колотящимся сердцем, как поднявшийся на поверхность ныряльщик. В конце концов я проглотил снотворное и погрузился в тяжелый сон без сновидений, от которого очнулся в пустой постели в девять тридцать, мрачный, с пересохшим ртом.

Салли оставила записку, что уехала в Сенсбери. У меня тоже оставались кое-какие дела, и я отправился на Хай-стрит. Стоя в очереди на почте и мучась нетерпением, я вдруг услышал у своего плеча женский голос:

— Совсем невмоготу?

Я обернулся, думая, что она обращается ко мне, но это мать разговаривала с маленьким мальчиком.

— Может, подождешь до дома? — спросила она. Малыш с несчастным видом покачал головой и свел коленки.

Позднее. А мне давно уже все невмоготу настолько, что я даже снова заглянул в старика Кьеркегора, и на этот раз мне повезло больше. Я пролистал «Или — или», потому что меня

заинтриговало название. Два толстенных тома, очень беспорядочно написанные, жуткая мешанина из эссе, рассказов, писем и т. п. от лица двух вымышленных персонажей, А. и Б., изданная третьим, по имени Виктор Эремит, — видимо, все это псевдонимы Кьеркегора. Мое внимание особенно привлек короткий фрагмент в первом томе, который назывался «Самый несчастный человек». Читая его, я испытывал то же самое, что и в тот раз, когда впервые увидел названия книг Кьеркегора: он говорит именно обо мне.

Согласно К., несчастный человек «всегда для себя отсутствует, его никогда для себя нет». Моей первой реакцией было: нет, неправда, Сёрен, старина, — я никогда не перестаю думать о себе, вот в чем беда. Но потом я подумал, что думать о себе — не то же, что присутствовать для себя. Салли для себя присутствует, потому что она воспринимает себя как нечто само собой разумеющееся, она никогда в себе не сомневается, во всяком случае недолго. Она *совпадает* с собой. Тогда как я похож на персонаж дешевых комиксов, тех, где цвет не всегда совпадает с контуром рисунка: между ними получается разрыв или наложение, некая размытость. Это и есть я: Несчастный Ник с торчащим синим

подбородком, который не совсем совпадает со своим контуром.

Кьеркегор объясняет, что несчастного человека никогда нет для себя потому, что он всегда живет в прошлом или в будущем. Он всегда или надеется, или вспоминает. Или думает, что дела шли лучше в прошлом, или надеется, что они пойдут лучше в будущем, но *сейчас* они всегда плохи. Это простая, заурядная несчастность. Но несчастный человек «в более строгом смысле» не присутствует для себя даже в своих воспоминаниях и надеждах. Кьеркегор приводит в пример человека, который с тоской оглядывается на радости детства, которых на самом деле не испытал (возможно, он имел в виду себя). Точно так же «несчастный надеющийся» никогда не присутствует для себя в своих надеждах по причинам, которые были мне неясны, пока я не дошел до следующего места: «Несчастные индивидуумы, которые надеются, никогда не испытывают такой же боли, как те, которые помнят. Надеющиеся индивидуумы всегда испытывают разочарование, доставляющее им большее удовольствие».

Я точно знаю, что он подразумевает под «разочарованием, доставляющим большее

удовольствие».
Например, я волнуюсь, какое принять решение, потому что пытаюсь защититься от дурного оборота дел. Я *надеюсь*, что все будет хорошо, но, если действительно все складывается хорошо, я этого почти не замечаю, потому что сделал себя несчастным, воображая, как все будет плохо; а если дело оборачивается плохо по каким-то непредвиденным причинам (как, например, четырнадцатый пункт в контракте с «Хартлендом»), это только подтверждает мое внутреннее убеждение, что худшие несчастья — неожиданны. Если вы несчастный надеющийся, вы на самом деле не верите, что в будущем дела пойдут лучше (потому что если поверите, то перестанете быть несчастным). Что означает — когда они не идут лучше, это доказывает, что вы все время были правы. Вот поэтому ваше разочарование и доставляет вам большее удовольствие. Классно, да?

Меня также преследует чувство, что в прошлом все было лучше: когда-то я, видимо, был счастлив, иначе откуда бы я знал, что несчастен сейчас, но где-то по пути я это ощущение потерял, растранжирил, позволил ему уйти, хотя живет оно во мне лишь в мимолетных воспоминаниях,

таких, как финальный матч Кубка мира 1966 года. Возможно, однако, я обманываю себя и на самом деле я всегда был несчастен, потому что всегда был несчастным надеющимся. Что парадоксальным образом делает меня и несчастным вспоминающим.

Как можно одновременно быть и тем и другим? Да запросто! Это сочетание и определяет самого несчастного человека:

Вот что это означает: с одной стороны, он постоянно надеется на что-то, что он должен помнить… С другой стороны, он постоянно вспоминает о чем-то, на что должен надеяться… Следовательно, то, на что он надеется, лежит в прошлом, а то, что он вспоминает, лежит в будущем… Он постоянно очень близок к цели и в то же время находится от нее на расстоянии; сейчас он постигает то, что делает его несчастным, потому что сейчас у него это есть, или, исходя из его натуры, это именно то, что несколько лет назад сделало бы его счастливым, если бы он тогда это имел, таким образом, тогда он был несчастлив, потому что у него этого не было.

О да, этот парень меня раскусил. Самый несчастный человек. Почему тогда я так широко

улыбаюсь, читая эти строки?

Воскресенье, днем, 28 фев. Я не поехал сегодня на студию. Решил показать «Хартленду», что я возмущен тем, как они со мной обращаются. Салли одобрила. Рано утром я оставил сообщение на офисном автоответчике, что не приеду. Причину не указал, но Олли и Хэл догадаются. Последний раз я пропустил запись в апреле прошлого года, когда у меня разболелся желудок. Стоит ли говорить, что себя я наказываю больше, чем их. Хэл будет слишком занят, чтобы задуматься о моем отсутствии, а Олли вообще не из тех, кто задумывается. Таким образом, день в размышлениях провожу я. Он тянется мучительно медленно. Я все время смотрю на часы и прикидываю, что сейчас делается на репетиции. Сейчас пять минут пятого и уже темно. Снаружи очень холодно, тонким слоем лежит снег. В газетах пишут, что в других районах страны ожидаются метели. Шикарные воскресные газеты полны эмоций и показного отчаяния. Страна словно переживает какой-то непомерный кризис уверенности, ПНП Национального Духа. Согласно опросу, проведенному институтом Гэллапа и опубликованному на прошлой неделе, восемьдесят процентов электората не

удовлетворено деятельностью правительства. Согласно другому опросу, более сорока процентов молодежи считает, что в следующем десятилетии Британия станет еще более непригодной для жизни страной. Что, видимо, означает: они думают, что лейбористы проиграют следующие выборы, а если и выиграют, то это ничего не изменит. Мы превратились в нацию несчастных надеющихся.

И несчастных вспоминающих: судя по всему, не я один почувствовал, что смерть Бобби Мура напомнила всем о глубине нашего падения. В газетах полно ностальгических статей о нем и о Кубке мира 1966 года. На этой неделе мы третий раз подряд проиграли крикетный турнир команде Индии, что тоже не способствовало подъему национального духа. *Индии!* Когда я был мальчиком, крикетные матчи с Индией всегда воспринимались как ужасающе скучная перспектива, потому что неизменно оборачивались для Англии легкой победой.

Половина пятого. Репетиция к этому времени уже заканчивается, и актеры, прежде чем направиться в гримерную, торопливо едят в столовой. Рон Дикин всегда берет колбасу, яйцо и чипсы. Он клянется, что дома вообще

не ест жареного, но колбаса, яйцо и чипсы соответствуют характеру папаши Дэвиса. В этом отношении он очень суеверен — однажды, когда на кухне кончилась колбаса, он впал в настоящую панику. Интересно, выбьет ли его из колеи мое сегодняшнее отсутствие? Актерам нравится, что я приезжаю на запись, их это вдохновляет. Боюсь, отсиживаясь дома, я наказываю не только себя, но и их.

Чем больше я об этом думаю, а я не могу думать ни о чем другом, тем хуже себя чувствую. Я изо всех сил сопротивляюсь мысли, что принял неверное решение, но меня неотвратимо влечет к такому выводу, словно засасывает в черную дыру. Короче говоря, я чувствую, как погружаюсь в одно из своих «состояний». Состояние, c'est moi

[19] [broken link: #_ftn19], как сказала бы Эми. И как я переживу остаток вечера? Я пристально смотрю на клавишу с надписью «HELP» на своей клавиатуре. Если бы она могла помочь.

Понедельник, утро, 1 марта. Вчера вечером, около 6.45, как раз когда Салли накрывала на стол к ужину, мои нервы не выдержали. Я выскочил из дома, на ходу прокричав Салли какое-то объяснение и не оставив ей времени обозвать меня дураком, задом вывел свой «супермобиль»

из гаража, машина пошла юзом, ее бросало из стороны в сторону — я чуть не помял правое крыло о ворота, — и помчался на безумной скорости в Раммидж, куда прибыл как раз вовремя, чтобы еще успеть занять свое место в зале перед началом съемок.

Они прошли блестяще. Чудесная аудитория — тонкая и благодарная одновременно. Да и сценарий был неплох, без ложной скромности. Сюжет серии такой: Спрингфилды решают выставить свой дом на продажу, чтобы переехать подальше от Дэвисов, но Дэвисам об этом не говорят, потому что чувствуют неловкость, а Дэвисы невольно срывают их план, то заявляясь к ним, то совершая какие-то немыслимые поступки каждый раз, когда Спрингфилды показывают потенциальным покупателям дом. Зрителям все это очень понравилось. Думаю, многие из них сами хотели бы переехать, но не могут, потому что у них отрицательное право выкупа. Отрицательное право выкупа — это когда ваша закладная превышает стоимость дома. Об этом много пишут и говорят. Что-то вроде Патологии Рынка Недвижимости. Когда нечто подобное случается с вами, вам не до смеха, но если это случилось с Эдвардом и Присциллой, у вас есть

шанс увидеть и смешную сторону ситуации. Иначе говоря, наблюдая за переживаниями и неудачами героев, вы сможете к собственной отрицательной закладной отнестись легче, тем более что в конце серии Спрингфилды смиряются с перспективой остаться на старом месте. Я часто ощущаю, что ситком оказывает на общество своеобразный терапевтический эффект.

Актеры чувствовали положительные флюиды, идущие от зрителей, и работали первоклассно. Пересъемок практически не было. Мы закончили в восемь тридцать. После записи все улыбались.

— Здравствуй, Пузан, — сказал Рон Дикин, — сегодня на репетиции нам тебя не хватало.

Я промямлил что-то насчет каких-то сложностей. Хэл недоуменно на меня посмотрел, но ничего не сказал. Изабел, ассистент режиссера, заметила, что я немного потерял — репетиция шла трудно, то и дело прерывалась, актеры ошибались.

— Но это всегда так, — закончила она. — Если репетиция идет как по маслу, можно не сомневаться, что запись превратится в кошмар. — (Изабел — несчастный надеющийся.) Олли не было: он позвонил и сказал, что дороги в его части света слишком скользкие. Несколько

актеров из-за непогоды решили переночевать в Раммидже, поэтому мы все вместе пошли в бар. Народ расслаблялся с чувством хорошо выполненного долга, атмосфера дружеская, все шутили и ставили выпивку. Я испытывал к ним огромный прилив любви. Мы словно большая семья, а я в каком-то смысле ее глава. Без моих сценариев они никогда не встретились бы.

Уложив юного Марка спать в ближайшей гостинице, Саманта Хэнди пришла в бар, когда я уже уходил. Она мило мне улыбнулась, поэтому я тоже улыбнулся в ответ, довольный, что она, видимо, не затаила на меня обиды после нашего разговора недельной давности.

— О, вы уже уходите? — спросила она. — Хотите расстроить компанию?

— Вынужден, — ответил я. — Как ваш сценарий?

— Я собираюсь обсудить свою идею с агентом, — сказала она. — На следующей неделе у меня встреча с Джейком Эндикоттом. Он ведь *ваш* агент, да? Я упомянула, что знакома с вами, надеюсь, вы не против?

— Нет, конечно нет, — ответил я, подумав про себя: *«Наглая сучка!»* — Только поосторожней там с одеждой, — предостерег я.

Она как будто встревожилась:

— А что? У него пунктик насчет одежды?

— У него пунктик насчет красивых молодых женщин, — ответил я. — Я бы посоветовал прекрасный, длинный, бесформенный мешок для мусора.

Она засмеялась. Что ж, я ее предупредил. Джейк обезумеет, когда увидит эти сиськи. Лицо у нее тоже симпатичное, круглое, веснушчатое, с намеком на двойной подбородок, который как бы предваряет роскошные выпуклости, распирающие ее блузку. Она последовала моему совету и спросила Олли, нельзя ли ей почитать какие-нибудь сценарии, и он, по-видимому, дал ей на рецензию целую кипу. За этой молодой особой глаз да глаз нужен — во всех смыслах.

Домой по обледеневшей, пустынной дороге я ехал медленно и осторожно. Салли уже спала, когда я вернулся. Что-то в ее позе — как она лежала на спине, в складке ее губ — говорило: спать она легла, недовольная мной. Из-за того, что я нарушил свое решение не ездить на запись, или из-за моего стремительного бегства из дома, когда она как раз накрывала к ужину, или за езду по опасной дороге, или за все вместе, трудно сказать. Утром я узнал, что причина была совсем в другом.

Очевидно, вчера, после того как я сказал ей, что не поеду, как обычно, в студию, она пригласила соседей на вечерний коктейль. Она утверждает, что предупредила меня, думаю, что так оно и было, хотя совершенно этого не помню. Тревожный факт. Ей пришлось снова звонить Уэбстерам и отменять приглашение. Что и говорить, ситуация неловкая. Они — зомби, голосующие за тори, но каждый год в сочельник приглашают нас на вечеринку с коктейлями, а мы никогда не приглашали их в ответ. (В тех редких случаях, когда я устраиваю прием, я часами корплю над списком гостей, мучась с выбором и пытаясь собрать интересных и подходящих друг другу собеседников. Уэбстеры в качестве кандидатов на эти сборища даже не рассматриваются, что, разумеется, не избавляет меня от тревоги, которая по мере приближения даты приема возрастает до степени истерики, что, в свою очередь, вынуждает меня как можно скорее забыться с помощью выпивки, едва прием начинается.) Поэтому вчерашний вечер мог бы немножко уравнять счет. Теперь придется пригласить их на ужин, чтобы загладить неловкость, так говорит Салли. Надеюсь, это пустая угроза. В любом случае я в опале. Вся эйфория от вчерашнего вечера

улетучилась. Сегодня утром меня мучает колено, и я определенно потянул спину.

Понедельник, днем. Только что вернулся с физиотерапии. Я сказал Роланду про мышцу спины, но не уточнил, что потянул ее во время схватки с пакистанцем — билетным контролером в легчайшем весе. Роланд решил, что это очередная теннисная травма. На прошлой неделе я в теннис не играл, отчасти из-за погоды, отчасти из-за того, что после рассказа Руперта про Джо и Джин не хотел встречаться со своими постоянными партнерами. Роланд сделал мне классический массаж спины и ультразвук на колено. Когда он учился, главным в физиотерапии и был массаж, тут он настоящий мастер. Роланд любит свое дело, его руки — это его глаза, он по-своему чувствует самую суть вашей боли и мягко, но неуклонно эту боль устраняет. Дадли ему в подметки не годится.

Сегодня утром жена прочитала Роланду заметку из газеты — про новые записи телефонных разговоров Дианы, опубликованные в Австралии. Я сказал, что с трудом верится, будто эти разговоры были подслушаны случайно. Роланд так не считает. Оказывается, по ночам он слушает переговоры полиции на очень высоких частотах

по своему портативному «Сони».

— Иногда я слушаю их часами, — сказал он. — Через наушники, лежа в постели. Прошлой ночью была облава на наркоманов в Эйнджелсайде. Производит впечатление.

Значит, Роланд тоже страдает от бессонницы. Должно быть, самое ужасное — это лежать слепому ночью без сна: тьма во тьме.

Депрессия тяжела не только сама по себе, дело в том, что ты знаешь — в мире есть множество людей, у которых гораздо больше причин пребывать в депрессии, чем у тебя, но эта мысль не только не излечивает от депрессии, а дает лишний повод презирать себя еще больше и, таким образом, погружаться в еще большую депрессию. Самая чистая форма депрессии — когда ты не можешь привести абсолютно никаких объяснений, почему ты в депрессии. Как говорит в «Или — или» Б., «человек, подавленный горем или заботами, знает, чем он огорчен или озабочен, но спросите меланхолика, что гнетет его, и он ответит: «И сам не знаю, не могу объяснить». В этой-то необъяснимости и лежит бесконечность меланхолии»

[20] [broken link: #_ftn20].

Я

начинаю ориентироваться в этой своеобразной книге. Первую часть составляют сочинения А. - афоризмы, эссе (например, «Самый несчастный человек») и дневник под названием «Дневник обольстителя», который якобы опубликован А., но написан неким Йоханнесом. А. - молодой бездельник-интеллектуал,
который страдает от депрессии, только он называет ее меланхолией и возводит ее в культ. В «Дневнике» Йоханнес описывает, как он соблазняет красивую невинную девушку, по имени Корделия, исключительно ради того, чтобы убедиться в своей неотразимости, а когда добивается успеха, бессердечно отталкивает ее:

Но теперь все кончено, и я не желаю более видеть ее… Теперь сопротивление перестало быть возможным… а лишь пока существует оно, и прекрасно любить. Как только оно прекращается, остается одна слабость и привычка.

Неясно, то ли А. просто нашел «Дневник обольстителя», то ли он сам его сочинил, или это его подлинная исповедь. В любом случае увлекательное чтение, хотя в нем нет никакого секса — в смысле описания самих актов. Зато здесь много написано о сексуальных чувствах. Вот, например:

Сегодня взор мой в первый раз остановился на ней. Говорят, что Морфей давит своей тяжестью на веки и они смежаются, — мой взор произвел на нее такое же действие. Глаза ее закрылись, но в душе поднялись и зашевелились смутные чувства и желания. Она более не видела моего взгляда, но чувствовала его всем своим существом. Глаза смыкаются, кругом настает ночь, а внутри нее — светлый день!

Возможно, именно так Джейк приманивает девиц.

Вторая часть «Или — или» состоит из нескольких длиннейших писем от Б. к А, полных нападок на жизненную философию А. и уговоров расстаться с меланхолией и взять себя в руки. Б., видимо, юрист или судья и счастливый семьянин. Вообще-то его можно назвать педантом, но проницательным педантом. Тот фрагмент про беспредельность меланхолии, который я уже цитировал, взят из его второго письма, озаглавленного «Гармоническое развитие эстетических и этических начал в человеческой личности», но в целом книга посвящена противопоставлению эстетического и этического. А. - эстет, Б. - этик, если есть такое слово. (Нет. Только что посмотрел. Тогда — моралист.) А говорит: или — или, неважно, что

ты выбираешь, в любом случае ты пожалеешь о своем выборе. «Если ты женишься, ты об этом пожалеешь, если ты не женишься, ты об этом пожалеешь; женишься ты или не женишься, ты пожалеешь в обоих случаях», и так далее. (Соблазнил ли А Корделию в действительности, или это литературный вымысел — неизвестно, но А явно одержим этой идеей, а значит — и старик Сёрен тоже.) А так увлекается обольщением, потому что для него женитьба связана с выбором (о котором он неизбежно пожалеет), тогда как обольщение заставляет делать выбор кого-то другого, оставляя тебя свободным. Заполучив Корделию, Йоханнес начинал убеждать себя, что она не стоит того, чтобы ею обладать, и он волен оттолкнуть ее и вернуться к своей меланхолии. «Меланхолия — самая верная из моих бывших возлюбленных, — говорит он. — Что ж удивляться, что я отвечаю ей взаимностью?»

Б. говорит, что ты должен выбирать. Выбор — это этический акт. Б. защищает брак Нападает на меланхолию. «Меланхолия — это великий грех, ничуть не меньший, чем любой другой, ибо она означает отказ желать глубоко и искренне, а это отец всех грехов». Но по доброте душевной он

все же добавляет: «Я… охотно соглашаюсь, что в известном смысле меланхолия не совсем дурной признак, так как поражает обыкновенно лишь наиболее одаренные натуры». Но Б. ничуть не сомневается, что этическое выше эстетического. «Человек, который живет по законам этики, видит себя, знает себя, пропитывает всю свою сущность своим сознанием, не позволяет смутным мыслям одолевать себя, не поддается искушению… Он себя знает». Или она. Салли этический тип, тогда как я — эстетический, правда, я верю в брак, так что не до конца укладываюсь в схему. И какова точка зрения самого Кьеркегора? Он А. или Б., или оба вместе, или ни тот ни другой? Ты должен выбирать между философиями А. и Б., или, что бы ты ни выбрал, все равно пожалеешь?

Чтение Кьеркегора напоминает полет сквозь густые облака. Время от времени появляется просвет, и на мгновение тебе открывается ярко освещенный участок земли, а затем тебя снова окутывает крутящаяся серая мгла, и никакого, к черту, намека, где ты находишься.

Понедельник, вечер. В энциклопедии, куда я только что заглянул, сказано, что Кьеркегор считал: этическое и эстетическое — всего лишь ступени на пути к полному просветлению, а

именно — религиозному. Этическое вроде бы выше эстетического, но потом и оно оказывается не самым главным. И в конце концов вам приходится сдаться на милость Божью. Это мне не слишком понравилось. Но, совершая данный «прыжок», человек «окончательно выбирает себя». Навязчивая, волнующая фраза. Как ты можешь выбрать себя, если ты уже — ты? На первый взгляд, полная чепуха, однако у меня есть слабая догадка, что бы это могло значить.

Салли дала понять, что по-прежнему на меня сердита, отказавшись сегодня вечером смотреть «Соседей» под предлогом, что у нее полно дел. Обычно в девять часов мы садимся смотреть очередную серию вместе — это вечерний ритуал понедельника, эфирного дня «Соседей». Занятно, но как бы хорошо ты ни был знаком с материалом до показа — писал сценарий, ходил на репетиции, присутствовал на съемках и видел окончательный вариант монтажа на кассете, — дома, по телевизору он всегда воспринимается по-другому. Сознание того, что в эту самую минуту миллионы людей смотрят вместе с вами ваше творение — и *впервые,* — каким-то чудом преображает его. Слишком поздно что-либо менять или останавливать, и это придает

переживанию некую остроту. Напоминает атмосферу театральной премьеры. Каждый понедельник вечером, едва заканчивается последний рекламный ролик и звучит знакомая вступительная мелодия и идут начальные титры, я чувствую, что мой пульс учащается. Ловлю себя на нелепом ощущении: я мысленно погоняю актеров, словно они играют живьем, внутренне призываю их выжать максимум из реплик и комических ситуаций, хотя разумом понимаю, что все — каждый слог или пауза, каждый интонационный нюанс или жест, а также отклик аудитории в студии — зафиксировано и не подлежит изменению.

Салли уже несколько лет не читает черновиков моих сценариев — или, возможно, я перестал их ей показывать, какая разница. Ей никогда особенно не нравилась основная идея «Соседей», она считала, что ничего из этого не выйдет. Когда же успех сериала стал бешено расти, она, конечно, была очень рада за меня, ну, и тому, конечно, что потоком хлынули деньги, словно мы нашли у себя на заднем дворе нефть. Но, что характерно, это ничуть не поколебало ее веры в собственную правоту. Потом на нее навалилось так много работы, что просто не оставалось ни времени, ни

сил на чтение сценариев, и я прекратил ее этим беспокоить. Мне гораздо интереснее, когда она смотрит программу, не зная, что будет дальше. Это дает мне представление о том, как реагируют остальные 12 999 999 зрителей, если я умножу ее реакцию примерно на восемь. Когда Салли хмыкает, могу держать пари, что по всей стране люди падают от смеха со стульев. Но сегодня вечером мне пришлось просидеть всю передачу в одиночестве, в угрюмом молчании.

Вторник, днем, 2 марта. Сегодня был у Александры. Она простужена, у нее заложен нос, и она все время сморкается — кажется, будто кто-то учится играть на трубе.

— Прошу прощения, что говорю об этом, — начал я, — но вы наживете себе синусит, если будете так сморкаться. Одно время я ходил к преподавательнице йоги, которая показала мне, как очищать нос: каждую ноздрю по очереди.

И продемонстрировал, зажав пальцем сначала одну, потом другую. Александра слабо улыбнулась и поблагодарила за совет. Это единственное, что я вынес из йоги. Как сморкаться.

Александра спросила, как прошла у меня неделя. Я поведал о туманном будущем «Соседей». Она спросила, что я собираюсь делать.

— Не знаю, — ответил я. — Знаю только, что, как бы ни поступил, все равно пожалею. Если выведу Присциллу из сценария — я об этом пожалею, если позволю сделать это кому-то другому — тоже пожалею. Я читаю Кьеркегора, — добавил я, думая, что это произведет на Александру впечатление, но она не отреагировала. Возможно, не услышала: в тот момент, когда я произносил «Кьеркегора», она опять сморкалась.

— Вы заранее предрешаете исход дела, — сказала она. — Настраиваете себя на неудачу.

— Я всего лишь смотрю в лицо фактам, — ответил я. — Моя нерешительность — она не лечится, как говорится. Возьмем прошедшие выходные. — И я рассказал о своих терзаниях — пойти или не пойти на съемки.

— Но ведь в конце концов вы приняли решение, — заметила Александра. — Вы поехали на студию. Вы сожалеете об этом?

— Да, потому что подвел Салли.

— Вы не знали, что она пригласила ваших соседей.

— Нет, но я должен был слушать, когда она мне говорила. И вообще, я знаю, что она все равно не одобрила бы моей поездки на студию, например, из-за погоды, именно поэтому я выскочил из

дома, прежде чем она успела отговорить меня. Я в конце концов узнал бы, что к нам должны прийти Уэбстеры, если бы *дал* ей такую возможность.

— И в этом случае вы б остались?

— Конечно.

— Вам бы этого хотелось?

Я на мгновение задумался и ответил:

— Нет.

Мы оба рассмеялись, с какой-то ноткой отчаяния в голосе.

Неужели я действительно в отчаянии? Нет, ничего подобного. Скорее это то, что Б. называет сомнениями. Он различает отчаяние и сомнение. Отчаяние лучше, потому что оно подразумевает выбор. «Итак, выбирай отчаяние: отчаяние само по себе есть уже выбор, так как, не выбирая, можно лишь сомневаться, а не отчаиваться; отчаиваясь, уже выбираешь, и выбираешь самого себя, не в смысле временного, случайного индивидуума, каким ты являешься в своей природной непосредственности, но в своем вечном, неизменном значении человека». Звучит красиво, но неужели можно выбрать отчаяние и не хотеть превзойти себя? Сможешь ли ты просто принять отчаяние, жить в нем, гордиться им, радоваться ему?

Б. говорит, что в одном он согласен с А.: если ты поэт, то обречен быть несчастным, потому что поэт «живет как бы в потемках; причиной то, что отчаяние его не доведено до конца, что душа его вечно трепещет в отчаянии, а дух тщетно стремится к просветлению». Так что, похоже, вы можете дрожать от отчаяния, хотя вы его не выбирали. Это мое состояние? Применимо ли оно не только к существованию поэта, но и к существованию сценариста?

Филип Ларкин знал все о таком отчаянии. Я только что прочитал «Мистера Блини»:

Но если ветер без пощады гнал
По небу облака над ним, а он лежал
На смятых простынях и, домом их считая,
Смеялся и от страха весь дрожал,

Что суть свою мы жизнью раскрываем
И что, к ее исходу щеголяя
Одним лишь фобом, взятым напрокат, -
На что ему рассчитывать, не знаю.

Здесь есть все: «Дрожал… страх…».

На мысль о Ларкине меня навела сегодняшняя газета, где я прочитал, что в его биографии, написанной Эндрю Моушеном, которая сейчас готовится к печати, он предстает в еще худшем

свете, чем в недавней публикации его писем. «Писем» я не читал и не собираюсь. И новую биографию читать не собираюсь. Ларкин мой любимый современный поэт (практически единственный, которого я, честно говоря, понимаю), и мне совершенно неинтересно знать, как его мешают с грязью. Кажется, он имел обыкновение заканчивать телефонные разговоры с Кингсли Эмисом, посылая ОКСФАМ к такой-то матери. Я согласен, что есть вещи и похуже, чем материть ОКСФАМ, например, на деле пакостить этой организации, как те вооруженные бандиты, что крадут помощь, предназначенную для голодающих женщин и детей, но все же почему ему хотелось произносить такие нелепые слова? Я достал свою благотворительную чековую книжку и послал ОКСФАМу 50 фунтов. Я сделал это за Филипа Ларкина. Морин тоже собирала индульгенции и переводила их на своего умершего дедушку. Однажды она все мне объяснила про чистилище и временное наказание — в жизни не слышал большей чепухи. Морин Каванаг. Интересно, что с ней стало. Интересно, где она сейчас.

Среда, 3 марта, поздно. Сегодня вечером я познакомился с незаконным обитателем нашего

крыльца. Вот как это произошло.

Мы с Эми отправились в Национальный театр посмотреть «Инспектор пришел». Блистательная постановка в потрясающих сюрреалистических декорациях, играется без антракта, словно смотришь сон. До этого я не слишком высоко ценил Пристли, но сегодня он показался мне так же хорош, как старик Софокл. Даже Эми увлеклась — впервые она не пыталась за ужином подбирать для пьесы других актеров. Мы поужинали в «Овации», заказав одни закуски — они всегда лучше основных блюд. Эми взяла две, а я — три. И выпили бутылочку «сансерра». Нам надо было многое обсудить помимо пьесы: мои проблемы с «Хартлендом» и последний конфликт Эми с Зельдой. Эми нашла при стирке в кармане школьной блузки Зельды таблетку, и теперь боится, что это либо «экстази», либо противозачаточное. Неизвестно, что хуже, но она не посмела спросить об этом девочку, боясь обвинений в слежке. Из своей огромной, раздутой торбы она выудила конверт-авиа с запечатанной в нем таблеткой и вытряхнула ее на мою пирожковую тарелку для освидетельствования. Я сказал, что она похожа на «холодок», и предложил пососать, чтобы убедиться. Положил ее в рот

и понял, что прав. Сначала Эми вздохнула с огромным облегчением. Потом, нахмурясь, сказала:

— А чего это она волнуется из-за плохого запаха изо рта? С мальчиками целуется?

— А ты не целовалась в ее возрасте? — спросил я. На что она ответила:

— Да, но не засовывая языки друг другу в глотку, как делают сейчас.

— Мы тоже так делали, — признался я, — это называлось французским поцелуем.

— Между прочим, теперь через это можно подхватить СПИД, — заявила Эми. Я возразил, что вряд ли, хотя точно не знаю.

Потом я поведал ей про четырнадцатый пункт. Она сказала, что это возмутительно, и посоветовала уволить Джейка и оспорить контракт в Писательской гильдии. Я сказал, что смена агента проблемы не решит и что адвокат Джейка уже проверил контракт и он неуязвим. «Merde», — отозвалась Эми. Мы обсудили разные идеи удаления Присциллы из сериала, которые становились все более и более игривыми по мере того, как уровень вина в бутылке падал: Присциллу востребовал ее бывший муж, которого она считала умершим и о котором она не сказала

Эдварду, когда выходила за него; Присцилла сделала операцию по перемене пола; Присциллу похитили космические пришельцы… Я по-прежнему считаю, что наилучший выход для Присциллы — умереть в последней серии нынешнего блока, но Эми нисколько не удивилась, что Олли и Хэл это забраковали.

— Только не смерть, дорогой, *все что угодно*, но только не смерть.

Я назвал ее реакцию слишком бурной.

— О боже, ты говоришь совсем как Карл, — сказала Эми.

Эта реплика приоткрыла завесу тайны над тем, что происходит между Эми и ее психоаналитиком. Обычно она скрытничает насчет их отношений. Я знаю только, что по рабочим дням ровно в девять утра она приезжает в его офис, он выходит в приемную и здоровается, она первой входит в кабинет и ложится на кушетку, он садится рядом, и Эми говорит на протяжении пятидесяти минут. Здесь не нужно готовить тему заранее, лежишь и распространяешься обо всем, что взбредет на ум. Я как-то спросил Эми, что происходит, если ничего стоящего в голову не приходит, и она ответила, что тогда молчишь. Теоретически она может промолчать все пятьдесят минут, и

Карл все равно получит свой гонорар; но с Эми, насколько я ее знаю, такое вряд ли случится.

Из театра мы вышли около одиннадцати. Я посадил Эми в такси и пошел домой пешком, чтобы размять любимое колено. Роланд говорит, что я должен каждый день гулять хотя бы полчаса. Люблю пройтись по мосту Ватерлоо, особенно ночью, когда все подсвечено: Биг-Бен и здание Парламента на западе, купол собора Св. Павла и острые, как спицы, шпили других церквей Рена на востоке, мне нравится красный огонек на самом верху административной высотки Кэнэри-Уорф, подмигивающий на горизонте. С моста Ватерлоо Лондон по-прежнему кажется великим городом. Разочарование наступает, когда вы сворачиваете на Стрэнд и обнаруживаете, что у дверей всех магазинов расположились жильцы, закутанные в пледы, как мумии в музее.

Я как-то не подумал, что и мой приятель окажется на месте, возможно, я забыл о его существовании, потому что видел его только пару раз, да и то на экране монитора далеко за полночь. Он сидел у стены при входе, по пояс в спальном мешке, и курил самокрутку. Я сказал:

— Давайте идите отсюда, здесь нельзя спать.

Он посмотрел на меня, отбросив назад длинную прядь жидких рыжих волос. На вид я бы дал ему лет семнадцать. Точно не скажу. На подбородке у него пробивалась рыжеватая щетина.

— Я не спал, — возразил он.

— Я видел, как вы спали здесь раньше, — сказал я. — Идите отсюда.

— Почему? — спросил он. — Я ничего плохого не делаю. — Он подтянул внутри мешка колени, словно давая мне возможность пройти.

— Это частное владение, — заметил я.

— Частная собственность — это воровство, — заявил он с хитрой усмешечкой, словно испытывая меня.

— Ну-ну, — проговорил я, скрывая под сарказмом удивление, — бродячий марксист. Дальше что?

— Это не Маркс сказал, — объяснил парень. — Пруд, а не он. — Во всяком случае, мне так послышалось.

— Что за пруд? — спросил я.

Его взгляд моментально затуманился, и парень упрямо помотал головой.

— Не знаю, но это был не Маркс. Я смотрел в словаре.

— *Все в порядке, сэр?*

Я обернулся. Разрази меня гром, если у меня за спиной не стояло двое полицейских. Они материализовались, словно в ответ на мысленную молитву. Если оставить в стороне, что сейчас они мне были не нужны. Точнее, не сейчас. Не в этот самый момент. Я с удивлением ощутил непонятное нежелание отдавать юнца в руки представителей закона. Думаю, они просто увели бы его отсюда, но времени на размышления не было. Решение пришло в долю секунды.

—

Все в порядке, офицер, — сказал я полицейскому, который обратился ко мне. — Я его знаю.

Молодой человек тем временем поднялся и деловито скатывал спальный мешок

— Вы здесь живете, сэр? — поинтересовался полицейский. Я предъявил ключи, с излишней готовностью демонстрируя право собственника. В этот момент рация, висевшая на груди второго полисмена, заскрипела, затрещала, и оттуда донеслось сообщение о сигнализации, сработавшей на Лисл-стрит, и блюстители порядка, сказав мне еще несколько слов, удалились, шагая в ногу.

— Спасибо, — сказал парень.

Я посмотрел на него, уже сожалея о своем

решении. («Если ты сдашь его полиции, ты об этом пожалеешь, если ты не сдашь его полиции, ты об этом пожалеешь, сдашь или не сдашь его, ты пожалеешь все равно…») У меня было сильное искушение прогнать его, острейшее, но, глянув вдоль улицы, я увидел, что полицейские наблюдают за мной от угла.

— Думаю, вам лучше на несколько минут войти, — предложил я.

Он с подозрением посмотрел на меня из-под пряди волос.

— Вы не псих, нет? — спросил он.

— Господи боже, нет, — ответил я.

Пока мы молча поднимались на лифте, я осознал, почему не воспользовался чудесным появлением двух полисменов и не избавился от него. Коротенькая фраза «Я смотрел в словаре» мгновенно лишила меня уверенности и склонила на его сторону. Еще один любитель заглянуть в словарь. Словно у своей двери я наткнулся на самого себя, более молодого и неприкаянного.

— Мило, — одобрительно заметил он, когда я впустил его в квартиру и включил свет. Парень подошел к окну и посмотрел вниз, на улицу.

— Блин, — изрек он. — Шума почти не слышно.

— Двойные стекла, — пояснил я. — Послушайте, я пригласил вас только для того, чтобы к вам не приставали полицейские. Я напою вас чаем, если хотите…

— Спасибо, — отозвался он, немедленно садясь на диван.

— …я дам вам чашку чая, но это все, понятно? Затем вы пойдете своей дорогой, и я больше не желаю вас здесь видеть, никогда. Договорились?

Он кивнул, не столь убедительно, как мне хотелось бы, и вынул из кармана жестянку с табаком для самокруток.

— Здесь не курят, если не возражаете, — добавил я.

Он вздохнул, пожал плечами и убрал жестянку в карман анорака. Одет он был как все молодые бродяги из Уэст-Энда: стеганая куртка, синие джинсы, мартинсы плюс грязный бежевый вязаный шарф, свисавший до щиколоток.

— Не против, если я разденусь? — спросил он и скинул анорак, не дожидаясь разрешения. — Здесь несколько теплее, чем я привык

Без анорака, в одном трикотажном свитере, светившемся на локтях, он казался тонким и хрупким.

— Редко здесь бываете, да? — заметил он. — А

где вообще живете?

Я сказал.

— Значит, на севере? — рассеянно уточнил он. — А зачем вам вообще два дома?

От его любопытства мне стало не по себе. Чтобы остановить поток вопросов, я стал задавать их сам. Его зовут Грэхэм — а не Грэм, подчеркнул он, произнося в своем имени обычно немые звуки, словно в этом было нечто аристократическое, выделяющее его из общего ряда. Родом он из Дэгенхэма, и история его жизни оказалась такой, как я и ожидал: распавшаяся семья, отсутствующий отец, пьяница мать, прогулы в школе, неприятности с законом в возрасте двенадцати лет, отдан на воспитание в чужую семью, сбежал, его вернули домой, он снова сбежал, приехал на Запад, как он называет Уэст-Энд, привлеченный яркими огнями большого города. Живет подаянием, иногда случайным заработком — раздает листовки на Лестер-сквер, моет машины в гараже в Сохо. Я спросил его, почему он не пытается найти постоянную работу, и он важно ответил:

— Я ценю свою свободу.

Грэхэм представляет собой причудливую смесь наивности и уличной мудрости, он недоучка,

но его образованная половина поражает осведомленностью в самых неожиданных областях. Увидев книгу Кьеркегора «Повторение», которую я сегодня купил у букиниста на Чаринг-Кросс-роуд, он, дотянувшись, взял ее.

— Кьеркегор, — произнес он, — первый экзистенциалист.

Я расхохотался в полном изумлении:

— Что вы знаете об экзистенциализме?

— Существование важнее сущности, — проговорил он, словно воспроизводя начало детского стишка.

Он не читал текст с суперобложки, потому что у этой книги ее не было. Думаю, он из числа людей с фотографической памятью. Видит где-то фразы и запоминает их, не понимая, что они означают. Удивительно уже то, что он вообще их увидел. Я спросил, где он встречал имя Кьеркегора, — в библиотеке, ответил он.

— Я обратил на него внимание, — пояснил он, — из-за смешного написания по-датски. С двумя «а». Как «А-ах!» в комиксах.

Он много времени проводит в Вестминстерской библиотеке, совсем рядом с Лестер-сквер, роясь в энциклопедиях.

— Если ты просто заходишь погреться, тебя

через какое-то время выгоняют, — сказал он. — Но если читаешь, они не могут этого сделать.

Чем дальше заходила беседа, тем труднее становилось закончить ее и выгнать парня на улицу, в холод.

— Где вы сегодня будете ночевать? — спросил я его.

— Не знаю, — ответил он. — Можно поспать внизу?

— Нет, — отрезал я.

— Жаль, хорошее такое крылечко. Чистое. Никаких тебе сквозняков. Ну, найду что-нибудь.

— А сколько стоит самый дешевый ночлег в округе? — спросил я.

Он окинул меня быстрым, оценивающим взглядом.

— Пятнадцать монет.

— Я вам не верю.

— Я не про ночлежки говорю, — слегка возмутился он, — и не про Армию спасения. Я скорей буду спать на тротуаре, чем в одном из их клоповников, где грязные старики всю ночь кашляют и пердят и пристают к тебе в туалете.

В конце концов я дал ему пятнадцать фунтов и вывел из дома. На крыльце он небрежно поблагодарил меня, поднял воротник и смылся в

направлении Трафальгарской площади. Я очень сомневаюсь, что он потратит свалившиеся с неба деньги на ночлег — они позволят ему два или три дня покупать еду и курево, — но моя совесть чиста. Или нет?

Я уже собрался лечь, но решил сначала разгадать тайну слов «пруд, а не он», заглянув в словарь, который нашелся в этой квартире. В нем, помимо толкования слов, даны фамилии известных людей, и точно, он там был, хотя я никогда раньше о нем не слышал: «*Прудон, Пьер Жозеф (1809–1865), французский социалист, в памфлете «Что такое собственность?»* (1840) объявил собственность воровством». Каково, а?

СТРАННЫЕ ИСТОРИИ ЛИНИИ № 167 «БРИТИШ РЕЙЛ»

(По сообщению «Интерситизен»)

Вот уже несколько месяцев не работает эскалатор, соединяющий остановку такси под Юстонским вокзалом с главным залом. А до этого он периодически находился на ремонте. Неделями он был отгорожен большими фанерными щитами, и оттуда до пассажиров, или «клиентов», как называет нас сегодня «Бритиш рейл», карабкавшихся вверх по запасной

лестнице со своим багажом, детьми, тележками, престарелыми и немощными родственниками и т. д., доносились удары и лязганье — ремонтники сражались с заклинившим механизмом. Затем экран убирали, движущаяся лестница несколько дней работала и снова ломалась. В конце концов ее оставили в покое, не пытаясь больше привести в движение. Пассажиры с типичным британским стоицизмом смирились и стали использовать эскалатор как обычную неподвижную лестницу, хотя ее ступени слишком высоки для этого. Где-то есть лифт, но тогда нужен носильщик, а на остановке такси носильщиков нет.

Недавно у подножия парализованного механизма появилось печатное объявление:

РАДОСТНАЯ НОВОСТЬ

Новый эскалатор в Юстоне

Мы сожалеем, что эскалатор не работает. Срок его жизни истек [sic]. Изготовление и установка нового эскалатора будут закончены к концу августа 1993 года.

Управляющий
по междугородным перевозкам

Четверг, вечер, 4 марта.

Сегодня я обедал с Джейком у «Граучо». Мы уговорили две бутылки деревенского божоле, которому я с удовольствием воздавал должное, о чем впоследствии пожалел. На такси я поехал прямо на Юстонский вокзал и, никуда не торопясь, переписал объявление внизу у сломанного эскалатора, слегка покачиваясь, хихикая себе под нос и привлекая любопытные взгляды пассажиров, которые спешили мимо на штурм стальной лестницы. *«Срок* его жизни истек». Мне нравится эта фраза. В свете готовящейся приватизации она могла бы стать новым слоганом «Бритиш рейл» вместо «Мы ездим и *туда».*

В поезде я заснул и проснулся, когда мы как раз тронулись от «Раммидж Экспо», — чувствовал я себя просто отвратно. Я успел разглядеть на стоянке свой автомобиль, на его жемчужном боку белели отсветы фонарей. На «Раммидж-Центральной» мне пришлось полчаса ждать обратного поезда, и я какое-то время слонялся по торговому центру над вокзалом. Большинство пустых стеклянных витрин украшала надпись «Продается», либо за ними виднелись голые пыльные интерьеры — оболочка ликвидированного бизнеса. Я купил

вечернюю газету. «МЕЙДЖОР СТАНОВИТСЯ ПЕССИМИСТОМ», — утверждал один заголовок «900 000 «БЕЛЫХ ВОРОТНИЧКОВ» БЕЗ РАБОТЫ», — гласил другой. Из скрытых динамиков лилась успокаивающая музыка.

Я спускаюсь в подземный мрак платформы, чтобы успеть на свой поезд. Объявлено, что он опаздывает. Пассажиры в ожидании сидят на деревянных скамьях, ссутулившись и засунув руки в карманы, их дыхание превращается в пар в прохладном сыром воздухе. Они с тоской смотрят на отверстие туннеля, где горит красный сигнал. Насморочный голос извиняется за задержку, «связанную с организационными трудностями». Срок жизни истек.

Джейк встречался с Самантой во вторник

— Смышленая девочка, — сказал он. — Спасибо, что направил ее ко мне.

— Я не направлял, — ответил я. — Я лишь предупредил ее о твоем достойном сожаления моральном облике.

Он засмеялся:

— Не волнуйся, мой мальчик, она не в моем вкусе. У нее нет щиколоток, разве ты не заметил?

— Боюсь, что не заметил, — отозвался я. —

Никогда не опускался так низко.

— Д ля меня очень важны ноги, — объяснил Джейк — Возьми, например, красавицу Линду.

Он несколько минут распространялся о ногах своей новой секретарши, утверждая, что в белых нейлоновых колготках они словно лезвия ножниц, которые лязгают и сверкают из-под микроскопической юбки, когда она входит и выходит из его кабинета.

— Я пересплю с ней, — сказал он. — Это всего лишь вопрос времени.

Мы тогда уже приканчивали вторую бутылку, и я спросил, неужели он никогда не испытывал хоть капли вины по поводу своего распутства.

Джейк. Ну конечно. В этом все дело. Вся притягательность. Притягательность запретного. Слушай, я расскажу тебе одну историю. **(Джейк доливает Пузану, а затем себе)** Это случилось прошлым летом. Как-то воскресным днем я сидел в саду, просматривая бумаги, — Рода возилась на кухне, а соседские дети играли в саду, в надувном бассейне. День был жаркий. К соседям приехали в гости друзья или родственники, и детей прибавилось — теперь их было два мальчика и две девочки примерно одного возраста, думаю, от четырех до шести. Я не видел их из-за изгороди,

но слышал прекрасно. Ты знаешь, как вода возбуждает детей — они шумят больше, чем обычно. До меня доносились крики, визг, плеск. В общем, меня это стало раздражать. Прошлым летом было не так уж много тепла, чтобы можно было посидеть в саду, и вот драгоценный день отдыха летит псу под хвост. Поэтому я встал с шезлонга и пошел к детям, чтобы попросить их немного убавить громкость. Приближаясь, я услышал, как девочка говорит, видимо, кому-то из мальчиков: «Вам не разрешается снимать с нас трусики». Она говорила очень ясным, красивым голосом, как наша юная Саманта, когда объясняет правила крокета. «Вам не разрешается снимать с нас трусики». Я просто схватился за живот. Пришлось просто прикусить костяшки пальцев, чтобы не расхохотаться в голос. Замечание ребенка, разумеется, не несло абсолютно никакого сексуального смысла. Но для меня эта фраза высветила суть дела. Мир полон желанных женщин, а тебе не разрешается снимать с них трусики — если только ты на них не женишься, а тогда это уже неинтересно. Но иногда везет, и нам разрешают. Трусы не скрывают ничего нового, конечно. Ту же дырку, я имею в виду. Но из-за трусов это всегда происходит по-другому. «Вам не

разрешается снимать с нас трусики». Коротко и ясно. **(Джейк осушает бокал)**

Пятница, вечер, 5 марта. Сегодня днем ездил в Клинику здоровья на акупунктуру. (Поет на мотив «Ревности» Брайана Адамса: «*Терапия! Одна терапия! Без конца, не иначе, а уж сколько я трачу…*») Вообще-то сегодня вечером я чувствую себя гораздо лучше, чем в последние дни, не знаю почему — благодаря иглоукалыванию или воздержанию от спиртного. Сегодня мисс Ву производила свои манипуляции с помощью прижиганий, а не привычными иголками. В нужных точках она положила на кожу маленькие зернышки, похожие на ладан, и по очереди прижимала к ним тоненькую зажженную свечечку. Они разгораются докрасна, как тлеющие угли, и пускают струйки чуть ароматного дыма. Я чувствую себя человеком — палочкой благовония. Суть в том, что зернышки разгораются, жар усиливается, и возникает эффект, сходный со стимуляцией иголками, только надо вовремя убирать зернышки пинцетом, пока ты не получил настоящий ожог. Я должен вовремя сообщить, когда ощущение становится болезненным, иначе запах благовоний смешается с запахом прижженной кожи. Нервная процедура.

Мисс Ву спросила меня о семье. Я слегка растерялся оттого, что мне было совершенно нечего рассказать ей по сравнению с прошлым визитом. Я смутно помнил, что несколько дней назад Салли разговаривала по телефону с Джейн и пересказала мне какие-то новости, но я прослушал, а потом спрашивать было неловко, потому что Салли до сих пор сердита на меня за историю с Уэбстерами. Боюсь, в последнее время я был чересчур поглощен своими мыслями. Много читал Кьеркегора и его биографию, написанную Уолтером Лоури. Да и ведение этого дневника отнимает много времени. Не знаю, сколько я еще смогу продолжать в том же духе — объем дневника уже переходит все пределы. Дневники Кьеркегора, в своей полной, неотредактированной версии, достигают, по-видимому, 10 000 страниц. Книга в мягкой обложке, купленная на Чаринг-Кросс-роуд, — это избранное. Там есть фрагмент, ранний, где он пишет, что собирается пойти к врачу, — я так и сел. У врача Кьеркегор спросил, может ли он, по его мнению, одолеть свою меланхолию усилием воли. Врач ответил, что сомневается и что даже попытка может оказаться опасной. Кьеркегору ничего не оставалось, как жить со

своей депрессией.

С того момента выбор мой был сделан. Это печальное уродство вместе с присущими ему страданиями (которых, без сомнения, для большинства людей хватило бы с лихвой, чтобы покончить с собой, если бы у них нашлось достаточно силы духа прочувствовать до конца эту муку) есть то, что я считаю жалом в плоти, своим ограничением, своим крестом…

Жало в плоти! Каково, а?

Soren Kierkegaard Уже одно его имя на обложке пленяет своим своеобразием и притягивает. Оно такое странное, такое экстравагантно-иностранное
для английского глаза — почти внеземное. Это чудное «о», перечеркнутое наискосок, как знак нуля на экране компьютера, — оно может принадлежать какому-нибудь искусственному языку, изобретенному писателем-фантастом. И двойное «а» в фамилии столь же экзотично. Думаю, исконных английских слов с двумя «а» подряд нет, и заимствованных слов тоже не так много. Меня просто бесят болваны, помещающие в газетах строчные объявления, начинающиеся с бессмысленного ряда «А», только для того,

чтобы попасть в начало списка, например: *«AAAA Продается «эскорт», 50000 миль, 3000 фунтов, без торга»*. Это жульничество. Против этого должен существовать закон — пусть люди придумают что-нибудь получше. Я только что просмотрел первую страницу словаря: *aa, aardvark, Aarhus…* *Aa* — это гавайское слово, обозначающее определенный тип вулканической скалы, а aardvark — это африканский муравьед, или трубкозуб, ночное млекопитающее, которое, в свою очередь, питается термитами, в словаре говорится, что название пришло из языка африкаанс. «*Продается серый, как аардварк, «эскорт»* — вот такое объявление привлекло бы внимание. (Предполагаю, что ночью все аардварки серы.)

Начинаешь листать словарь и никогда не знаешь, на что наткнешься. Я обратил внимание, что для *Aarhus* — название порта в Дании — был приведен и другой вариант написания: *#197;rhus*. Дальнейшие исследования показали, что в современном датском языке это обычный способ написания двойного «а», одно «а» с маленьким кружочком над ним. Поэтому, если бы Кьеркегор жил сегодня, его фамилия писалась бы *Kierkeg #229;rd*. Но самым тревожным стало открытие, что все это время я неправильно произносил его имя.

Я думал, что оно звучит как «Серен Кьеркегард». Ничего подобного. Перечеркнутое «о», кажется, произносится как «ей» во французском языке, «Кьерк» произносится как «Кирг», с твердым «г», «аа» звучит как английское «о», а «д» — немое. Поэтому все вместе звучит примерно так «Сёрен Киргегор». Все же я буду придерживаться английского произношения.

«А» с маленьким кружочком сверху что-то мне напоминает, но, хоть убей, не помню что. Это раздражает. Вспомнится само, когда я уже и думать об этом перестану.

Я также читаю «Повторение», у него есть подзаголовок «Опыт экспериментальной психологии». Странная книга. Да все они, в общем, странные. Все разные, но в каждой неожиданно возникают одни и те же темы и навязчивые идеи: ухаживание, обольщение, нерешительность, вина, депрессия, отчаяние. В «Повторении» есть еще один псевдоавтор — Константин Константиус, друг и наперсник безымянного молодого человека, который немного похож на А. из «Или — или». Молодой человек влюбляется в девушку, которая отвечает ему взаимностью, и они обручаются. Но, вместо того чтобы испытывать в этой ситуации счастье, юноша

немедленно погружается в глубочайшее уныние (Константиус называет его «меланхолия», как Кьеркегор в своих «Дневниках»). Он растравляет себя отрывком из стихотворения (в молодом человеке достаточно амбиций считать себя поэтом), который он механически повторяет снова и снова:

И склонилась мечта надо мною,
Грезы юной весны моей…
Солнце женщин! С какой тоскою
Вспоминаю ласки твоих лучей!..
[21] [broken link: #_ftn21]

Этот юноша — классический пример «самого несчастного человека». Вместо того чтобы жить в настоящем, радуясь помолвке, он «вспоминает будущее»; то есть он представляет себя, оглядывающегося назад, на юношескую любовь с высоты разочарований старости, как и герой стихотворения, и понимает: жениться нет смысла. «Ясно было, что мой юный друг влюбился искренне и глубоко, и все-таки он готов был сразу начать переживать свою любовь в воспоминании. В сущности, значит, он уже совсем покончил с реальными отношениями к молодой девушке. Он в самом же начале делает такой огромный скачок,

что обгоняет жизнь». Восхитительно нелепый и в то же время абсолютно правдоподобный способ разочароваться в счастье. Константиус подводит итог: «Он тоскует по возлюбленной, он должен силой заставить себя оторваться от нее, чтобы не торчать подле целый день, и все же он с первой минуты превратился по отношению к молодой девушке в старика, живущего воспоминаниями… Яснее ясного было, что молодой человек будет несчастен, и девушка тоже». Он решает, что ради блага девушки должен разорвать помолвку. Но как это сделать, чтобы она не почувствовала себя отвергнутой?

Константиус советует притвориться, что у него есть любовница — нанять квартиру для какой-нибудь продавщицы и заходить к ней, — дабы его невеста прониклась к нему презрением и сама разорвала помолвку. Молодой человек совет принял, но в последний момент у него не хватило духу так сделать, и он просто исчез из Копенгагена. Через какое-то время он начинает писать Константиусу, анализируя свое поведение и свои чувства к девушке. Разумеется, он по-прежнему полностью одержим ею. Он превратился в несчастного вспоминающего. «Что я делаю? Опять начинаю сначала? Так начну

лучше с конца. Я избегаю всякого внешнего напоминания об этой истории, меж тем как душа моя день и ночь, наяву и во сне постоянно занята ею». Он отождествляет себя с Иовом. (Я посмотрел на Иова в Библии. Надо сказать, я никогда раньше не читал Книгу Иова. Она на удивление легко читается — классное произведение, ей-богу.) Подобно Иову, молодой человек сетует на свое плачевное состояние («Я дошел до крайних пределов. Существование опротивело мне, оно безвкусно, лишено соли и смысла»), но тогда как Иов винит Бога, юноша в Бога не верит и поэтому не знает точно, кто виноват: «Откуда взялась во мне заинтересованность в этом крупном предприятии, именуемом действительностью? Каков мой интерес? Разве участие это не в воле каждого? А если я обязан участвовать, то где председатель?» Молодой человек жаждет какой-нибудь случайности, способной преобразить его, или откровения, «бури», как та, что разражается в конце Книги Иова, когда Бог уже всерьез напускается на Иова и говорит типа: «Можешь ли ты сделать то, что могу я? Если нет — заткнись», Иов подчиняется, и Бог вознаграждает его, дав ему в два раза больше овец, верблюдов и ослиц, чем у него было раньше. «Иов был благословлен

Богом, и все было возмещено ему *вдвойне,* — говорит молодой человек — Это и называется *повторением*». Затем он читает в газете, что девушка вышла замуж за другого, и пишет Константиусу, что это известие освободило его от одержимости любовью: «Я снова стал самим собою… Внутренний разлад кончился, я снова обрел сам себя… Разве же это не повторение? Разве мне не отдано все снова, да еще в двойном размере? Не возвращена ли мне моя самость, — и вдобавок таким образом, что я должен вдвойне почувствовать ее значение?». Последнее его письмо заканчивается восторженными благодарностями девушке и экстатическому посвящению себя жизни разума:

…Но сначала надо совершить возлияние в честь той, что спасла мою душу, ввергнутую в отчаяние. Слава женскому великодушию!.. И да здравствует полет мысли, да здравствуют смертельные опасности на службе идее, да здравствуют превратности борьбы, ликование победы, пляски в вихре бесконечности!.. Да здравствуют размахи волн, то погружающие меня в бездну, то возносящие к звездам!

И теперь, когда я немного представляю себе

жизнь Кьеркегора, мне становится совершенно ясно, что эта история перекликается с его личным опытом. Обручившись с Региной, он сразу начал сомневаться, будут ли они счастливы из-за разницы в темпераментах. Поэтому он разорвал помолвку, несмотря на то что по-прежнему любил девушку и она любила его и умоляла не делать этого, о том же просил и ее отец. Кьеркегор на некоторое время уехал в Берлин, где написал книгу «Или — или», которая является длинным иносказательным оправданием и объяснением его поведения по отношению к Регине. Позднее он сказал, что эта книга была написана для нее и что «Дневник обольстителя», в частности, был предназначен для того, чтобы «помочь ей оттолкнуть лодку от берега», то есть разрушить свою эмоциональную привязанность к нему, заставив ее думать, что человек, способный создать Йоханнеса, сам должен быть хладнокровным, эгоистичным негодяем. Можно сказать, что написание Кьеркегором «Дневника обольстителя» то же самое, что притворство молодого человека в «Повторении», будто у него есть любовница. Закончив «Или — или», Кьеркегор немедленно начал работать над «Повторением», касаясь тех

же самых материй в истории, которая имела гораздо больше общего с его личным опытом. Но обрадовался ли он, вернувшись в Копенгаген и обнаружив, что Регина уже обручилась с другим? Чувствовал ли он освобождение, как герой «Повторения», возврат к самому себе? Черта с два. Он был в отчаянии. В его «Дневниках» того времени есть фрагмент, который, по-видимому, описывает его чувства:

Самое
ужасное, что может случиться с человеком, — это стать посмешищем в собственных глазах — в том, что для него важнее всего на свете. Обнаружить, например, что самая суть его чувств — просто ненужный хлам.

Очевидно, он втайне надеялся, что его решение о разрыве помолвки каким-то чудом само собой отменится и он в конце концов женится на Регине. Даже когда он плыл в Германию, на пути в Берлин он записал в своем дневнике: «Хотя с моей стороны это настоящая наглость, я не могу не думать о том мгновении неописуемого счастья, когда вернусь к ней». Вот оно, повторение, оно у него в мозгу: он дважды получит Регину. Как Иов, он будет благословлен и все получит в двойном

размере. В действительности он получил известие о ее новой помолвке, как раз когда работал над «Повторением», и после этого выбросил оригинальную концовку, в которой герой, не в силах думать о муках, которые он причинил возлюбленной, совершает самоубийство.

Поэтому вся высокопарная болтовня о женской щедрости и пучине бесконечности была попыткой преодолеть разочарование в Регине, одарившей своей привязанностью кого-то другого, а также своеобразной потугой представить это как триумф и доказательство правильности своего поведения, а не разоблачение его глупости. Ничего не вышло. Всю оставшуюся жизнь он так и не переставал любить ее, думать о ней, писать о ней (прямо или иносказательно); и в своем завещании он оставил ей все, чем владел (когда он умер, у него мало что оставалось, но важно, что он подумал о ней и воплотил свою мысль). Какой дурак! Но какой же милый, совершенно по-человечески нелепый дурак.

«Повторение» — типичное дразнящее, прилипчивое кьеркегоровское название. Обычно мы думаем о повторении как о чем-то по сути своей скучном, чего надо по возможности избегать, как, например, монотонного труда.

Но в этой книге оно предстает перед нами как нечто фантастически ценное и желанное, обозначающее восстановление того, что казалось потерянным (например, богатство Иова или вера молодого человека в себя). Еще один смысл повторения — наслаждение тем, что имеешь. Повторение неотделимо от жизни-в-настоящем, в которой есть «блаженная уверенность настоящей минуты». Это означает быть свободным от проклятия несчастного надеющегося и несчастного вспоминающего. «Надежда — прелестная девушка, ускользающая из рук; воспоминание — красивая зрелая женщина, время которой уже прошло. Повторение — любимая жена, которая никогда не наскучит».

Мне пришло в голову, что последнее сравнение можно перевернуть: не повторение — любимая жена, а любимая жена (или любимый муж) — это повторение. Чтобы узнать подлинную ценность брака, ты должен отказаться от предвзятой мысли, что повторение — это что- то скучное и отрицательное, и, напротив, посмотреть на него как на нечто освобождающее и позитивное — секрет счастья, не меньше. Вот почему Б. в «Или — или» начинает свою атаку на эстетическую философию жизни А. (и меланхолию, которая

ей сопутствует) с защиты брака и побуждает А. жениться. (Я уже сто лет так глубоко не задумывался — если вообще со мной такое бывало, — это будоражит.)

Возьмем, например, секс. Секс в браке — это повторение. Элемент повторения перевешивает все разнообразие, каким может отличаться один акт от другого. Сколько бы поз вы ни испробовали, сколько бы разных эротических приемов, секс-игрушек, игр и визуальной помощи вы ни применили, тот факт, что партнер у вас один и тот же, означает, что каждый акт по существу (или в сущности?) один и тот же. По крайней мере, наш опыт подтверждает (я имею в виду, наш с Салли), что большинство пар в конце концов останавливаются на определенной рутине, которая устраивает обоих, и повторяют ее снова и снова. Сколько половых актов случается в длительном браке? Тысячи. Одни приносят больше удовлетворения, другие меньше, но помнит ли кто-нибудь их все? Нет, они сливаются и смешиваются в памяти. Именно поэтому такие бабники, как Джейк, считают секс в браке скучным по определению. Они настаивают на разнообразии в сексе, и через какое-то время средства достижения разнообразия становятся

важнее самого акта. Для них смысл секса в ожидании, замыслах, планировании, желании, обхаживании, секретности, обмане, тайных свиданиях. Своей жене тайных свиданий не назначают. В этом нет нужды. Секс рядом, наслаждайся им когда хочешь; и если твой партнер почему-то этого не хочет — устал, или простудился, или хочет не в постель, а посмотреть что-нибудь по телевизору, — что ж, ладно, отложим на потом. Самое лучшее в семейном сексе (и особенно в сексе в среднем возрасте, после менопаузы, когда можно уже не беспокоиться о контрацепции) то, что тебе не нужно думать о нем все время. Подозреваю, что Джейк думает о нем, даже когда звонит клиентам или составляет контракты; возможно, не думает он о сексе только тогда, когда занимается им (потому что оргазм — это ускользающая доля секунды, та самая, которой меня пыталась научить на курсах йоги мисс Флинн, потому что он тоже на мгновение очищает мозг от всех мыслей). Но держу пари, как только он кончает, он снова начинает о нем думать.

Что применимо к сексу, применимо и ко всему остальному в браке: к работе, отдыху, еде, ко всему, чему угодно. Все это повторение. Чем

дольше вы живете вместе, тем меньше меняетесь и тем больше места занимает повторение в повседневной жизни. Вы знаете склад ума друг друга, мысли, привычки: кто на какой стороне кровати спит, кто первым встает утром, кто за завтраком пьет кофе, а кто чай, кто любит прочитать в газете сначала раздел новостей, а кто — рецензий, и так далее. Вам все меньше и меньше требуется говорить друг с другом. Стороннему наблюдателю это кажется скукой и отчуждением. Общеизвестно, что в ресторане всегда можно отличить женатые пары, потому что они едят молча. Но значит ли это, что они несчастливы в компании друг друга? Вовсе нет. Просто они ведут себя как дома, как ведут себя все время. Дело не в том, что им нечего сказать друг другу, а в том, что это не нужно проговаривать. Счастливый брак означает, что вам нет нужды изображать брак, вы просто живете в нем, как рыба в воде. Примечательно, что Кьеркегор понял это интуитивно, хотя никогда не был женат сам и не воспользовался хорошей возможностью узнать об этом из личного опыта.

Салли только что зашла в мой кабинет и сказала, что хочет жить раздельно. Она утверждает, что уже говорила мне об этом сегодня вечером, за

ужином, но я не слушал. На этот раз я слушал, но все равно не могу осознать.

Часть вторая

Бретт Саттон

Показания…… Майкла Бретта Саттона

Возраст свидетеля……. старше 21 года

Род занятий свидетеля…. тренер по теннису

Адрес…… 41 Аптон-роуд, РАММИДЖ Р27 9ЛП.

Эти показания на 5 **страницах, каждая из которых подписана мною, правдивы, и я поставлен в известность, что в случае использования их в качестве свидетельских показаний я буду отвечать перед законом, если я умышленно сделал заведомо ложное или не соответствующее правде заявление.**

Дата: 21 марта 1993 года.

Первый раз я заметил странное отношение к себе со стороны мистера Пассмора около двух недель назад. В течение нескольких месяцев я давал уроки его жене, но с ним самим лишь здоровался при встрече в клубе, ничего другого. Ему я никогда уроков не давал. Миссис Пассмор

сказала, что у него хроническое заболевание колена, хирургическая операция не помогла, и это значительно ограничило его возможности в смысле тенниса. Мне случалось видеть, как он играл, надев специальный наколенник, и по-моему, при данных обстоятельствах очень неплохо справлялся, но думаю, его должна раздражать невозможность нормально передвигаться по корту. Наверное, поэтому он вбил себе в голову эту бредовую идею. Если вы увлекаетесь спортом, нет ничего хуже длительной травмы. Я знаю… я сам через это прошел: проблемы с хрящами, тендинит, — все у меня было. Это действительно угнетает. Весь мир кажется серым, словно все против тебя. Достаточно небольшого кризиса в личной жизни, и ты пропал. Мистер Пассмор с виду человек не спортивный, но, видимо, спорт для него много значит. Миссис Пассмор говорила мне, что до травмы они много играли вдвоем, но теперь она не хочет, потому что он терпеть не может, когда она выигрывает, а если она поддается, каждый раз ее в этом упрекает. Я-то думаю, что сейчас она его обыграет, даже если он будет играть со всей отдачей: в последнее время она сильно прибавила. На протяжении всей зимы я

занимался с ней дважды в неделю.

В первый раз мистер Пассмор повел себя странно по отношению ко мне в мужской раздевалке в клубе около двух недель назад, хотя тогда я не обратил на это внимания. Это кажется важным, только когда вспоминаешь. Я снимал свой теннисный костюм, чтобы идти в душ, случайно поднял глаза и увидел мистера Пассмора, который меня разглядывал. Он был полностью одет. Как только наши взгляды встретились, он отвернулся и принялся возиться с ключом от своего шкафчика. Я бы ничего такого и не подумал, если бы перед тем, как поймать его взгляд, я не заметил, что он разглядывает мои половые органы. Не скажу, что это такой небывалый случай, но меня удивило, что это исходило от мистера Пассмора. Я даже подумал, что мне это померещилось, все произошло так быстро. Во всяком случае, я сразу об этом забыл.

Несколько дней спустя я вечером занимался с миссис Пассмор на одном из крытых кортов, а мистер Пассмор внезапно появился, сел и стал наблюдать за нами из-за сетки в конце зала. Я решил, что он договорился встретиться с женой в клубе и пришел пораньше. Я ему улыбнулся, но он не улыбнулся в ответ. Его присутствие,

похоже, беспокоило миссис Пассмор. Она начала делать ошибки в игре, не попадая по мячу. В конце концов она подошла к мистеру Пассмору и заговорила с ним через сетку. Я так понял, что она просила его уйти, но он лишь покачал головой и насмешливо улыбнулся. Она подошла ко мне и, извинившись, сказала, что ей придется прервать занятие. Выглядела она сердитой и расстроенной. Настояла на том, чтобы заплатить за целый урок, хотя прозанималась всего полчаса. Она ушла с корта, даже не взглянув на мистера Пассмора, который так и остался сидеть на скамье, ссутулившись и засунув руки в карманы пальто. Мне было немного неловко выходить мимо него из зала. Насколько я понял, они вроде бы поругались. Я и подумать не мог, что это имеет какое-то отношение ко мне.

Через несколько дней после этого начались телефонные звонки. Телефон звонил, я поднимал трубку и говорил: «Алло?», но никто не отвечал. Спустя какое-то время раздавался щелчок — на другом конце вешали трубку. Это случалось в любое время, иногда среди ночи. Я сообщил об этом в телефонную компанию, но мне сказали, что ничего не могут сделать. Посоветовали на ночь отключать телефон в спальне, что я и сделал,

а внизу поставил автоответчик. На следующее утро были зафиксированы два звонка, но никаких сообщений. Как-то мне позвонили вечером, около девяти часов, и кто-то спросил фальцетом: «Могу я поговорить с Салли? Это ее мать». Я ответил, что, должно быть, набрали неверный номер. Но женщина словно не слышала меня и снова попросила к телефону Салли, говоря, что это очень срочно. Я сказал, что по моему адресу нет никакой Салли. Я это даже не связал с миссис Пассмор, хотя мы и называем друг друга по имени. И хотя голос звучал как-то странно, мне даже в голову не пришло, что кто-то может выдавать себя за другого человека.

Несколько дней спустя меня среди ночи разбудил шум. Ну, вы знаете, как это бывает: когда вы окончательно проснулись, шум уже прекратился, и непонятно, что это было и не почудилось ли во сне. Надев спортивный костюм, потому что всегда сплю голым, я спустился вниз проверить, но никаких следов взлома не заметил. Я услышал, что завелся автомобиль, и, подойдя к парадной двери, успел увидеть, как в конце улицы за угол сворачивает белая машина. В смысле, белой она выглядела в свете уличных фонарей, но могла быть и серебристой. Марку

с такого расстояния мне разглядеть не удалось. Наутро я обнаружил, что кто-то побывал у меня на заднем дворе. Забрались из проулка и повалили стекла, которые стояли, прислоненные к сараю с инструментами: я как раз строю холодный парник. Три листа оказались разбиты. Должно быть, именно этот звук я и услышал.

Еще через два дня, встав утром, я заметил, что кто- то прислонил мою лестницу к стене дома под окном моей спальни. Ее вытащили из-за гаража около садовой ограды, где я ее держу. Вряд ли это была попытка залезть в дом, но я встревожился. Именно тогда я впервые сообщил обо всех инцидентах в ваш участок. Пришел констебль Роберте. Он посоветовал поставить сигнализацию. Я как раз занимался этим вопросом, когда потерял ключи от дома. Обычно в течение дня я держу их в теннисной сумке, потому что они слишком тяжелы для кармана в спортивном костюме, но в прошлую пятницу они исчезли. К этому времени я начал серьезно волноваться, что кто-то пытается ограбить мой дом. И думал, что знаю кто — один человек из клубного персонала. Я лучше не буду его называть. Дома у меня есть несколько кубков, понимаете, а этот человек как-то расспрашивал

меня о них, интересовался их стоимостью. Я договорился со слесарем, чтобы на следующий день он поменял мне замки.

В ту же ночь — было около трех — меня разбудил Найджел, он сжал мою руку и прошептал на ухо: «По- моему, в комнате кто-то есть». Его трясло от страха. Я включил лампу у кровати — на коврике с моей стороны стоял мистер Пассмор с фонариком в одной руке и огромными ножницами в другой. Вид ножниц мне не понравился — большие, страшные, такими работают Драпировщики. Как я упоминал, я всегда сплю голым, Найджел тоже, а для защиты поблизости ничего не было. Я постарался сохранить спокойствие. Спросил мистера Пассмора, что это он, по его мнению, делает. Он не ответил. В полном изумлении он таращился на Найджела. А тот, поскольку был ближе всех к двери, выскочил из постели и побежал вниз звонить по 999. Мистер Пассмор ошеломленно обвел взглядом комнату и сказал:

— Кажется, я ошибся.

— Думаю, да, — согласился я.

— Я искал свою жену, — объяснил он.

— Что ж, ее здесь нет. И никогда не было, — сказал я.

Внезапно все встало на свои места, и до меня

дошло, что происходило, в смысле, в его голове. Я не мог не рассмеяться, и от облегчения, и еще потому, что он выглядел так нелепо, стоя с этими ножницами в руках. Я спросил:

— Что вы собирались ими сделать, кастрировать меня?

— Я собирался укоротить вам волосы, — ответил он.

Я не хочу подавать в суд. Если быть до конца откровенным, я бы не хотел давать в суде показания, которые могут быть напечатаны в местной прессе. Это может нанести ущерб моей работе. Боюсь, некоторые члены клуба несвободны от предрассудков. Я не стыжусь, что я гей, но и не афиширую этого. Живу я на приличном расстоянии от клуба, и никто там ничего не знает о моей личной жизни. Думаю, что мистер Пассмор больше не причинит мне неприятностей, и он предложил заплатить за разбитое стекло.

Эми

Ну вот, случилось самое ужасное. Жена Лоренса хочет жить раздельно. Вчера вечером он позвонил и сказал мне об этом. Я сразу поняла, произошла какая-то катастрофа, потому что

я просила не звонить мне домой, разве что в крайнем случае. Мне приходится подниматься наверх, к телефону в спальне, и Зельда потом всегда спрашивает, кто звонил и зачем, и я боюсь, что, когда я говорю, она снимает трубку на первом этаже. Так сложилось, что Лоренс звонит мне в контору в обеденное время или я звоню ему, когда он у себя на квартире. Я знаю, вы считаете, что мне не стоит скрывать от Зельды свои отношения с Лоренсом, но… Нет, я знаю, что вы этого не говорили, Карл, но это видно. Ну ладно, если вы настаиваете, поверю вам на слово, но, возможно, подсознательно вы меня не одобряете. Я имею в виду, что если я могу сдерживаться, думаю, возможно, что и вы тоже, нет? Или вы уверены, что абсолютно, совершенно, полностью нечеловечески рациональны? Простите, простите. Я очень расстроена, глаз не сомкнула этой ночью. Нет, он не подозревал. Он в полном отчаянии. По-видимому, она просто вошла к нему в кабинет в пятницу вечером и объявила, что хочет жить раздельно. Вот так Сказала, что просто не может больше с ним жить, что он похож на зомби, именно это слово она употребила — зомби. Ну да, должна признать, что он часто немного distrait

[22] [broken link: #_ftn22] но писатели часто такие, уж я-то знаю. Я думала, что она должна была привыкнуть к этому, но, очевидно, нет. Она сказала, что они не общаются и их больше ничего не связывает теперь, когда дети выросли и покинули дом, и нет смысла продолжать жить вместе.

Лоренцо все выходные отговаривал ее, но безрезультатно. Ну, я думаю, сначала он пытался доказать, что с их браком все в порядке: их брак похож на все другие, повторение, Кьеркегор и все такое — я до конца не поняла, он говорил так бессвязно, бедняжка. Да, в последнее время у него почему-то появился пунктик насчет Кьеркегора. Ну неважно. Когда это не помогло, он сменил тактику и сказал, что начнет все с чистого листа, будет разговаривать с ней за едой, интересоваться ее работой, ездить с ней на экскурсии выходного дня и тому подобное, но она ответила, что уже слишком поздно.

Салли. Ее зовут Салли. Я видела ее всего несколько раз, в основном на вечеринках, которые устраивал «Хартленд», и она всегда производила впечатление человека сдержанного и замкнутого. Ей нравилось растягивать одну порцию выпивки на весь вечер и оставаться

трезвой как стеклышко, в то время как все вокруг упивались в стельку. Думаю, это утверждало ее во мнении, что мы, телевизионщики, бесполезная орава бездельников. Привлекательная, если кому нравятся noli me tangere

[23] [broken link: #_ftn23]. Высокие скулы, крепкий подбородок. Немножко похожа на Патрисию Ходж, только более спортивная, умудренная опытом. Ой, я все время забываю, что вы не ходите в театр и не смотрите телевизор. А что же вы делаете в свое свободное время? Ну да, могла бы догадаться… А вы читаете Кьеркегора? Он не в моем вкусе. И Лоренса тоже, если уж на то пошло. Интересно, что он в нем нашел. Нет, Лоренс спросил, есть ли у нее другой, и она ответила, что нет. Я спросила, могла ли Салли заподозрить, что между нами что-то есть, в смысле, что-то большее, чем на самом деле, у нас же совершенно невинные отношения, вы знаете, но он твердо уверен, что не могла. То есть она знает, что мы хорошие друзья, но думаю, вряд ли догадывается, как часто мы видимся помимо работы, и я поинтересовалась, не насплетничал ли кто, не было ли анонимных писем, но Лоренс сказал, что она не упоминала моего имени и ни в чем подобном его не обвиняла. О боже. Quel

cauchmar![24] [broken link: #_ftn24]

Мне следовало догадаться, что о нас все знают. Лоренс — мой самый дорогой друг, во всяком случае из мужчин. Я не хочу видеть его несчастным. Вижу, вы цинично усмехаетесь. Я согласна признать, что причины для огорчения частично продиктованы эгоизмом. Наши отношения делали меня счастливой. Меня они устраивали. Они были интимны, не будучи при этом… Не знаю. Ладно, не будучи при этом сексуальными. Но нет, я не имею в виду сексуальными, или не совсем сексуальными, я имею в виду собственнические чувства, или требовательность, или что-то подобное. В конце концов, наши отношения никогда не были лишены сексуальности. В том, как вел себя со мной Лоренс, всегда присутствовал элемент ухаживания. Да, ухаживания. Но тот факт, что у него счастливый брак — был счастливый брак, — и то, что мы оба это понимали, избавлял наши отношения от потенциальной напряженности. Мы могли наслаждаться обществом друг друга, не думая, хотим ли мы лечь вместе в постель, и не ожидая, что один из нас захочет, понимаете. Я получала удовольствие, наряжаясь для выхода в свет с Лоренсом (наряжаться для выхода в

свет с подругой — это совсем другое) и не держа в голове, что потом мне нужно будет перед ним раздеться. Если вы одинокая женщина и идете куда-то с мужчиной, вы или твердо настаиваете, что будете платить за себя, или вас не покидает неловкое ощущение, что вы влезаете в своеобразный эротический долг, который может быть востребован в любую минуту.

Нет, я понятия не имею, какой была их сексуальная жизнь с Салли. Мы никогда ее не обсуждали. Да, я рассказывала ему о своем опыте с Солом, но он никогда не рассказывал про них с Салли. И я не спрашивала. Меня сдерживала своего рода pudeur

[25] [broken link: #_ftn25]. Pudeur. В конце концов тогда они были женаты, это было бы нескромно… Ну ладно, возможно, я не хотела об этом слышать, боясь, что она окажется из тех женщин, которые способны испытать многократный оргазм с такой же легкостью, как вылущить стручок гороха, и могут выполнить всю Камасутру, стоя на голове. Что в этом смешного? В Камасутре же стоят на голове? Ой, ну ладно, вы же понимаете, что я имею в виду. Я никогда не притворялась, что с сексом у меня все в порядке. Иначе зачем бы я сюда пришла? Но я никогда не ревновала

к Салли. Какая-то часть жизни Лоренса всегда принадлежала ей, да и кое-какая часть его самого. Я просто не хотела об этом слышать. О, я пользуюсь прошедшим временем? Да, точно. Ну, я, конечно же, не думаю, что наши отношения закончились, но, наверное, они изменятся, не могу даже представить как. Разумеется, если только Пассморы не сойдутся снова. Я предложила Лоренсу сходить вместе с женой к консультанту по вопросам семьи и брака, но он лишь произнес со стоном:

— Они пошлют меня на психотерапию, и всё, а я и так хожу.

Я спросила, откуда он знает, что они скажут, и он ответил:

— По опыту.

Похоже, Салли уже пробовала послать к черту их брак Как-то раз она ушла из дому на все выходные — он не знал, куда она делась, — и вернулась, когда он уже звонил в полицию. Несколько дней она ничего не говорила, потому что заболела ларингитом, путешествуя по всему Молвернсу под проливным дождем, но когда голос к ней вернулся, она настояла, чтобы они сходили в консультацию по вопросам брака. Вот так Лоренс и начал ходить на психотерапию.

Раньше он никогда мне об этом не рассказывал. Думаю, ему это было ни к чему, но меня немного расстроило, что все это обрушилось теперь на меня. Думаю, никто никогда никому всего о себе не расскажет. Кроме психоаналитика, конечно…

Ну, я виделась с Лоренсом вчера вечером, в его квартире. Он позвонил мне на работу и сказал, что едет в город, но не хочет есть в ресторане, из чего я сделала вывод, что мне предстоит долгий, мучительный тет-а-тет. После работы я заехала к Фортнуму и купила пирог с заварным кремом и салат. Лоренс ел мало, но выпил очень прилично. Был очень подавлен. Я хочу сказать, что он был подавлен и раньше, но теперь у него появилась для этого особая причина. Да, мне кажется, что он вполне сознает иронию ситуации.

Положение у Пассморов не улучшилось. Салли перебралась в спальню для гостей. Она уезжает на работу рано утром и возвращается поздно вечером, поэтому с Лоренсом ей общаться не приходится. Она обещает поговорить с ним в выходные, а работать и одновременно заниматься его проблемами она якобы не может. По-моему, то, что она говорит «его проблемы» вместо «их проблемы», довольно зловещий признак, вам не кажется? Заметьте, я понимаю, каково ей

разговаривать с Лоренсом в его нынешнем состоянии. Вчера вечером после четырехчасового сеанса я была абсолютно finito

[26] [broken link: #_ftn26]. Как выжатый лимон. А потом, когда я сказала, что должна ехать домой, он попросил меня остаться на ночь. Сказал, что не для секса, просто чтобы полежать обнявшись. С прошлой пятницы он толком не спал, и глаза у него действительно ввалились, у бедняжки. Он сказал:

— Мне кажется, я смогу уснуть, если просто обниму тебя.

Ну, разумеется, об этом даже и речи быть не могло. Оставляя в стороне вопрос о том, хочу ли я, чтобы меня обнимали, и риск, что все это перерастет во что-то другое, я все равно совершенно не могла остаться где- то на всю ночь. Зельда будет страшно волноваться, а если я позвоню ей с какой-нибудь выдуманной историей, она немедленно поймет, в чем дело, она всегда знает, когда я лгу, это одна из ее самых несносных черт. Так получилось, что сегодня утром у нас опять произошла стычка. Да. За завтраком мы страшно поругались из-за мюсли. Не *только* из-за мюсли, конечно. В последний раз, когда я ходила за покупками, в магазине не

оказалось мюсли, которые она любит, и я купила другие. Сегодня утром старые закончились и я поставила на стол новые, Зельда даже не притронулась к ним, потому что туда добавлен сахар. *В микроскопических* количествах, и к тому же коричневый, полезный для здоровья, заметила я, но она все-таки отказалась, а так как мюсли — это единственное, что Зельда ест на завтрак, кроме кофе, то она пошла в школу на пустой желудок, оставив меня с чувством невероятной вины, чего она, разумеется, и добивалась. На прощание она заявила, что я хочу заставить ее есть сахар, потому что она стройная, а я толстая, «отвратительно толстая» — это ее слова, как вы думаете, она права? Нет, я не про то, что я «отвратительно толстая», я совсем не считаю себя толстой, хотя не отказалась бы сбросить пару фунтов. Я имею в виду, неужели я подсознательно завидую фигуре Зельды? О, вы всегда переадресовываете такие вопросы ко мне. Не знаю. Возможно, чуть- чуть. Но я честно не знала, что в этих проклятых мюсли был сахар.

На чем же я остановилась? Ах да, на Лоренсе. Ну так вот, мне пришлось отказать ему, хотя чувствовала я себя ужасно, он выглядел таким удрученным, у него был такой умоляющий

вид, как у собаки, которая просится в дом в дождливую погоду. Я предложила ему принять снотворное, но он ответил, что не хочет, потому что наутро проснется в очень подавленном настроении, а если оно еще усугубится, он опасается, что покончит с собой. Произнося эти слова, он улыбнулся, желая показать, что шутит, но я встревожилась. Он действительно ходил к своему психотерапевту в понедельник, но она не слишком-то ему помогла. Может, тут виноват и сам Лоренс, потому что он ничего не смог припомнить из того, что она ему говорила, когда я спросила его об этом. Не уверена, что вчера вечером он и меня- то слышал. Для него главное высказаться, а не выслушать конструктивный совет. Я чуть не сказала, мол, попробуй сходить к психоаналитику, дорогой, я это де-лаю пять дней в неделю: выплескиваю свою версию произошедшего, ничего не получая взамен. Шучу-шучу, Карл. Да, конечно, я знаю, что подобные шутки — это скрытая форма агрессии…

Ну вот, из огня да в полымя. Салли уехала из дома, и Лоренс теперь там один. Это особняк с пятью спальнями в элитарном жилом районе в пригороде Раммиджа. Я никогда там не была, но он показывал мне фотографии. То, что агенты по

продаже недвижимости называют современным стильным жильем. Затрудняюсь определить стиль. Помесь французской фермы с гольф-клубом. Он удобный и внушительный, но не в моем вкусе. Стоит очень далеко от дороги, в конце длинноватой подъездной дорожки, вокруг много деревьев и кустарников. Как-то раз Лоренс сказал мне:

— Там так тихо, что я мог бы слышать, как у меня на голове растут волосы, если бы они у меня были.

Да, он лысый. Разве я об этом не упоминала? Он над этим подшучивает, но мне кажется, его это задевает. Во всяком случае, мне не нравится, что он там один-одинешенек, в этом доме, как горошина в погремушке.

Насколько я поняла, прошедшие выходные закончились весьма плачевно. Салли сказала, что готова к разговору, но что их беседа должна проходить по регламенту, не более двух часов кряду, и только одно заседание в день. Мне это показалось вполне разумным, но Лоренс не может с этим смириться. Он говорит, что колледж недавно направил ее на курсы менеджмента и она пытается обсуждать супружеский кризис, как производственный конфликт, с повесткой

дня и перерывами. Он сгоряча согласился на это условие, но, когда наступил решающий момент и два его часа истекли, он не мог остановиться. В конце концов она сказала, что, если он не прекратит ее доводить, она уедет из дома, пока он не возьмет себя в руки. И он по глупости сказал: «Хорошо, уезжай, посмотрим, так ли уж я расстроюсь» или что-то в этом роде, и она уехала. Не сказав куда. И до сих пор не объявилась.

Лоренс убежден, что у нее все же есть другой мужчина и что она спровоцировала эту ссору, чтобы перебраться к нему. По его словам, он знает и кто это: инструктор по теннису из спортивного клуба. На Салли это, по-моему, не похоже, но кто знает. Вы помните, я рассказывала, как Сол клялся всеми святыми, что у него никого нет, когда просил развода, а потом я обнаружила, что он уже несколько месяцев спит с Джанин. Лоренс говорит, что Салли решила брать уроки тенниса несколько месяцев назад и вскоре после этого покрасила волосы. Да, мне тоже кажется, что это не связано, но он уверен в обратном, а спорить с ним, когда он в таком состоянии, бессмысленно. На этой неделе он в Лондон не приедет, якобы очень занят. По-моему, у него на уме слежка за инструктором по теннису. Мне это совсем не

нравится, но я не могу не испытывать грешного облегчения, что сегодня вечером мне не придется опять выслушивать его излияния в течение четырех часов.

Лоренс занимает все больше и больше нашего времени, не так ли? Не могли бы вы что-нибудь сказать, чтобы увести меня от этой темы? Как насчет свободных ассоциаций? Они мне нравились, а мы что-то больше ими не занимаемся.

Хорошо. Мать. Моя мать. На кухне в Хайгейте. Дневное солнце светит сквозь замерзшее кухонное окно, отбрасывая пестрый узор на стол и на ее руки. На матери один из этих старомодных передников — из набивной ткани в цветочек и с завязками, которые перекрещиваются сзади и завязываются спереди. Мы вместе режем овощи для рагу или супа. Мне лет тринадцать-четырнадцать. У меня только что начались месячные. Она просвещает меня в вопросе половых отношений. Как легко забеременеть и как осмотрительно я должна относиться к мужчинам и мальчикам. Говорит и рубит морковку, словно отсекает им члены… Интересно, почему я об этом думаю? Наверное, потому, что беспокоюсь за Зельду. Разумеется, я все ей

рассказала про взаимоотношения полов, но могу ли я быть уверена, что она позаботится о противозачаточных средствах, или она воспринимает мои рассказы как поощрение к половой распущенности? Думаете, дело не в этом? А в чем тогда? О Карл, пожалуйста, ну хоть раз выскажитесь, объясните мне. Нет, не надо… я знаю, что на самом деле это про меня и Лоренса, да? О боже…

Ну вот, Салли взяла себе адвоката. Да. Лоренс получил
от него письмо, в котором тот спрашивает, дал ли он своему адвокату указание начать переговоры об урегулировании раздельного проживания. А еще в нем содержалось предложение от Салли ходить в спортивный клуб в разные дни, чтобы избегать неприятных встреч. По-видимому, Лоренс ходит туда и смотрит, как Салли занимается с этим тренером. Она говорит, что он отвлекает ее от игры. Могу себе представить. Разумеется, это только еще больше утвердило его в мнении, что ей есть что скрывать re

[27] [broken link: #_ftn27] этого тренера. Лоренс попросил своего адвоката передать Салли, что если она хочет жить отдельно от него, ей придется рассчитывать на свою зарплату плюс она может

забрать все, что вложила в их совместные накопления, а это, конечно, не так уж много по сравнению с тем, сколько за последние годы заработал Лоренс. По-моему, это дурной знак, что они уже ссорятся из-за денег и прибегают к помощи адвокатов, у нас с Солом это началось, когда дела пошли совсем худо. О боже, в связи со всем этим у меня жуткое ощущение deja vu[28] [broken link: #_ftn28]…

Ну, чем дальше, тем хуже. Лоренс получил судебный запрет на посещение колледжа, где работает Салли, или теперь его называют университетом, университет Вольта или университет Ватта — что-то связанное с электричеством. Ее юрист ответил, что она считает себя вправе рассчитывать на половину их накоплений, потому что многие годы содержала его на свою учительскую зарплату, пока он пытался пробиться как сценарист. Лоренс в неистовой ярости поехал в университет, подстерег Салли у ее кабинета и устроил сцену. Она сказала ему, что он сошел с ума. Что ж, я думаю, вполне возможно, вот ведь бедняжка. Поэтому Салли добилась судебного запрета, и, если он снова туда придет, его арестуют. Ему не разрешается подходить к этому месту ближе

чем на милю. Это особенно выводит его из себя, потому что теперь он не может проследить за ней, когда она уезжает с работы, и выяснить, где она живет. Он продолжает наблюдать за домом инструктора по теннису, но пока ему не везет. Он говорит, что это всего лишь вопрос времени — он их поймает. Я думаю, он имеет в виду in flagrante [29] [broken link: #_ftn29]. Одному богу известно, что будет, если он их застукает. Если дело дойдет до рукопашной, Лоренсу до тренера далеко…

Ну, кажется, у Салли все же нет никакого романа, во всяком случае не с инструктором по теннису. Он, по всей видимости, голубой. Да. Должна признаться, что мне стоило больших усилий не расхохотаться, когда Лоренс сказал мне об этом. Понятия не имею, откуда он знает, по телефону он говорил как-то уклончиво, но это точно. Тон у него был такой подавленный, у бедняжки. Пока Лоренс подозревал этого инструктора, то он и был для него объектом злости и гнева. Нельзя ненавидеть неизвестно кого. Как бы то ни было, кажется, он начинает думать, что Салли, может, и вправду захотела жить отдельно — просто потому, что больше не в силах жить с ним. Это не способствовало повышению его самооценки. Помню, как, узнав

про Джанин, я не только пришла в полную ярость, но и вздохнула про себя с облегчением — значит, я не должна винить в крахе нашего брака себя. Или не только себя.

Новый неприятный для Лоренса поворот дела состоит в том, что теперь о разрыве знают и дети. Он считает, это своего рода Рубикон. Пока они не знали, оставалась надежда, что он и Салли еще могут снова сойтись, не нанеся друг другу серьезного ущерба, не испытывая неловкости, сохранив лицо. Когда Салли уходила, последнее, о чем он ее попросил — он рассказывал, что бежал по дорожке за ее автомобилем, стуча по стеклу, чтобы она его опустила, — последнее, о чем он ее попросил: «Не говори Джейн и Адаму». Разумеется, рано или поздно они должны были узнать. Салли, вероятно, сообщила им почти сразу же, но Лоренс только теперь узнал, что они в курсе. Они оба ему позвонили. Изо всех сил стараясь сохранять нейтралитет. Но что его больше всего поразило — они, похоже, не так уж и расстроились и даже не сильно удивились. Мне ясно, что Салли, должно быть, уже откровенничала с ними в течение какого-то времени, подготавливая к тому, что должно случиться. Думаю, это тоже начинает доходить

до Лоренса.

— У меня такое чувство, будто я жил во сне, — сказал он, — и только что проснулся. Но, проснувшись, очутился в кошмаре.

Бедный Лоренцо. Кстати о снах, этой ночью мне приснился очень странный сон…

Ну, свершилось, я так и знала, предчувствовала: Лоренс хочет со мной спать. Не просто обнимать меня. Заниматься сексом. Зверь с двумя спинами. Это одно из выражений Сола, не притворяйтесь, что никогда его раньше не слышали, Карл. Откуда-то из Шекспира. Не могу вспомнить, из какой пьесы, но уверена, что это Шекспир. Не более странное выражение, чем другие расхожие фразы. «Спать с кем-то», например. Я была знакома с девушкой по имени Мюриэл, которая, говоря, что спит со своим боссом, имела в виду, что занимается с ним этим во время обеда на заднем сиденье «ягуара» в Эппинском лесу. Не думаю, чтобы они хоть на секунду сомкнули глаза.

Лоренс заговорил об этом вчера вечером за ужином. Наверное, я должна была насторожиться, когда он повел меня в «Рулз» вместо нашей обычной траттории. И предложил взять омара. К тому же мы ужинали рано и ресторан был

наполовину пуст, иначе люди просто падали бы со стульев, стараясь нас послушать. Он заявил, что не пытался заниматься со мной любовью только по той причине, что верил в верность в браке, и я tout de suite

[30] [broken link: #_ftn30] вставила, что вполне его понимаю и уважаю за это. Он сказал, что с моей стороны очень великодушно понимать его точку зрения, но у него такое чувство, будто он в некотором роде эксплуатирует меня, наслаждается моей компанией без всяких обязательств и что теперь, когда Салли его бросила, нет никаких причин, почему нам надо продолжать сдерживать себя. Я ответила, что совсем не ощущаю себя эксплуатируемой и что мне не приходится сдерживаться, коль на то пошло. Ну, не так прямо, конечно.

Я попыталась объяснить, что ценю наши отношения именно за то, что в них нет сексуального подтекста, а следовательно, нет напряжения, тревоги, ревности. У него сделался удрученный вид, и он спросил:

— Ты говоришь, что не любишь меня?

И я ответила:

— Дорогой, я не позволяла себе любить тебя в этом смысле.

— Ну что ж, теперь можешь, — сказал он.

И я спросила:

— Предположим, я позволю себе, а потом вы с Салли снова сойдетесь, что тогда?

Он очень мрачно произнес, что не может себе этого представить. Отношения между ними все ухудшаются. Теперь Салли говорит о разводе, потому что Лоренс отказывается обсуждать финансовую сторону добровольного раздельного проживания, что очень глупо с его стороны. Адвокат Лоренса сказал ему, что Салли получит половину их совместных сбережений и до трети их совместного дохода в качестве алиментов по бракоразводному соглашению. Лоренс считает, что она вообще ничего не должна получить, потому что это она его оставила. Адвокаты только успевают обмениваться письмами. А теперь он хочет спать со мной.

И что же мне делать? О, я знаю, что вы мне не скажете, это просто риторический вопрос. Собственно, риторический вопрос — это вопрос, ответ на который подразумевается, верно? А ответа на данный вопрос я не знаю. Лоренсу я сказала, что подумаю, и слово свое сдержала, прошлой ночью я почти ни о чем другом не Думала, но я не знаю, что делать, правда не знаю.

Я обожаю Лоренса и хочу помочь ему преодолеть этот кризис. Я сознаю, что он просто ищет утешения, и мне жаль, что я не из тех женщин, олицетворяющих материнское начало, женщин с золотым сердцем, которые в фильмах щедро отдают свои тела приятным мужчинам, стоит им только подмигнуть, но я не такая. По счастью, Лоренс остается восхитительно учтивым. Когда «Рулз» стал заполняться, потому что вечерние спектакли закончились, мы вернулись к нему на квартиру и еще немного поговорили, но он не приставал, даже попытки не сделал. А когда он меня провожал, случилось странное происшествие. Лоренс всегда спускается вместе со мной в лифте и сажает в такси. Когда мы открыли дверь на улицу, то увидели у входа какого-то юного бродягу, каких встречаешь сейчас повсюду, он сидел в спальном мешке. Нам пришлось практически перешагнуть через него, чтобы выйти на тротуар. Ну, я просто не обратила на него внимания, по-моему, это безопаснее всего, но Лоренс с ним поздоровался, словно его присутствие здесь не было чем-то неуместным, словно этот человек или, скорее, юноша был ему знаком. Пока мы стояли на тротуаре, поджидая такси, я тихонько спросила у Лоренса: «Кто это?»,

и он ответил: «Грэхэм». Как будто он его сосед или вроде того. Потом подъехало такси, и я больше ни о чем не успела его спросить. По-моему, этой ночью мне все это приснилось…

Ну, наверное, то, что я не случайно в прошлый раз употребила в отношении Лоренса выражение Сола «зверь с двумя спинами» — вы к этому клоните? Что я боюсь секса с Лоренсом, потому что секс с Солом оказался полной катастрофой. Но трусость это или здравый смысл?

Я знаю, вы считаете ненормальным, что после развода я ни с кем не занималась сексом. Нет, я знаю, что прямо вы этого не говорили — когда вы хоть что-нибудь говорили прямо? Но я умею понимать то, что не сказано. Например, вы называете мои отношения с Лоренсом чем-то вроде mariage blanc

[31] [broken link: #_ftn31]. Ну нет, я абсолютно уверена, что это вы сказали, а не я. В любом случае я отчетливо помню ваше предположение, что я использую свои отношения с Лоренсом в качестве алиби. И я ответила, что мы достигли такой близости, что секс с кем-то другим будет казаться изменой. И это правда.

И конечно, надо считаться с Зельдой. Если я решу лечь в постель с Лоренсом, догадается ли

она? Смогу ли я утаить это от нее? Нужно ли мне скрывать это от нее? Не толкнет ли ее это в объятия какого-нибудь распутного прыщавого юнца? Вы как-то раз намекнули, что я не примирилась с тем, что рано или поздно у нее начнется сексуальная жизнь. Что пока она несовершеннолетняя, я могу оправдывать защиту ее девственности родительской ответственностью, но что со временем она превратится в молодую взрослую женщину и решит заняться с кем-нибудь сексом, и что я никак не смогу предотвратить это, и поэтому лучше смириться, но я не смогу этого сделать, если у меня самой не будет нормальных сексуальных отношений. Так, может быть, это посланный мне с небес удобный случай снова стать полноценной женщиной, с вашей точки зрения, верно?

Но в глубине души я думаю и о другом. О возможности брака. Если Салли с Лоренсом разведутся, для нас будет вполне логично пожениться. Нет, вряд ли, иначе он про это сказал бы, когда на днях пытался меня соблазнить. Может, именно поэтому он повел меня в «Рулз», ведь padrona

[32] [broken link: #_ftn32] итальянского ресторана, куда мы обычно ходим, всегда поет

хвалы браку, бросая Лоренцо намеки, что он должен сделать из меня честную женщину, - она не знает, что он уже женат. Думаю, что втайне или подсознательно он по-прежнему ужасно хочет примириться с Салли. Он горько жалуется на ее поведение, но мне кажется, что, если бы она согласилась начать с ним новую жизнь, он помчался бы к ней, виляя хвостом. На этот счет я никаких иллюзий не питаю. Но если она настроена серьезно, если она окончательно порвала с ним, тогда я не сомневаюсь, что он захочет жениться снова. Я понимаю ход его мыслей лучше, чем он сам. Он из тех, кто должен жить в браке. А на ком ему жениться, как не на мне?

Я попыталась представить, что из этого получится. Сначала Зельда будет сопротивляться, но, думаю, в конце концов примет его. Для нее полезно, если в доме будет взрослый мужчина, полезно для нас обеих. Перед глазами у меня встала слегка слащавая, размытая картинка: мы все трое на кухне, Лоренс помогает Зельде делать домашнее задание за кухонным столом, а я с доброй улыбкой стою у «Аги». Поскольку у нас нет «Аги», наверное, это свидетельствует о том, что я хочу сменить дом. Сколько бы Салли ни получила

по бракоразводному договору, Лоренс все равно останется весьма состоятельным мужчиной. Знаете, едва забрезжит возможность нового замужества, начнешь мечтать и не заметишь, как уже выбираешь ткань на занавески для своего летнего коттеджа в Дордони. Но мне пришло в голову, что если в один прекрасный день Лоренс поставит так вопрос, то хорошо к тому времени уже знать, подходим ли мы друг другу, в смысле физически, правда? Или вы так не считаете?

Я уверена, что в любом случае это будет приятный опыт. Лоренс такой милый и нежный. Сол всегда слишком много командовал в постели. Сделай то, сделай это, быстрее, медленнее. Он руководил процессом, словно мы снимали порнофильм. С Лоренсом все будет по-другому. Он не ждет от меня никаких извращений… по крайней мере я так думаю. Да, Карл, я знаю, что это субъективное мнение…

Ну, видели вы этот материал в «Паблик интерест»? Последний выпуск, вышел вчера. Нет, думаю, не видели, хотя все остальные, кого я знаю, читают эту газетку с жадностью. При этом, само собой, притворяясь, что презирают ее. Там есть колонка сплетен из мира масс-медиа, которая называется «ЗК». Это сокращенно «За

кадром». Они каким-то образом пронюхали про историю Лоренса с инструктором по теннису. Да. Похоже, Лоренс таки проник среди ночи в дом этого человека, надеясь застать его в постели с Салли, а застал с каким- то мужчиной. Вы можете себе представить? Нет, я понятия об этом не имела, пока сама не прочла эту гадость. Вчера утром Гарриет вошла ко мне в кабинет и, не говоря ни слова, положила на стол последний выпуск, открытый на странице с «ЗК». Я так и обалдела, когда прочитала. Потом позвонила Лоренсу, но его агент уже сообщил ему. Он сказал, что по сути все изложено верно, только в руках у него были ножницы, а не «фомка». Не представляю. Вроде как он собирался укоротить этому мужчине волосы — «конский хвост». Об этом сия бульварная газетенка тоже ни словом не обмолвилась. Нечего и говорить, что в целом вся заметка выдержана в жестоко насмешливом тоне. «Пузан Пассмор, облысевший автор хартлендского ситкома «Соседи», недавно оказался в гораздо более смешной ситуации, чем все, что он придумал сам…» И все в таком духе. И рядом карикатура на него в виде… как его там… греческого бога, который был женат на Венере и застал ее в постели с Марсом… Вулкан, вот как его

звали. Нарисовано в стиле старинной живописи, «в подражание Тициану», или Тинторетто, или кому-то там еще, как значилось в подписи. Бедняга Лоренцо — очень толстый, лысый и в тунике, а инструктор со своим дружком — голышом, переплелись на постели, и у всех страшно смущенный вид. Вообще-то довольно остроумно, если только это не касается тебя лично. Лоренс не знает, как они это разнюхали. Инструктор по теннису не стал подавать в суд, чтобы не афишировать свою личную жизнь, поэтому источник явно не он. Ему повезло, что в заметке не называют его имени. Но ведь звонили в полицию, так что, вероятно, кто-то из них и продал эту историю газете. Лоренс в отчаянии. У него такое чувство, будто над ним потешается весь мир. Он не смеет показаться ни в «Граучо», ни в теннисном клубе, нигде, где его знают в лицо. Карикатура, похоже, ранила его особенно глубоко. Он разозлился, поискал в словаре историю про Венеру, Марса и Вулкана и обнаружил, что Вулкан хромал. Он, похоже, считает, что это дьявольски продуманный штрих, хотя я думаю, что это просто совпадение. Да, у Лоренса болит колено, разве я не говорила? Ни с того ни с сего внезапная боль пронзает

коленный сустав. Он сделал операцию, но боль вернулась. Уверена, что это психосоматика. Я спрашивала его, не помнит ли он какой-нибудь детской травмы, ассоциирующейся с коленом, но он ответил, что нет. Что, кстати, напомнило мне одно происшествие, приключившееся со мной, когда я была маленькой девочкой…

Ну, я сказала Лоренсу, что согласна. Спать с ним, разумеется. Да. Он был в такой глубокой депрессии из-за статейки в «Паблик интерест», что я должна была его как-то поддержать. Нет, конечно, у меня были и другие мотивы. Да, я уже и так на это решилась. Ну, почти. История с газетой стала последней каплей. Так что я беру на работе два выходных, и мы устраиваем длинный уик-энд. Через неделю. Уезжаем в четверг вечером и возвращаемся в понедельник днем. Поэтому мне придется пропустить наши встречи в пятницу и в понедельник. Да, я знаю, Карл, что заплатить за них придется, я помню вашу маленькую речь, произнесенную, когда мы начинали. Что ж, если вы ощущаете в моих словах нотку враждебности, боюсь, вы не ошиблись. Учитывая, что за три года я не пропустила, пожалуй, ни одного сеанса, думаю, вы могли бы отказаться в этом случае от гонорара, в конце концов, это можно считать

экстренным случаем. Спасением рассудка Лоренса. Думаю, он оплатил бы ваш счет, если бы я попросила, но вы, вероятно, этого не одобрили бы, да?

Еще не знаю, этим занимается Лоренс. Я сказала, все равно куда, лишь бы за границу, и предпочтительнее в теплые края. Я решила, что нам надо куда-нибудь уехать. Мой дом, само собой, сразу отпадает, и в его квартире тоже не совсем удобно, по крайней мере для первого раза. Она очень маленькая, и иногда возникает ощущение, будто весь этот омерзительный Уэст-Энд давит на стены и окна, пытаясь ворваться внутрь: ресторанные запахи, шум транспорта, туристы и бродяги… Да, я спросила его о том молодом бездомном. Похоже, он начал разбивать лагерь на крыльце у Лоренса несколько недель назад. Лоренс попытался от него избавиться, но, совершенно в Лоренсовом духе, закончил тем, что пригласил его на чашку чая. Неверный шаг. Затем он дал ему денег, чтобы тот нашел себе ночлег. Очень неверный шаг. И конечно, этот юнец снова там появился в расчете на новые largesse

[33] [broken link: #_ftn33]. Лоренс заявляет, что больше ничего ему не давал, но не сомневаюсь,

что он больше не пробовал от него избавиться. Я посоветовала сделать это с помощью полиции, но он отказался.

— Он ничего плохого не делает, — объяснил он. — И отпугивает грабителей.

Что, видимо, правда. Большую часть времени в квартирах никого нет. Но я подозреваю, что Лоренс позволяет ему там оставаться, потому что одинок. Лоренс одинок. Мне кажется, ему нравится, что, входя и выходя из дома, можно с кем-то поздороваться, с кем-то, кто не читает «Паблик интерест». Кстати, прошлой ночью мне приснился сон про ту карикатуру. Венера, Сол в виде Марса и Лоренс в виде Вулкана. Что вы на это скажете?

Ну, боюсь, мы летим на Тенерифе. Лоренс пошел в турагентство и сказал, что хочет куда-нибудь за границу, где потеплее, но чтобы путь был не слишком долгим, и они предложили ему Тенерифе. Теперь я жалею, что не взялась за дело сама. Лоренс в этом практически не разбирается. Их отдыхом всегда занималась Салли. Канарские острова — мило звучит, но это одно название — ни от кого, кто там побывал, я ни разу не слышала о них доброго слова. А вы? Не были там. Думаю, и не поедете. Гарриет один

раз ездила на Гран-Канарию и говорила, что там было отвратительно, хотя вчера и отказывалась от своих слов, чтобы не расстраивать меня. Возможно, Тенерифе окажется поприятней. Ну ладно, мы туда всего на несколько дней, и там хотя бы будет тепло.

Зельде я сказала, что уезжаю по делам — якобы Лоренс перенес одну из серий «Соседей» на Канары, про комплексный тур, и нам нужно подобрать для съемок кого-то из местных жителей. Предлог, конечно, неправдоподобный. Не сама идея о Канарах, потому что изредка действительно
снимают на натуре, и, надо сказать, Лоренс даже увлекся идеей про комплексный тур, представив, как Спрингфилды просыпаются в свой первый день в отеле, довольные, что на две недели избавились от Дэвисов, и тут же обнаруживают, что те завтракают на соседнем балконе, может, он действительно напишет об этом, если будет новый блок серий, — но моя поездка туда для кастинга, особенно на этой стадии, сомнительна, если вы что-нибудь понимаете в нашем деле. Зельда ничего не заподозрила, что уже подозрительно. Не могу отделаться от мысли, что она догадывается — эта поездка связана не

только с работой, но должна признать, ведет она себя как ангел. Она охотно советует мне, какую одежду взять. Мы как будто поменялись ролями, так странно, можно подумать, что она помогает мне собирать trousseau

[34] [broken link: #_ftn34]. Я договорилась, чтобы Зельда провела эти выходные у своей подруги Серены, и поэтому она пребывает в хорошем настроении. А мать Серены женщина разумная, так что мне не придется волноваться, что девочки наделают глупостей. В общем и целом, с нетерпением жду путешествия. Несколько дней la dolce vita[35] [broken link: #_ftn35] мне не помешают.

Ну, если говорить прямо, мои распутные выходные закончились плачевно в своей распутной части. Да и отдохнуть тоже не удалось. Вы когда-нибудь были на Тенерифе? Да, вы говорили, я помню. Ну так вот, если выбирать между сибирскими соляными копями и четырехзвездочным отелем в Плайя-де-лас-Американас, я не глядя выберу Сибирь. Плайя-де-лас-Американас — это название курорта, куда мы ездили. Лоренс выбрал его по брошюре в туристическом агентстве из-за того, что он находится рядом с аэропортом, а мы прилетали

поздно вечером. Что ж, в этом был свой смысл, но оказалось, что гаже местечко трудно себе представить. «Плайя» по-испански «пляж», разумеется, но пляжа там не было, во всяком случае я бы это пляжем не назвала. Просто полоска черной грязи. Все пляжи на Тенерифе черные, они похожи на фотонегативы. По сути, весь остров — это огромная глыба кокса, а пляжи — порошкообразный кокс. Вулканический, понимаете? В центре острова действительно находится огромный вулкан. К несчастью, потухший, иначе бы он стер с лица земли Плайя-де-лас-Американас. Вот тогда его стоило бы посетить — как Помпеи. Живописные бетонные руины с туристами, которые обуглились, дефилируя во влажных майках и заливая в глотку сангрию.

Видимо, еще несколько лет назад это был всего лишь участок каменистого голого берега, затем некие строители решили воздвигнуть здесь курорт, и теперь это Блэкпул на берегу Атлантического океана. Здесь есть безвкусная главная улица, которая называется авенида Литорал и которая всегда забита транспортом, а расположенные на ней бары, кафе и дискотеки — вульгарнее не придумаешь — круглые сутки мигают огнями, изрыгают оглушительную

музыку и жирные запахи готовящейся еды, и, кроме этого, там ничего нет — высотные отели и таймшеровские апартаменты квартал за кварталом. Бетонный кошмар, ни деревьев, ни травы.

Весь этот ужас мы осознали не сразу, потому что, когда мы прилетели, было темно, а такси повезло нас от аэропорта подозрительно длинным путем, как мне тогда показалось, но теперь я думаю, что водитель просто не хотел нас пугать авенидой Литорал в самый первый вечер. Во время этой поездки мы только обменялись замечаниями, как тепло и какой влажный воздух. Да и говорить-то было не о чем, потому что ничего не было видно, пока мы не подъехали к окраине Плайя-де-лас-Американас, а то, что мы там увидели, беседе не способствовало: пустынные строительные площадки, застывшие подъемные краны и черные утесы многоквартирных домов с редкими квадратами освещенных окон, а снаружи виднелись надписи «De Venta»

[36] [broken link: #_ftn36], а затем длинная магистраль, вдоль которой выстроились гостиницы. Все было сделано из железобетона и освещалось жиденьким желтоватым светом уличных фонарей, и вид был такой, словно

строили наспех, на позапрошлой неделе. Я ощущала, как Лоренс все больше и больше съеживается в своем углу на заднем сиденье автомобиля. Мы оба уже поняли, что приехали в Дыру, но не могли заставить себя признаться в этом. С момента приземления мы находились в страшном напряжении: помня, ЗАЧЕМ мы сюда приехали, и волнуясь за исход дела, мы боялись неудачным словом выдать разочарование, охватившее нас при виде места действия.

Я утешала себя тем, что, по крайней мере, отель просто обязан быть хорошим. Лоренс заверил меня, что это четыре звезды. Но четыре звезды на Тенерифе — это не то, что четыре звезды в Англии. Четыре звезды на Тенерифе — это гостиница чуть выше среднего уровня, предназначенная для комплексных туров. Страшно представить, на что похожа на Тенерифе однозвездочная гостиница. Когда мы вошли в вестибюль и увидели покрытый виниловой плиткой пол, диваны с пластиковым покрытием и пыльные гевеи, чахнувшие под лампами дневного света, сердце у меня упало — а оно и так уже находилось где-то в районе коленок. Лоренс зарегистрировал нас, и мы в молчании проследовали за носильщиком к лифту. Наш номер оказался пустоватым и функциональным,

достаточно чистым, но в нем сильно пахло дезинфекцией. Кроватей было две. Лоренс в смятении посмотрел на них и сказал носильщику, что заказывал номер с двуспальной кроватью. Тот ответил, что в гостинице во всех номерах по две односпальных кровати. Плечи Лоренса поникли еще больше. Когда носильщик ушел, он со скорбным видом извинился и поклялся отомстить сотруднику агентства, когда вернется домой. Я храбро заявила, что это не страшно, и, открыв раздвижное окно, вышла на маленький балкончик. Внизу распластался бассейн — причудливых очертаний, как пятно из тестов Роршаха, — в окружении искусственных скал и пальм. Вода подсвечивалась изнутри и сияла в ночи ярко-голубым. Из всего, что мы увидели, он единственный имел отдаленное отношение к романтике, но впечатление портил мощный, как в общественных банях, запах хлорки, исходивший от воды, и глухие удары басов из дискотеки, которая гремела в этот поздний час. Я закрыла ставни и включила кондиционер. Лоренс сдвигал кровати, их ножки со страшным визгом ехали по плиткам пола, и тут же стало очевидно, что в номере отнюдь не так чисто, как показалось с первого взгляда: за прикроватными

тумбочками лежала пыль, еще мы обнаружили, что шнуры ламп до розеток с нового места не дотянутся, поэтому все закончилось тем, что мы вернули кровати на прежнее место. В душе я обрадовалась, мне так легче было предложить, чтобы мы немедленно легли спать. Было уже поздно, я безумно устала и чувствовала себя такой же сексуальной, как пакет брюссельской капусты. Думаю, Лоренс чувствовал себя не лучше, потому что с готовностью согласился. Ванной комнатой мы воспользовались, соблюдая приличия, по очереди, а затем целомудренно поцеловались и улеглись каждый в свою постель. В ту же секунду сквозь тонкую простыню я ощутила, что матрас обернут полиэтиленом. Вы можете в это поверить? Я думала, что на матрасы с клеенкой кладут только младенцев и стариков, страдающих недержанием. Оказывается, не только — туристов из комплексных туров тоже. Вижу, что вы волнуетесь, Карл, вы хотите знать, мы все же СДЕЛАЛИ ЭТО или нет, верно? Что ж, придется вам набраться терпения. Это моя история, и я собираюсь рассказывать ее, как считаю нужным. Да? Уже? Ладно, тогда до завтра.

Ну и что же, как вы думаете, произошло?

Ни за что не угадаете. Салли вернулась в их дом в Раммидже, объявив, что собирается в нем жить, ведя раздельное хозяйство. Да, вот так это называется, «раздельное хозяйство», признанный юридический термин. Это означает, что вы живете в супружеском доме, пока длится бракоразводная процедура, но не вместе. Не сожительствуете. Лоренс вернулся вчера домой — он переночевал в своей лондонской квартире — и нашел там Салли, которая дожидалась его с отпечатанным списком предложений, как им следует поделить дом, кто какую спальню занимает, в какие часы каждый из них пользуется кухней и в какие дни стиральной машиной. Салли весьма недвусмысленно дала понять, что обстирывать Лоренса не собирается. Она уже захватила хозяйскую спальню вместе с en suite

[37] [broken link: #_ftn37] ванной и врезала в дверь спальни новый замок. Все рубашки, костюмы и вещи Лоренса очень аккуратно перенесены и сложены в гостевой спальне. Он просто в бешенстве, но его адвокат говорит, что поделать ничего нельзя. Салли ловко выбрала момент. Она спросила, можно ли будет в выходные забрать кое-какую одежду, и он сказал - пожалуйста, в любое время, потому что

его не будет, а у нее, разумеется, ключ от дома есть. Но вместо того чтобы забрать одежду, она поселилась там, когда его не было и он не мог ей помешать. Нет, она не знает, что он был на Тенерифе со мной. На самом деле она *не должна* узнать.

Ах да, на чем же я остановилась? Ну, в первую ночь ничего не произошло, как я сказала, за исключением того, что мы спали в разных постелях — причем, несмотря на матрасы для больных недержанием, довольно долго, потому что очень устали. Завтрак мы заказали в номер. Ничего хорошего: консервированный апельсиновый сок, влажные круассаны, по вкусу напоминавшие картон, джем и мармелад в маленьких пластиковых емкостях — как в самолете. Мы хотели было поесть на нашем балкончике, но солнце, которое немилосердно жарило с самого утра, загнало нас назад. Балкон выходит на восток, но там нет ни тента, ни зонта. Поэтому мы поели в номере при закрытых окнах. Лоренс перечитал «Ивнинг стандарт», который купил накануне в Лондоне. Предложил мне часть, но чтение за завтраком в этой ситуации показалось мне не совсем comme il faut

[38] [broken link: #_ftn38]. Когда же я позволила

себе подшутить над этим, он озадаченно нахмурился
и сказал: «Но я всегда читаю за завтраком газету», как будто это был фундаментальный закон природы. Удивительно, но если вы вынуждены делить с кем-то жизненное пространство, вы сразу начинаете видеть этого человека совершенно в другом свете и многое неожиданно начинает вас раздражать. Это напомнило мне о первых месяцах моего замужества. Помню, как я была потрясена тем, что Сол выходит из туалета, оставляя на унитазе следы говна, как будто никто не объяснил ему, зачем нужен ершик, и, разумеется, прошло много лет, прежде чем я смогла заставить себя указать ему на это. Хождение в туалет на Тенерифе тоже, между прочим, было похоже на кошмар, но чем меньше об этом будет сказано, тем лучше.

Мы решили провести наше первое утро, нежась у… Ах да, вы хотели бы об этом узнать, не так ли? Что ж, окна в ванной комнате не было, как всегда в современных отелях, а вытяжка, похоже, не работала, во всяком случае она не производила никакого шума, поэтому после завтрака я постаралась пойти в ванную первой. В свете нашей предыдущей дискуссии о туалетном

воспитании вас не удивит, как бы это сказать, что когда мне удалось сделать большие дела, то стул у меня был в виде довольно маленьких, жестких, плотных катышков. Вы уверены, что хотите слушать дальше? Ну так вот, дело в том, что этот тенерифский туалет просто оказался не в состоянии с ними справиться. Когда я дернула цепочку, они весело заплясали на поверхности воды, как коричневые резиновые шарики, отказываясь исчезать. Я продолжала дергать цепочку, а они продолжали качаться на поверхности. Это к вопросу о возвращении подавленного. Я была вне себя. Ведь я не могла выйти, не избавившись от них. То есть не очень-то приятно увидеть плавающие в унитазе какашки другого человека, и естественно, это может несколько охладить любой романтический порыв, вам так не кажется? Я не могла заставить себя извиниться, или объяснить это Лоренсу, или превратить это в шутку. Для этого нужно быть замужем за человеком хотя бы пять лет. Лучше всего было выплеснуть в унитаз большое ведро воды, но единственной емкостью в ванной комнате была мусорная корзина из пластмассовых кружев. В конце концов я избавилась от своих катышков, по одному

пропихнув их щеткой для унитаза, и впредь я бы вполне обошлась без подобных упражнений.

Ну вот, как я говорю, мы решили в наше первое утро понежиться у бассейна. Но когда мы туда спустились, все шезлонги и зонты оказались заняты. Вокруг повсюду лежали, распластавшись, люди, рискуя получить рак кожи. У Лоренса кожа очень светлая, а торс порос немыслимым количеством волос, которые впитывают лосьон от загара, как промокашка, но все вредные лучи пропускают. Я загораю легко, но в последнее время прочла в женских журналах столько леденящих кровь статей о воздействии излучения на нашу кожу, что теперь боюсь оголить хотя бы дюйм. Единственным клочком тени был неприглядный лоскуток травы у самой ограды отеля и в нескольких милях от бассейна. Там мы посидели на полотенцах, но недолго — было неудобно, — и я стала возмущаться теми, кто занимает шезлонги, бросив на них свои вещи, а сам уходит на завтрак. Я предложила Лоренсу реквизировать пару пустующих шезлонгов, но он отказался. Мужчины в подобных вещах такие трусы. Поэтому я сделала это сама. Под пальмой стояли рядом два шезлонга, на них лежали сложенные полотенца, поэтому я просто

переложила полотенце с одного шезлонга на второй и с комфортом разместилась. Минут через двадцать пришла женщина и сердито на меня уставилась, но я притворилась спящей и через пару минут, взяв оба полотенца, она ушла, а Лоренс довольно робко подошел и улегся на второй.

Эта маленькая победа ненадолго привела меня в хорошее настроение, но вскоре оно испарилось. Я не очень люблю плавать, и Лоренсу приходится быть осторожным из-за колена, да и в бассейне, который с балкона выглядел очень привлекательно, плавать было не слишком приятно — неправильной формы, переполненный шумными детьми и воняющий хлоркой. Я где-то читала, что пахнет не сама хлорка, а ее химическое соединение с мочой, так что эти дети, должно быть, наперебой писали в воду и без конца ходили подзарядиться к автомату с кока-колой. После того как мы окунулись, заняться было больше нечем, кроме как читать, а эти дешевые лежаки совсем не приспособлены для чтения, у них даже не поднимается спинка. Стальной трубчатый каркас немного загибается кверху в конце, но не настолько, чтобы поддерживать голову на

удобной для чтения высоте, поэтому приходится держать книгу над собой, и через пять минут у вас уже отваливаются руки. Я привезла с собой «Обладание» А.С.Байетт, а Лоренцо взял что-то Кьеркегора, кажется «Страх и трепет», что было не очень кстати в данной ситуации. Что за люди останавливались в этом отеле, можно было судить по тому, что они читали: Даниэллу Стил, Джеффри Арчера и английские таблоиды, которые приносят до обеда. Большинство туристов показались мне рабочими из Льютона, но я ничего не сказала, потому что у Лоренса пунктик насчет столичного снобизма.

Ни он, ни я не привезли с собой полотенец, полагая, что в четырехзвездочном отеле недостатка в них не будет, но мы ошибались — в номере оказалось всего по одному небольшому полотенцу на человека, поэтому мы решили прогуляться и заодно сделать покупки. Еще нам нужны были панамы и резиновые шлепанцы, потому что бетон вокруг бассейна уже накалился, как адская сковородка. Поэтому мы снова оделись и вышли под полуденное солнце, лучи которого отражались от тротуаров и от стен таймшеровских зданий, как лазерные лучи. Судя по плану города, висевшему в отеле, мы

находились всего в паре кварталов от моря, поэтому хотели пойти в том направлении и поискать магазин пляжных принадлежностей, но ни пляжа, ни магазина там не было, а только низкая стена в конце тупика, а за ней внизу нечто похожее на узкую полоску угольной крошки, взбалтываемой морем. Мы развернулись и пошли назад, к основной магистрали, где нашли маленький торговый центр, построенный почему-то под землей, отвратительный туннель из магазинов, продающих сувенирную дребедень и необходимые туристам вещи. Купить что-либо, на чем не красовалась бы надпись «Тенерифе» или карта острова, не было никакой возможности. Что-то во мне взбунтовалось против покупки полотенца, смотреть на которое дома меня не заставят и под дулом пистолета, поэтому мы пошли вдоль главной дороги до центра города, поискать, где выбор побольше. Прогулка обернулась пешим переходом значительно больше мили под палящим солнцем. Сначала было скучно, потом просто кошмар. Особенно жутким был участок авениды Литерал, который называется Вероникас, — он напичкан барами, клубами и ресторанами, предлагающими «паэлью и чипсы»

и «фасоль на тосте». Большинство этих заведений привлекали клиентов ревущей из динамиков музыкой диско или записанными на видео старыми британскими ситкомами, которые на максимальной громкости показывали по телевизорам, укрепленным на стенах. На мой взгляд, это изобличает полную несостоятельность Плайя-де-лас-Американас как курорта. Все эти бритты, сидящие себе на потухшем вулкане посреди моря за две тысячи миль от дома и потягивающие спиртное под старые серии «Овсянки», «Лишь дураков да лошадей» и «Это и вполовину не так круто, мама».

— Ты когда-нибудь видел более жалкое зрелище? — спросила я Лоренса, и тут мы оказались у кафе, которое показывало «Соседей». Боюсь, рейтинг у него был так себе. В заведении сидели всего четыре человека — супруги средних лет, похожие на двух гигантских ошпаренных крабов, и пара надутых молодых женщин с прическами под панков. Ну конечно, Лоренсу непременно понадобилось туда войти. Я еще ни разу не встречала автора, способного оторваться от экрана, где показывают его работу. Лоренс заказал себе пиво, а мне джин с тоником и сел как завороженный, с блаженной

улыбкой на устах — так влюбленный родитель просматривает домашнюю видеозапись первых шагов своего сына. Я хочу сказать, что нет большего поклонника работы Лоренса, чем я, но я не для того проделала весь этот путь, чтобы сидеть в баре и смотреть славные старые серии «Соседей». Оставалось только одно, и я это сделала. Одним махом опрокинула свой джин с тоником и заказала еще, двойной. Лоренс выпил еще пива, и вместе мы съели пиццу, разогретую в микроволновке, а потом выпили кофе с бренди. Лоренс предложил вернуться в гостиницу на время сиесты. В такси на обратном пути он обнял меня за плечи, поэтому я догадалась, какого рода сиеста у него на уме. Что, время уже истекло? Тогда до завтра. Да, конечно, я слышала о Шахерезаде, и что?…

Ну, нам повезло, что я напилась не сильно, иначе наговорила бы такого, о чем потом пожалела бы. Я имею в виду, ты или смеешься, или плачешь, а я, выпив, стала смеяться. Начала хихикать, как только увидела, что Лоренс надевает специальный наколенник, готовясь к нашей сиесте. Он сделан из пористой эластичной ткани, из какой делают костюмы для подводного плавания, ярко-красного цвета, с дырой

посередине, чтобы высовывалась коленная чашечка. Особенно смешным наколенник выглядел, когда Лоренс разделся догола. Он вроде бы удивился моей реакции. Вероятно, он всегда его надевает, когда занимается с Салли сексом. Когда же он надел эластичную повязку на локоть, со мной чуть не приключилась истерика. Он объяснил, что недавно у него был рецидив боли в локтевом суставе и он не хочет рисковать. Я мысленно спросила себя, не собирается ли он надеть еще что-нибудь, например, пару щитков на голени или мотоциклетный шлем. Не такая уж и плохая мысль, между прочим, потому что во время вступительных ласк он все время норовил свалиться с узкой кровати на пол. Он все лизал меня и тискал. Я просто закрыла глаза, позволив ему исследовать меня. Все было очень даже мило, только щекотно, поэтому я все похихикивала, когда, вероятно, должна была постанывать. Затем выяснилось, что я должна сесть на него верхом, а он из-за колена будет лежать на спине, и что он ждет, что всю самую сложную часть мероприятия я, так сказать, возьму на себя. Я знавала одну актрису, которая рассказывала мне, что ей постоянно снится один и тот же сон: она стоит на сцене, не зная, какая идет пьеса, и должна

угадывать слова и движения по тому, что говорят и делают другие актеры. У меня было такое чувство, будто я при подобных обстоятельствах дублирую Салли. Не знаю, что она делала в этой роли, но я ощущала себя помесью проститутки и медсестры ортопедического отделения. Однако я мужественно через все прошла, немного поскакала на нем, пока он не застонал, и слезла. Но оказалось, что застонал он, потому что не мог кончить. «Наверное, ты слишком много выпил за ланчем, дорогой?» — предположила я. «Возможно, — мрачно ответил он. — Тебе было хорошо?» Разумеется, я ответила, что все было чудесно, хотя, сказать по правде, я бы получила больше удовольствия от хорошей горячей ванны в конце долгого дня или от настоящего, высшего сорта, бельгийского шоколада и чашки свежемолотого колумбийского кофе. Честно.

Ну, после этого мы с часок поспали, а потом приняли душ и выпили чаю на балконе, который теперь был в тени, и читали книги, пока не подошло время спуститься вниз и выпить по коктейлю перед ужином. Мы особенно не разговаривали, ибо все, что приходило нам в голову, по крайней мере в мою голову, лучше было не произносить — какое жуткое место и

каким кошмаром оборачивается вся поездка, а впереди еще три дня. В гостинице у нас был полупансион. При регистрации нам выдали купоны, которые мы должны были отдавать при входе в столовую — огромное неуютное помещение, где примерно четыреста человек совали в рот еду с максимальной скоростью, на какую были способны, словно участвовали в какой-то телевизионной игре. Hors d'oeuvres

[39] [broken link: #_ftn39] и десерт нужно было брать самим, а горячее подавали. На выбор предлагались курица chasseur[40] [broken link: #_ftn40] и зажаренная в панировке рыба. Напоминает стандартный набор в столовой Би-би-си, съедобно, но неинтересно. Мы взяли бутылку красного вина, но пила в основном я, так как Лоренс берег себя для дальнейших подвигов. Расслабления вечер не сулил. Мы отправились прогуляться и снова дошли до берега и посмотрели, как волны месят угольную крошку. А потом заняться было вроде нечем, кроме как ложиться спать. Или опять пойти в город, а что представляет собой эта Вероникас вечером, вообразить было нетрудно. Поэтому мы снова занялись любовью, и получилось то же самое. Эрекция у него была, но он не смог, как

это называется, излиться, невзирая на все мое старание. Он ужасно из-за этого расстроился, хотя я и сказала, что это неважно. На самом деле я была рада, мне никогда не нравилось это ощущение - когда потом из тебя медленно течет, пачкая ночную рубашку. Он сказал:

— Должно быть, у меня что-то не в порядке.

— Ты тут ни при чем, все дело в отвратительной гостинице и кошмарном месте, этого достаточно, чтобы сделать человека импотентом.

В первый раз с тех пор, как мы туда приехали, я открыто высказала свое мнение. Он воспринял это как пощечину.

— Извини, — натянуто произнес он. — Я сделал все что мог.

— Ну конечно, cheri, — отозвалась я. — Я не виню тебя, это все бестолковый агент в бюро путешествий. Но почему бы нам не переехать в более приятное местечко?

— Мы не можем, — ответил он. — Я заплатил вперед.

Он, видно, считал, что мы вроде как обязаны прожить здесь по контракту полных четыре дня. Мне понадобилось довольно много времени, чтобы заставить его понять — мы вполне могли, по крайней мере он мог, поступиться стоимостью

двух оставшихся дней. Можно было подумать, что тени его родителей встали из могилы, осуждая столь возмутительное мотовство.

— Да и вообще, — упирался он, — в Плайя-де-лас-Американас всего один пятизвездочный отель, и он полон. Агент узнавал.

— Ты полагаешь, — сказала я, — что любой поселившийся в пятизвездочном отеле в Плайя-де-лас-Американас забаррикадировался в своем номере и не выйдет оттуда ни за какие коврижки. Но, наверное, на Тенерифе есть пятизвездочные отели и в других местах?

— А как мы туда попадем? — спросил Лоренс.

— Возьмем напрокат автомобиль, мой милый, — подсказала я, думая про себя, что это все равно что разговаривать с ребенком.

Ну, приняв командование на себя, на следующее утро после завтрака я первым делом выписала нас из этой дыры. Лоренс не прочь был улизнуть из отеля, никого в известность не ставя, но отметиться было необходимо, чтобы оплатить кое-какие дополнительные расходы, поэтому я доставила себе удовольствие, объяснив персоналу у стойки портье, почему мы уезжаем, правда, это их нисколько не тронуло. В отделении «Эйвис» мы наняли машину с кондиционером и поехали

вдоль берега в столицу — Санта-Крус. В жизни не видела пейзажа более голого и скучного, прямо поверхность Луны под прямыми лучами Солнца. Но Санта-Крус довольно милый городок, немного неряшливый, но цивилизованный. Там есть один по-настоящему шикарный отель, с бассейном и тенистым садом и достойным рестораном. Там, между прочим, в последний раз ел Роберт Максвелл, прежде чем броситься в море со своей яхты

[41] [broken link: #_ftn41]. Если бы он сделал это в Плайя-де-лас-Американас, все бы сразу поняли причину его поступка.

Ну, в Санта-Крусе мы и провели приятный уикэнд. В отеле нам дали огромный номер с высокими потолками, с отделанной мрамором ванной комнатой, где было окно, которое открывалось, и с широченной двуспальной кроватью, там мы, свернувшись калачиком, и спали как младенцы. Больше мы ничего в ней не делали. Я сказала Лоренсу, давай не будем подвергаться риску нового debacle

[42] [broken link: #_ftn42], мой дорогой, теперь, когда все наладилось, и он, по-моему, был рад согласиться. Дело в том, что я решила не выходить за Лоренса, даже если он меня попросит, и поняла,

что не хочу иметь с ним сексуальных отношений, да и вообще ни с кем. Я осознала, что могу обойтись без секса, большое спасибо, До конца жизни. До меня дошло, какой я была дурой, без конца анализируя свои отношения с Солом, гадая, что не так, почему я его не удовлетворяю, когда важно было, что не удовлетворяет меня, и вот после всех этих лет, отдав свое тело в распоряжение другого мужчины, я этого удовлетворения опять не получила. Надеюсь, мы с Лоренсом вернемся к нашим чистым, товарищеским отношениям, а если нет - tant pis'.

Так что на самом деле он не был такой уж катастрофой, этот мой распутный уик-энд. Мне кажется, что в результате я многие вещи теперь вижу гораздо яснее, чем прежде. Я вижу, что со мной все в порядке. Я могу принимать себя такой, какая я есть. Секс мне не нужен. Мужчина мне не нужен. И вы мне не нужны, Карл, больше не нужны. Да. Это конец наших сеансов. Вы говорили мне, что я это пойму. И я поняла. Это наша последняя встреча, Карл. Да. Большое-пребольшое до свидания. Я вылечилась.

Луиза

Стелла?… Это Луиза… Привет!.. Прекрасно. А у тебя?… О-о. Я почувствовала, что у тебя неприятности, по голосу на автоответчике… Да, слушай, извини, что не перезвонила тебе раньше, но я была так занята, ты не представляешь… Встречи, встречи, встречи… Да, это тот самый фильм, только теперь он называется «Зигзаг». Ты же знаешь, что говорят про Голливуд — здесь на все уходит либо пять минут, либо пять лет, и это дитя, похоже, станет занозой в заднице на пять лет. Ну ладно, у тебя-то что случилось?… Угу… угу… Я догадывалась… Послушай, милая моя, сейчас ты мне, конечно, за эти слова спасибо не скажешь, но честно говоря, без него тебе будет лучше… Верно, я никогда его не любила, я права или где? Разве я не говорила, что мужчинам, которые носят на шее золотой крест, доверять нельзя?… Он эксплуатировал тебя, дорогая… Как только ты оплатила ему лечение зубов и уроки актерского мастерства, он слинял… Ну конечно, у тебя сейчас такое настроение, но это пройдет, поверь мне, У меня такое было. Подожди минутку, мне кто-то звонит. Не вешай трубку…

Привет. Это был Ник, звонил из Нью-Йорка,

просто поздороваться… Да, всего на несколько дней. Он заполучил того клиента, который ставит пьесу в театре, не на Бродвее, нет. Скажи, Стелла, хочешь, я отвлеку тебя от всех твоих проблем — расскажу, какая фантастическая история вчера со мной приключилась?… О'кей, тогда скидывай туфли, забирайся на диван с ногами и приготовься слушать.

Было около шести вечера, вчера. Я только что пришла со встречи в «Глобал артист», приняла душ, переоделась и думала, самой что-нибудь приготовить или позвонить в «Суши экспресс», когда раздался телефонный звонок и я услышала голос с британским акцентом: «Здравствуй, Луиза, это Лоренс Пассмор». Лоренс Пассмор? Имя мне ничего не говорит, и голоса я не узнаю. Поэтому так нейтрально отвечаю: «Да?», и этот парень, нервно хихикнув, говорит: «Наверное, это то, что диск-жокеи называют приветом из прошлого». «Я вас знаю?» — спрашиваю я, на том конце напряженное молчание на минуту, а потом он говорит: «Соседи? Четыре года назад?», и тут до меня доходит. Это тот парень, который придумал оригинальную британскую версию сериала «Кто живет по соседству». Да. Там у них он называется «Соседи». Когда я работала в

«Мирамаксе», они купили права, и он приезжал из Англии в качестве консультанта пилотной серии, а меня к нему вроде как приставили нянькой. Но вот имя — Лоренс — знакомым мне не показалось.

— А тебя тогда по-другому звали? — спросила я.

— Пузан, — ответил он.

— Пузан Пассмор, ну конечно, — сказала я.

И тут же четко его вспомнила: за пятьдесят, лысеющий, плотный такой. Приятный парень. Немножко стеснительный, но приятный.

— Сказать по правде, я никогда не любил это прозвище, — признался он, — но оно, похоже, прочно ко мне приклеилось.

— Очень мило, что ты позвонил. Что привело тебя в Лос-Анджелес?

— Ну, на самом деле я здесь не по делам, — ответил он.

Бритты всюду суют это свое «на самом деле», ты замечала?

— Отдохнуть? — поинтересовалась я, думая, что он, наверное, здесь пролетом на Гавайи или куда-нибудь еще.

— Да, что-то вроде отдыха, — согласился он, а потом и говорит: — Я тут подумал, а вдруг ты

сегодня вечером свободна и поужинаешь со мной?

Ну, в девяноста девяти случаях из ста я бы отказалась. На прошлой неделе мы с Ником каждый вечер куда-то ходили. Каждый вечер. Но поскольку Ник уехал, а я ничего не планировала, то подумала, какого черта, почему нет? Я понимала, что ничего ниже пояса во время этой встречи не будет… Когда он в тот раз был здесь, я из кожи вон лезла, чтобы очаровать его, но он дал задний ход… Да… Ну, я тогда только что рассталась с Джедом и мне было немного одиноко. Ему тоже. Но он меня отверг самым милым образом, сказав, что любит свою жену… Да, есть такие мужчины, Стелла. Во всяком случае, в Англии… Ну так вот, когда я согласилась на ужин, он прямо впал в экстаз. Сказал, что остановился в «Беверли Уилшир», и я про себя подумала, что человек, за свой счет живущий в «Беверли Уилшир», мне по вкусу, и только стала прикидывать, сработает ли мой блат у метрдотеля в «Мортоне», чтобы так быстро заказать столик, как он сказал:

— Я бы хотел поехать в тот рыбный ресторанчик на пляже в Венисе, куда мы тогда ездили.

Я даже не поняла сначала, про какой ресторан он говорит, он тоже не помнил названия, но

сказал, что узнает, когда увидит, ну, я пошла ему навстречу и предложила туда поехать. Венис — не самое мое любимое место, но я рассудила так — может, и не стоит, чтобы у «Мортона» меня видели с каким-то невнятным английским телесценаристом, в смысле, что он отнюдь не Том Стоппард или Кристофер Хэмптон.

Поэтому я в чем была поехала в Беверли-Хиллс, чтобы в назначенное время забрать Пузана Пассмора. Он уже топтался у входа, и я не стала выходить из машины, просто посигналила и помахала рукой. Ему понадобилось десять минут, чтобы заметить меня. Он нисколько не изменился, может, только набрал несколько фунтов — лицо, как большая картошка, и бахрома тоненьких, как у младенца, волос, свисающих на воротник пиджака. Улыбка приятная. Я только в толк не возьму, чего я тогда на него так запала. Он сел в машину, и я сказала: «С возвращением в Лос-Анджелес» — и подала руку, а он в этот момент потянулся чмокнуть меня в щеку, так что получилось неловко, но мы сгладили это, посмеявшись. Потом он таким обвиняющим тоном заявил:

— Ты поменяла автомобиль.

А я в ответ засмеялась:

— Да уж конечно. С тех пор я машин пять поменяла…

Нет, «мерседес». «БМВ» я поменяла на белый «мерседес», отделанный внутри красной кожей. Выглядит он потрясающе. Подожди минутку, у меня тут еще один звонок…

Черт, черт, черт… Прости, просто мысли вслух. Это был Лу Ренвик из «Глобал артист». Наша звезда подпишет контракт, только если фильм снимать будет его приятель, а последняя картина его приятеля — настоящее дерьмо. Это такие ослы. Да ладно, мне надо там удержаться. У меня в этом фильме свой интерес… Да, я выбрала эту книгу… На чем я остановилась? Ах да, ну мы поехали в Венис и шлялись там взад-вперед по пляжу в поисках этого ресторана, лавируя между бегунами, серферами, роллерами, метателями «летающих тарелок» и владельцами собак, пока в конце концов он не решил, что нашел его, но название оказалось другое, и вообще это был даже не рыбный ресторан, а тайский. Когда мы, войдя, стали расспрашивать, нам ответили, что они всего год как открылись, поэтому мы поняли, что это тот самый. При виде интерьера и у меня тоже шевельнулись какие-то смутные воспоминания.

Пузан хотел есть на улице, хотя было довольно

прохладно, а я оделась не для трапезы al fresco

[43] [broken link: #_ftn43]… О, топик без рукавов и та черная хлопчатобумажная юбка, которую я в прошлом году купила в твоем магазине. Ну, с золотыми пуговицами. Да, эта. Пузан сказал, что когда мы в прошлый раз ужинали в Венисе, был чудесный закат, но вчера было облачно, так что сидеть на улице никакого смысла не было, но он тихо так настоял. Официант спросил, что мы будем пить, и Пузан посмотрел на меня и спросил:

— Сауэр с виски, да?

Я засмеялась и сказала, что коктейлей больше не пью, буду только минеральную воду, а он почему-то расстроился.

— Но *вина* выпьешь? — встревожился он, и я согласилась, что, мол, один бокал, пожалуй, и выпью.

Он заказал бутылку «шардоне» из долины Напа, и это показалось мне несколько скаредным для парня, который поселился в «Беверли Уилшир», но я промолчала.

Всю дорогу до Вениса я без умолку болтала про «Зигзаг», потому что ни о чем больше думать не могла и, наверно, немного перед ним выставлялась, давая понять, что теперь

я настоящий кинопродюсер, а не просто администратор на ТВ. Но когда мы сделали заказ, я прикинула, что теперь его черед.

— Так чем ты в последнее время занимаешься? — поинтересовалась я.

В общем, получилось, как в фильме-катастрофе, когда кто-то случайно открывает дверь каюты и миллионы тонн морской воды сбивают его с ног. Он вздохнул, прямо застонал и понес про свое безутешное горе. Сказал, что жена хочет с ним развестись, а его ТВ-компания хочет отобрать у него шоу, и в колене у него какая-то хроническая патология, которая не вылечивается. Судя по всему, жена бросила его без предупреждения, а затем две недели спустя явилась вновь, чтобы жить в их доме на специальных условиях, которые называются «раздельное хозяйство». У них не только разные спальни, но они по очереди пользуются кухней и стиральной машиной. По-видимому, британские суды очень строги при разводе в вопросах стирки белья. Да. Он говорит, что если она преднамеренно выстирает его носки, то этим может свести на нет свой иск. Но такое ему не грозит. Они не разговаривают, даже когда встречаются на лестнице. Обмениваются посланиями, как Северная и Южная Корея. Нет.

Он подозревает, что кто-то есть, но она отрицает, просто не хочет больше быть его женой. Дети у них выросли… Она вроде преподает в колледже. Он сказал, что она просто сразила его наповал, когда объявила… Почти тридцать лет… можешь себе представить? Не думала, что в мире еще остался человек, тридцать лет женатый на одной и той же, — разве что в доме престарелых. Но больше всего, по-видимому, его угнетает, что он ни разу за все это время не обманул ее.

— А ведь искушения были, — заметил он. — Ты ведь знаешь, Луиза.

И посмотрел на меня своими бледно-голубыми глазами с покрасневшими белками этаким долгим томным взором.

И тут, я тебе скажу, я так и похолодела, и не из-за бриза с океана. До меня вдруг дошло, что означает эта встреча. Я вспомнила, что именно в этом ресторане пыталась соблазнить его четыре года назад… Точно! Все в один момент встало у меня перед глазами, как сцена воспоминаний в старом film noir. Тогда мы славно поужинали, выпили бутылочку вина, между блюдами я еще смоталась в туалет и взбодрилась… Да, тогда я принимала наркотики… Всегда носила в сумочке запас, любимый колумбийский

товар за наличные… Но Пузан в это как-то не врубался. Когда на вечеринке ему предлагали коку, он отвечал, что не хочет пить. Он думал, что «заряженный» значит «имеющий много денег». Простое предложение покурить травку вызывало у него испуг, поэтому я ни разу не проговорилась, что нюхаю нечто крепкое. И даже мой смех над его английскими колкостями не навел его на мысль, странно. Во всяком случае, меня разобрало не на шутку, я возбудилась до предела, а он сидит напротив, такой милый чистенький англичанин, которому я явно нравлюсь, но который то ли слишком благопристоен, то ли слишком застенчив, чтобы взять инициативу в свои руки, поэтому я перехватила ее. Кажется, я заявила, что хотела бы отвезти его к себе и затрахать до потери пульса… Да. Он процитировал мне мои слова. Они отпечатались в его памяти. Понимаешь, что это значит? Все это свидание было повторением того, другого, несколько лет назад. Ресторан в Венисе, столик на улице, «шардоне» из долины Напа… Потому-то он так и расстроился, что я сменила машину, а рыбный ресторан превратился в тайский и я больше не пью коктейлей с виски. Поэтому он настоял, чтобы мы сели на улице. Он пытался в точности

воссоздать обстановку того вечера четыре года назад, по возможности, до мельчайших деталей. Во всех деталях, кроме одной… Точно! Теперь, когда жена его бросила, он хотел принять мое предложение. И специально для этого прилетел из Англии. Ему, похоже, и в голову не пришло, что за это время у меня изменились обстоятельства, не говоря уже о моем настроении. Наверное, в его мозгах я так и сидела за столиком на берегу океана, с тоской глядя на закат и ожидая его повторного визита, когда он освободится от своих матримониальных уз, чтобы заключить меня в свои объятия. Минуточку, мне звонят…

Я здесь. Как мы жили без линии ожидания? Это звонил агент Глории Фон. Она не согласилась на «Зигзаг». А чего можно было ждать, он, наверное, даже не показывал ей сценарий. Ладно, пошли они… А, да, значит, я чуть в обморок не грохнулась, когда сообразила, что этот парень пролетел шесть тысяч миль, чтобы передумать свой ответ на мое предложение четырехлетней давности. Будто ты попросила кого-то передать тебе соль, и через четыре года он появляется с солонкой. Ну, я поняла, что лучше поскорее объясниться с ним начистоту. И когда он попытался снова наполнить мой бокал, я накрыла его ладонью и

сказала, что постепенно завязываю, потому что стараюсь заиметь ребенка, а если это удастся, то завяжу окончательно… Да. Я сказала, мне уже пора решиться. Биологические часики тикают. Ник согласен… Да, спасибо, Стелла. Рассчитываю на тебя в смысле шикарной одежды для беременной… Во всяком случае, мое заявление остановило поползновения Пузана Пассмора, но он все равно не понял. По-моему, он на какой-то миг подумал, что я хочу ребенка от него… Ты можешь смеяться, но этот парень как не от мира сего, говорю тебе. Поэтому я ему объяснила, что у меня есть Ник, и он прямо съежился у меня на глазах. Я испугалась, что он сейчас начнет ронять слезы в свой суп из креветок с мелиссой. И спросила у него: «В чем дело?», хотя прекрасно знала, в чем, а он процитировал мне Кьеркегора… Да, Кьеркегора, философа. Нет «сморгасборд» значит «шведский стол». Хе-хе. Он сказал:

— Самое ужасное, что может случиться с человеком, — это стать посмешищем в собственных глазах — в том, что для него важнее всего на свете.

Да. Дословно. Я потом записала.

Ну, как ты можешь догадаться, настроение уже было не то. Я все съела, он все выпил, а говорила

только я. Мне невольно стало его жаль, поэтому я рассказала ему о прозаке. Хочешь верь, хочешь нет, но он никогда про него не слышал. Покачал головой и ответил, что никогда не принимает транквилизаторы.

— У меня был печальный опыт с валиумом, — пояснил он.

С валиумом! Этот парень живет просто в каменном веке. Я объяснила ему, что прозак — не транквилизатор или обычный антидепрессант, а совершенно новое чудодейственное средство. Провела настоящую рекламную акцию… Точно, милая, разве ты не принимаешь? А кто в Голливуде не принимает?… Ну, мы с Ником молимся на него. Конечно. У нас на кухне висит схема, как принимать наши маленькие бело-зеленые капсулы… Что ж, прозак изменил мою жизнь… Нет, депрессии у меня не было, чтобы его принимать, депрессия не нужна. Он возвращает уверенность в себе, просто чудеса творит. Без прозака у меня бы никогда не хватило смелости уйти из «Мирамакса»… Да-да, я читала эту статью в «Тайме», но ничего подобного со мной не было… Тебе обязательно нужно попробовать, Стелла… Что ж, должна признать, есть один побочный эффект: трудности

с оргазмом. Но если в настоящий момент у тебя нет любовника, что ты теряешь, милая? Нет, разумеется нет, Стелла, но прозак поможет тебе преодолеть ситуацию… Ладно, все нормально, милая, у нас у всех свои способы справляться с превратностями судьбы… О, я повезла его назад в «Беверли Уилшир», и он заснул в машине — то ли от выпивки, то ли из-за разницы во времени, то ли от разочарования, то ли от всего вместе. Швейцар открыл дверцу машины, я поцеловала Пузана в щеку и подтолкнула, а потом смотрела, как он, спотыкаясь, бредет по вестибюлю. Мне стало его жалко, но что я могла сделать?… Не знаю, наверно, вернется в Лондон… Ты правда хочешь?… Ну, не знаю. Если хочешь, могу у него спросить… Ты уверена, что это хорошая мысль, Стелла?… Ну, если ты так говоришь. Ты сознаешь, что его нельзя назвать английской копией Уоррена Битти?… О, он абсолютно чистый, в этом ты можешь быть уверена. Я сейчас же ему позвоню и скажу, что у меня есть одна роскошная, свободная подруга, которая умирает — хочет с ним познакомиться… Жди, скоро перезвоню.

Олли

Здравствуй, Джордж, как дела в «Текущем

моменте»? Хорошо, хорошо. Ну, так, скрипим помаленьку. Спасибо, не можно, а нужно. Бочкового «Басса», пожалуйста. Пусть будет пинта. Спасибо. Да, ну и денек сегодня выдался. Моя секретарша заболела, факс вышел из строя, Би-би-си перехватила канадское «мыло», на которое я положил глаз, а какой-то недоделанный адвокат подал на нас в суд только потому, что у него такая же фамилия, как у того продажного юриста в «Дорожном патруле» — ты смотрел? Нет, на позапрошлой неделе. А, спасибо, Грейси. И пакетик картошки со вкусом копченого бекона. Нет, нет, Джордж, позволь за картошку заплатить мне. Ну, если ты настаиваешь. Спасибо, Грейси. Твое здоровье, Джордж. А-а. Мне действительно этого не хватало. Что? О, надеюсь, откупимся от него парой тысчонок, в итоге получится дешевле. Может, сядем? Вон туда, в уголок. Здесь я люблю сидеть у стенки, меньше шансов, что тебя подслушают. Да, но это не значит, что они не охотятся на тебя. Ха-ха. Вот так. Угощайся картошкой. Если б еще открыть этот идиотский пакет. Хоть бы выпустили какое-нибудь приспособление для открывания этих пакетов — и чтобы его можно было носить с собой, наподобие щипчиков для обрезки сигар,

я всерьез подумываю запатентовать эту идею, можно сколотить целое состояние. О-па! Понял, о чем я? Или вообще не открывается, или лопается по шву, и все вываливается тебе на колени. Но все равно возьми себе штучку. На днях видел в пабе одного типа, так богом клянусь, он провел с пакетиком уолтоновской картошки десять раундов. Сломал ноготь, пытаясь надорвать пакет, чуть не сломал зуб, пытаясь надкусить, в конце концов в отчаянии поджег его зажигалкой. Ничуть не разыгрываю. Он, видимо, хотел расплавить уголок пакета, но тот вспыхнул, подпалил парню брови и весь паб провонял запахом подгоревшего масла для чипсов. Честно. Но если мы покажем это по телевизору, то не посмеем назвать «Уолтонз Криспс», они навалятся на нас, как тонна кирпичей, и совершенно справедливо, но ведь рехнешься проверять имя каждого чертова адвоката в стране, прежде чем утвердить сценарий. Кстати, славное пиво.

Да, определенно тот еще денек. И в довершение всего сегодня же у меня была встреча с Пузаном Пассмором. Не человек, а комок нервов, клинический случай. У меня от него сейчас одни неприятности. Про Дебби Рэдклифф ты знаешь, да? О, а я думал, что Дейв Трис ввел тебя

в курс дела. Ну, в общем, строго между нами, она хочет уйти из «Соседей». Да. Уж куда серьезней. Ее контракт заканчивается вместе с текущим блоком, и она ни за какие деньги не хочет его возобновлять, корова. Не знаю, она говорит, что хочет вернуться на сцену. Да? Ну, не знаю, я, по возможности, стараюсь в театр не ходить. Терпеть его не могу. Будто тебя привязали к креслу перед телевизором, где всего один канал. Ни поговорить, ни поесть, ни попить, ни поссать выйти, даже ноги не вытянешь, места нет. И еще сдерут с тебя двадцать монет за удовольствие. Как бы то ни было, она уперлась, так что нам придется вывести ее из шоу. У него по-прежнему отличный рейтинг, ты знаешь. Абсолютно. Как минимум один блок, а скорее всего, два или три. Вот мы и попросили Пузана переписать пару последних серий этого блока, чтобы избавиться от Присциллы, в смысле от роли Дебби, чтобы расчистить место для новой женщины в жизни Эдварда в следующем блоке, понимаешь? Мы предложили Пузану несколько идей, но он не принял ни одной. Заявил, что единственный способ — убить ее, в буквальном смысле слова. В автокатастрофе или на операционном столе, такой вот расклад. Да, уму непостижимо, правда?

Вся страна, блин, выплачет все глаза. Ясное дело, Дебби должна уйти так, чтобы не портить зрителям настроение. Я хочу сказать, никто и не думает, что это легко. Но если я чему и научился за двадцать семь лет на телевидении, так это тому, что всегда есть выход. И мне наплевать, в чем проблема — в сценарии, актерах, натуре или бюджете, выход есть всегда… если хорошенько подумать. Беда в том, что большинство людей слишком ленивы, черт бы их побрал, чтобы приложить к чему-то хоть малейшее усилие. Только они называют это цельностью. Пузан сказал, что скорее готов положить конец сериалу, чем пойти на компромисс в вопросе цельности характеров своих героев. Ты когда-нибудь слышал подобную чушь? Мы же о ситкоме говорим, а не об Ибсене, черт возьми. Боюсь, у него развилась мания величия, и последнее ее проявление — он хочет написать… Ну, в общем, мы, по счастью, обнаружили, что по условиям контракта, если Пузан откажется написать новый блок, мы можем нанять вместо него другого сценариста. Да. Разумеется, мы не хотим. Мы бы предпочли, чтобы Пузан сам переписал последние серии. Да пошло это его моральное право куда подальше, Джордж! Суть в том, что никто лучше Пузана его

работу не сделает, ему нужно только немножко постараться. Да, в настоящий момент мы в тупике. У него пять недель, чтобы предложить приемлемую идею, как вывести Дебби из шоу, или мы берем другого. Не знаю, у меня надежды мало. В последнее время он живет словно в другом мире. По уши в дерьме с личной жизнью. Ты знаешь, что от него ушла жена? Да. Впервые я об этом узнал, когда он однажды вечером очень поздно позвонил мне домой. Я даже подумал, что он слегка навеселе — тяжело так дышал, делал долгие паузы между словами. И сказал, что у него есть идея, как убрать Дебби из шоу.

— Предположим, — сказал он, — предположим, что Присцилла просто бросила Эдварда, неожиданно. Представь, что она просто говорит ему в последней серии, что больше не хочет быть его женой. Нет никакого другого мужчины. Просто она его разлюбила. Мало того, он ей даже неприятен. Она говорит, что жить с ним — все равно что жить с зомби. Поэтому она решила его оставить.

Я ему ответил:

— Не смеши меня, Пузан. Должен быть более убедительный мотив. Никто этому не поверит.

Он спросил:

— Ты думаешь? — и повесил трубку.

А потом я узнаю, что его бросила жена. Ты видел ту статейку в «Паблик интерест»? Так в том-то все и дело. Другого мужчины не было. Тот парень оказался голубым. Похоже, что жена бросила Пузана именно так, как он сказал: просто не хотела больше оставаться его женой. Он очень тяжело это воспринял. Конечно, это кого угодно подкосит. Выпьешь еще? Того же самого? А что это было, клубное красное? О, «Сент-Эмильон», верно. Хорошее? Нет-нет, закажи себе еще «Сент-Эмильона», Джордж Я в винах ничего не смыслю и никогда на это не претендовал. Маленький бокал или большой? Я, пожалуй, возьму полпинты, мне еще сегодня работать. О, отлично. Я возьму себе пирог, а ты? С курицей и грибами, хорошо.

Ну вот. Большой бокал «Сент-Эмильона». Нам крикнут, когда пироги будут готовы. Мы девятнадцатые. На днях я был в одном пабе, так там вместо номерков выдают игральные карты. Девушка за стойкой провозглашает: «Дама червей» или «Десятка пик» и так далее. Я еще отметил про себя, как умно придумали. Я всегда теряю эти номерки и забываю свой номер — такая морока. Кстати, твой пирог стоил один двадцать пять. О, спасибо. Вот вся мелочь, что у меня есть,

и я буду тебе должен десять пенни, хорошо? Твое здоровье. Ну так вот, он договорился со мной о встрече сегодня на утро. Я подумал, может, его осенила блестящая идея, как избавиться от роли Дебби, но ничего подобного. Вместо этого выяснилось, что он хочет попробовать себя в чистой драме. Да. Уму непостижимо, Джордж Он хочет сделать сериал про одного типа по имени Киккигард. А, вот так, значит, произносится? Стало быть, ты о нем слышал? Да, точно, датский философ. И что еще ты про него знаешь? Ну, я даже и этого не знал, пока Пузан не рассказал. Я был ошеломлен, что он а) заинтересовался подобной темой и б) думал, будто ею заинтересуемся мы. Я внятно так у него спросил:

— Ты хочешь, чтобы «Хартленд телевижн» сняла драматический сериал про датского философа?

Предложи он сериал про датское печенье, это не прозвучало бы столь дико. Он лишь кивнул. Я еле удержался, чтобы не расхохотаться ему в лицо. С авторами комедий такое случается. Со временем им начинают лезть в голову разные идеи не по чину. То они хотят работать без зрителей в студии, то писать о социальных проблемах. На прошлой неделе у Пузана в сценарии был пассаж

насчет абортов. Я тебя спрашиваю — аборт в ситкоме! Сценаристов надо осаживать, если не удается отделаться шуткой. Я все еще надеюсь, что Пузан одумается насчет «Соседей», поэтому попытался как-то разрулить ситуацию. Я сказал:

— О'кей, Пузан, выкладывай. Что там за история?

Ну так там и истории-то никакой нет. Этот, как его,

Кьеркегор, был сыном богатого купца в Копенгагене, время — Викторианская эпоха, самое начало. Старик был суровым, страдающим комплексом вины мерзавцем и детей своих воспитывал соответственно. Они были ярыми протестантами. Еще в юности у Кьеркегора немного поехала крыша.

— Есть сведения, что он как-то раз побывал в публичном доме, — объяснил Пузан.

— Как-то раз? — спросил я.

— Он очень винил себя за это, — сказал Пузан. — Скорей всего, тот сексуальный опыт оказался у него единственным. Позднее он обручился с девушкой по имени Регина, но разорвал помолвку.

— Почему? — спросил я.

— Посчитал, что они не будут счастливы, —

ответил Пузан. — Он страдал от тяжелых депрессий, как и его отец.

— Я так понимаю, что это не комедийный сериал, Пузан? — уточнил я.

— Нет, — даже не улыбнулся он. — Это очень печальная история. После разрыва — причины никто так и не понял — Кьеркегор на какое-то время уехал в Берлин и написал книгу, которая называется «Или — или». Потом вернулся в Копенгаген, втайне надеясь на примирение с Региной, но узнал, что она обручилась с другим.

Тут он умолк и посмотрел на меня так горестно, словно это была величайшая трагедия в истории человечества.

— Понятно, — проговорил я, выдержав паузу. — А что он делал потом?

— Написал много книг, — ответил Пузан. — Он мог принять сан священника, но не захотел делать карьеру на религии. По счастью, от отца ему досталось значительное состояние.

— Похоже, это единственное его достижение, — заметил я.

Что, она сказала — девятнадцатый, Джордж? Здесь, моя милая, мы девятнадцатые. Один с говядиной и почками и один с курицей и грибами, точно. Отлично. Спасибо. Очень быстро. Конечно,

в микроволновке. Кусай осторожно, этими пирогами весь язык обжечь можно. Внутри они горячее, чем кажется. М-м, неплохо. А твой как? Отлично. Так Пузан Пассмор, да. Я спросил, был ли Кьеркегор признан при жизни.

— Нет, — ответил Пузан. — Его книги считали странными и туманными. Он опередил свое время. Он основоположник экзистенциализма. Выступил против всеобъемлющего идеализма Гегеля.

— На первый взгляд, Пузан, это не тянет на материал в прайм-тайм на коммерческом телевидении, — сказал я.

— Книги — это так, между прочим, — стал объяснять он. — Основной упор будет на любовь Кьеркегора к Регине. Он так и не смог ее забыть, даже когда она вышла за другого.

— Что у них было? Они сошлись? — поинтересовался я. Своим предположением я его здорово шокировал.

— Нет-нет, он лишь видел ее в Копенгагене — в те годы это был маленький город, — но никогда с ней не заговаривал. Только раз они столкнулись в церкви, и ему показалось, что она сейчас что-то скажет, но она промолчала, он тоже. Это была бы потрясающая сцена, — сказал

он. — Потрясающие эмоции, без единого слова. Только крупные планы. И разумеется, музыка.

Очевидно, в этот момент они были близки как никогда больше. Кьеркегор попросил у ее мужа разрешения писать ей, но тот отказал.

— Но он любил ее всю жизнь, — сказал Пузан. — И все завещал ей, хотя после смерти от его состояния уже мало что осталось.

Я спросил, от чего он умер.

— От легочной инфекции, — ответил Пассмор. — Но по моему мнению, на самом деле от разбитого сердца. Он утратил вкус к жизни. По сути, никто его страданий не понимал. Когда он лежал на смертном одре, его дядя сказал ему, что ничего особенного с ним не происходит, надо перестать сутулиться — и все пройдет. Ему было всего сорок восемь, когда он умер.

Я спросил, чем еще занимался этот тип, помимо сочинительства. Ответ последовал — ничем особенным, ну, еще ездил в деревню. Я спросил:

— И где же здесь интрига, Пузан? Где саспенс?

Он ошарашенно на меня посмотрел и ответил, что это не триллер.

— Но ведь нужно, чтобы твоему герою что-то угрожало, — напомнил я.

— Ну, одно время сатирические журналы

нападали на него, — выдал Пузан. — Это его очень ранило. Они потешались над его брюками.

— Над его брюками? — переспросил я.

Знаешь, Джордж, честное слово, мне с трудом удавалось сохранять серьезность во время нашего разговора.

— Да, они печатали карикатуры, в которых изображали его в брюках со штанинами разной длины.

И вот, как только он произнес «карикатуры», я вспомнил ту, из «Паблик интерест», и все разом встало на место. Да, ты все верно понял. У этого парня образовался странный пунктик — он отождествляет себя с Кьеркегором. Все из-за проблем в семье. Но я и виду не подал. Только кратенько резюмировал то, что он мне тут наплел.

— О'кей, Пузан, давай посмотрим, правильно ли я тебя понял, — предложил я. — У нас есть датский философ из девятнадцатого века, он обручается с девицей по имени Регина, потом разрывает помолвку по никому не понятным причинам, она выходит за другого, они больше никогда друг с другом не разговаривают, он живет еще двадцать с чем-то лет, сочиняя книги, которые никто не понимает, потом умирает, а сто

лет спустя его восхваляют как родоначальника экзистенциализма. Ты всерьез думаешь, что это материал для ТВ-сериала?

Он немного подумал и ответил:

— Возможно, лучше было бы снять одну серию.

— Гораздо лучше, — согласился я. — Но это уже не моя сфера. Об этом тебе лучше поговорить с Алеком Вузнэмом.

Думаю, что поступил достаточно умно, отправив его надоедать с Кьеркегором к Алеку. Нет, разумеется, Алек на это не пойдет, можешь мне поверить! Но поводит Пузана за нос, если я попрошу. Предложит написать сценарий, устроит встречу с руководством Четвертого канала, короче, сделает вид. Если мы станем потакать ему с Кьеркегором, очень даже может быть, что у него лучше пойдут дела с ролью Дебби в «Соседях». Нет, у него нет редактора. В первом блоке у нас был один, но потом надобность в нем отпала. Пузан передает свои сценарии непосредственно нам с Хэлом, и мы вместе над ними работаем. Не думаю, что он благосклонно воспримет появление редактора. Но это мысль, Джордж, определенно мысль. Еще по одной? Мне уже хватит, но от этого пирога разыгралась такая

жажда, наверное, его пересолили. Я взял бы пива, лучше целую пинту. Спасибо.

Саманта

Хэтти, дорогая, как ты? Боже мой, можно даже не спрашивать. Бедненькая. Как у тебя раздулась щека! Ты, наверно, удивилась, увидев меня, но я позвонила тебе домой, и твоя соседка сказала, что ты здесь, а я как раз проезжала мимо и подумала, дай зайду, хотя это и не самое удачное время для встреч. Ну, уж наверно, меня не выгонят? Ты вообще не можешь говорить? О господи, как обидно. А мне так хотелось поболтать. Ну, тогда тебе придется только кивать, или качать головой, или говорить глазами, дорогая, как хорошей телеактрисе. Я купила тебе винограду, куда можно положить… сюда? Он мытый, так что угощайся. Нет? Ничего не можешь есть? Что за проклятие эти зубы мудрости. Крепко сидел? Два зуба? Неудивительно, что ты так неважно выглядишь. М-м-м… восхитительный виноград. Без косточек. А если я очищу виноградину, ты не?… Нет? Ну ладно. Очень больно? Наверно, тебя напичкали болеутоляющим. Ты должна потребовать еще, как только его действие кончится. В больницах на сей счет очень экономны, думают, что боль

воспитывает характер. Что ж, говорить, видимо, буду я одна. К счастью, мне есть о чем рассказать. Выходные у меня были из ряда вон, и я просто умираю от желания поделиться с кем-нибудь не со своей работы. Ты же знаешь, я получила работу в «Хартленде», настоящую работу. Редактора при сценаристе. Приступила на прошлой неделе. Предполагается, что ты читаешь первый вариант сценария, вносишь замечания и предложения, а в основном играешь роль буфера между автором и продюсером или режиссером. Это первая ступенька к тому, чтобы писать сценарии или ставить самостоятельно. Ты знаешь, что я присматривала за этим мальчишкой Марком Харрингтоном из «Соседей»? А теперь работаю со сценаристом, Пузаном Пассмором. Ты можешь корчить какие угодно рожи, Хэтти, но тринадцать миллионов человек ошибаться не могут, в чем угодно, но не в телевидении. Пузан сам за меня попросил. Я познакомилась с ним, когда присматривала за мальчиком, — мы встречались на репетициях, в столовой и так далее. Он всегда такой безупречно вежливый, но довольно стеснительный. Я держала его за травоядное. Я всегда говорю, что мужчины делятся на два вида — травоядные и хищники.

Это можно определить по тому, как они на тебя смотрят. Мои сиськи притягивают очень много взглядов. Я помню, в школе ты постоянно говорила, что отдала бы за них все что угодно, но, Хэтти, положа руку на сердце, я бы все что угодно отдала за такую фигуру, как твоя. Нет, честно. На плоскогрудой фигуре одежда сидит гораздо лучше. Я не хочу сказать, что ты абсолютно плоская, но ты меня поняла. Некоторые мужчины просто оценивающе окидывают меня взглядом, как статую или типа того, так эти — травоядные, они хотят только смотреть, а другие пялятся, как будто сейчас сорвут с тебя одежду и вопьются в тебя зубами, эти — хищники. Джейк Эндикотт — хищник. Он мой агент. И агент Пузана тоже, так получилось. Олли Силвер, продюсер «Соседей» — еще один хищник. Когда я как- то заговорила с Пузаном про свои писательские амбиции, он предложил мне пойти к Олли и попросить у него на рецензию присланные в компанию сценарии, оказавшиеся полной мурой. Ну, я отправилась к нему в своем кремовом льняном костюме, без блузки, и на протяжении всей беседы он пытался заглянуть мне в вырез, чтобы узнать, есть ли у меня что-нибудь под жакетом. Из его кабинета я вышла со стопкой сценариев. Я вижу,

ты не одобряешь меня, Хэтти, но, боюсь, на этот счет у меня совершенно постфеминистский взгляд. Мне кажется, что женщины совершают большую ошибку, поднимая шумиху вокруг сексуальных домогательств. Это похоже на одностороннее разоружение. В мужском мире мы должны прибегать ко всем хитростям и к оружию, которое у нас есть. Тебе, пожалуй, не стоит так сильно трясти головой, милочка, а то швы разойдутся. Насколько я знаю, по-другому бывает только на государственной службе. Ну, неважно, я говорила, что принимала Пузана за безусловное травоядное. Если в столовой или в баре мы оказывались за одним столиком, он разговаривал со мной в такой отеческой манере и никогда не пытался ухаживать, даже близко не было. Вообще-то, по возрасту он вполне годится мне в отцы. Корпулентный такой, соответственно прозвищу. Лысеющий. Большая голова, похожая на яйцо. Он всегда напоминает мне Шалтая-Болтая из детской книжки «Алиса в стране чудес». Я окучивала его исключительно из деловых соображений, а что в этом такого? Боже, я должна перестать поедать твой виноград. Еще одну — и все.

В общем, Пузан всегда, казалось, был

совершенно безразличен к моим женским прелестям, и, честно говоря, меня это немного задевало, но вдруг его отношение изменилось. Это произошло после того, как распался его брак… о, я забыла сказать, что месяц или два назад от него ушла жена. Ходило столько слухов — что она оказалась лесбиянкой, что ушла жить в ашрам, что ее застали в постели с инструктором по теннису. Как я потом узнала, все это и близко не лежало. Несколько недель мы его почти не видели. Но потом он вдруг появился на репетиции, в Лондоне, в этом безобразном помещении в Пимлико, которое снимает «Хартленд», и тут же стал подбивать ко мне клинья. С места в карьер. Я помню, как он распахнул двери, встал на пороге и принялся озираться, пока не заметил меня, и тогда направился прямиком ко мне и плюхнулся рядом, даже не поздоровавшись ни с Хэлом Липкином, это режиссер, ни с актерами. Дебора Рэдклифф улыбнулась ему, но он проследовал мимо, даже не взглянув, что ей не очень-то понравилось. Краем глаза я видела, как она посмотрела на нас волком. Пузан выглядел жутко. Глаза налились кровью. Небритый. Одежда измята. Выяснилось, что он только что прилетел из Лос-Анджелеса и прямо из Хитроу приехал на репетицию. Я сказала, что

это говорит о его огромной преданности делу, а он уставился на меня, словно не понял, о чем я толкую, поэтому я добавила:

— Я имею в виду, присутствие на репетиции, когда вы, должно быть, так вымотались.

Он сказал:

— А, к черту репетицию, — и тут же предложил поужинать с ним вечером. Ну, я уже договорилась пойти в кино с Джеймсом, но это меня не остановило. Я хочу сказать, что если известный, ну, известный в телевизионных кругах, писатель приглашает никому не известную сотрудницу вроде меня поужинать, то ты идешь. Идешь, если не хочешь на всю жизнь остаться никому не известной сотрудницей. Так вот это делается, милочка, поверь мне. Кстати, Джеймс думает, что эти выходные я провела у своей бабушки в Торки, не забудь, если вдруг случайно с ним встретишься, ладно?

Вот

Пузан и отвез меня в маленький итальянский ресторанчик в Сохо — в «Габриэлли». Я там никогда раньше не была, но он, похоже, тамошний завсегдатай. Приняли его с распростертыми объятьями, словно вернувшегося блудного сына — все, кроме жены хозяина, которая почему-то

злобно на меня посматривала. Пузан грелся в лучах внимания, пока эта женщина не подошла с какими-то хлебными палочками и не сказала, глядя на меня:

— Значит, это ваша дочь, синьор Пассмор? — И Пузан жутко покраснел и ответил, что нет, и тогда эта женщина спросила: — А как поживает синьора Эми?

Тогда Пузан покраснел еще больше и ответил, что не знает, в последнее время он с ней не виделся, и назойливая старая ведьма, самодовольно улыбнувшись, исчезла на кухне.

Пузан был похож на Шалтая-Болтая, когда тот свалился со стены. Пробормотал что-то насчет того, что иногда ужинает здесь с Эми Портьюз, директором по подбору актеров в «Соседях». Я встречалась с ней пару раз. Коренастенькая такая брюнетка, за сорок, я бы сказала, всегда расфуфыренная и дико воняет духами. Я шутливо заметила, что он, по-видимому, не часто приводит сюда молодых женщин, а он угрюмо ответил — нет, не часто, и спросил, не хочу ли я выпить. Я заказала кампари с содовой, а он пил только минеральную воду. Я поделилась с ним своей идеей насчет «мыла», он покивал и сказал, что это интересно, но на самом деле

вид у него был отсутствующий. Что, дорогая, что ты не понимаешь? Скажи мимикой. О! Не мыло, дорогая, а «мыльная опера», ну, ты знаешь, как «Истэндеры», только я придумала скорее «Уэстэндеров». Я спросила, летал ли он в Лос-Анджелес по делам, и он ответил: «В каком-то смысле», но в каком, не объяснил. Нам подали очень славную еду и бутылку кьянти, что, вероятно, считается здесь шиком, но он практически не пил, по его словам, он боялся уснуть из-за разницы во времени. За десертом он довольно неуклюже перевел разговор на секс.

— Вы не представляете, — сказал он, — в какой узде нас держали в отношении секса, когда я был молодым. Порядочные девушки просто ничего не позволяли. Поэтому хорошие мальчики в основном ничего не могли. В стране было полно двадцатипятилетних девственников, в большинстве своем мужского пола. Наверное, вам трудно в это поверить. Наверное, вы не задумываясь займетесь сексом с тем, кто вам нравится, ведь так?

Поэтому я ответила… что? Хорошо, извини, я буду говорить потише. Кровати стоят очень близко. Что у нее? Покажи. Аппендицит? Нет. Кесарево сечение? Правда? Ты отлично показала,

дорогая. Знаешь, а из этого может получиться хорошая салонная игра.

Поэтому я ответила, что все зависит от того, действительно ли мне нравится этот человек, и он томно так посмотрел на меня и спросил:

— А я действительно нравлюсь тебе, Саманта?

Ну, я была несколько ошарашена скоростью, с которой мы дошли до сути дела. Ты приготовилась прокатиться в тихоходной малолитражке, похожей на степенный семейный фургончик, а она за три секунды разогнала тебя до шестидесяти миль. Поэтому я засмеялась своим серебристым смехом и заметила, что это похоже на наводящий вопрос. Тогда у него сделался очень унылый вид, и он спросил:

— Значит, не нравлюсь, да?

Я сказала, что, напротив, он мне очень нравится, но я подумала, что он устал — сказывается разница во времени — и не совсем понимает, что делает или говорит, и я не хотела этим воспользоваться. Он минуту это переваривал, хмурясь, и я поняла — ты провалила дело, Саманта, но, к моему облегчению, Шалтай-Болтай расплылся в улыбке и сказал:

— Ты абсолютно права. Как насчет десерта? Здесь готовят очень приличное терамису.

Он налил себе вина и выпил, словно наверстывая упущенное, и заказал еще бутылку. Остальное время он проговорил о футболе, не могу сказать, что это моя любимая тема, но, к счастью, мы уже почти закончили. У ресторана он посадил меня в такси, дал водителю десятку и поцеловал меня в щечку, как дядюшка. Смотри, чай развозят. А из чашки ты можешь пить? Хорошо. Я скажу, что, если ты не сможешь, я выпью. А твое печенье взять? Жаль оставлять. М-м-м, с заварным кремом, мое любимое. Как жалко, что ты не можешь съесть ни кусочка.

Так на чем я остановилась? Ах да, так вот, через несколько дней мне передали, что я должна зайти к Олли Силверу в лондонский офис «Хартленда». Все утро я мучилась, что надеть, а чего не надевать, но оказалось, все это было не нужно, потому что он сразу же предложил мне работу. С ним был Хэл Липкин. Они сидели в разных углах длинного дивана и по очереди бросали мне реплики.

— Вы, наверное, обратили внимание, что мистер Пассмор в последнее время ведет себя несколько странно, — сказал Олли.

— У него проблемы в семье, — вступил Хэл.

— Он очень переживает, — сказал Олли.

— И мы за него переживаем, — продолжал Хэл.

— Кроме того, нас волнует судьба нашего шоу, — сказал Олли.

— Мы бы хотели выпустить еще блок, — объяснил Хэл.

— Но возникло одно препятствие, — произнес Олли.

Я не могу тебе сказать, что за препятствие, дорогая, потому что они взяли с меня слово молчать. Я знаю, что ты не общаешься с журналистами, но все равно. Я даже не должна была говорить, что вообще существует проблема. Это страшная тайна. Суть в том, что они хотят, чтобы Пузан переписал последние сценарии нынешнего блока, чтобы расчистить дорогу для дальнейшего развития событий в следующем блоке. Добавить в ситком новую линию, так сказать.

— Но Пузан, по-видимому, не в состоянии сосредоточиться на этой проблеме, — сказал Хэл.

— Поэтому мы считаем, что ему нужен редактор, — подхватил Олли.

— Что-то вроде няньки при драматурге, — уточнил Хэл.

— Человек, который сможет заставить его работать не покладая рук, — добавил Олли.

— Мы изложили это все Пузану, — признался Хэл.

— И он предложил вас, — выдал Олли.

За все это время они не дали мне вставить ни слова-я только смотрела то на одного, то на другого, как зритель в Уимблдоне. Но тут они умолкли, словно ожидая ответа. Я сказала, что польщена.

— Еще бы, — заметил Олли.

— Мы бы предпочли человека поопытнее, — признался Хэл.

— Но отчеты, которые вы мне писали, оказались очень толковыми, — сказал Олли.

— И шоу вы, наверное, знаете как свои пять пальцев, поскольку все время наблюдали за репетициями, — сказал Хэл.

И я ответила:

— Да. Думаю, именно поэтому мистер Пассмор и предложил меня на эту работу.

Олли плотоядно на меня посмотрел и произнес:

— Да, думаю, именно поэтому.

Разумеется, он не знал, что всего несколько дней назад Пузан водил меня в ресторан и сделал недвусмысленное предложение.

Естественно, я решила, что этот новый поворот

означал новую попытку Пузана — довольно робкую — соблазнить меня. Я и не удивилась, что он сразу, как только я приступила к работе, пригласил меня уехать с ним на выходные. Я позвонила ему из моего нового кабинета или, скорее, со своего нового рабочего места в кабинете, где сидят еще две девушки. Все мы редакторы сценариев — почему-то редакторы сценариев почти всегда женщины. Как повивальные бабки. Я сказала:

— Здравствуй, это Саманта, наверное, ты знаешь, что я твой новый редактор.

И он ответил:

— Да, я очень рад, что ты согласилась.

Я ни словом не обмолвилась, что знаю, что он за меня просил, и поинтересовалась:

— Когда мы встретимся?

И тут он и говорит:

— Поедем со мной в Копенгаген на следующие выходные.

— Зачем? — спросила я, и он ответил:

— Мне нужно собрать кое-какой материал.

— Но какое отношение имеет Копенгаген к «Соседям»? — удивилась я.

— Никакого, — последовал ответ. — Я пишу сценарий фильма про Кьеркегора, разве Олли

тебе не сказал?

Я ответила, что нет, Олли ничего толком мне не объяснил, но, разумеется, я буду счастлива помочь ему чем смогу. Он сказал, что закажет билеты на самолет, номера в гостинице и перезвонит — обговорить детали. Я с удовлетворением отметила про себя множественное число — «номера». То есть я понимала, во что ввязываюсь, но у девушки есть своя честь. Не надо так на меня смотреть, Хэтти.

Как только он повесил трубку, я позвонила Олли и сказала, что Пузан, похоже, считает, что меня назначили помогать ему с фильмом про Кьеркегора, а не с «Соседями». Ты знаешь, кто такой Кьеркегор, или, вернее, кто такой был Кьеркегор, дорогая, нет? Ну конечно знаешь, ты же прослушала курс философии, политики и экономики в Оксфорде. Прости. Должна признаться, что до этих выходных он был для меня просто именем, но теперь я знаю про него даже больше, чем мне хотелось бы. Согласись, не самый подходящий герой для ТВ-фильма. Кстати, если ты думаешь, что я неправильно запомнила его имя, так вот, по-датски оно произносится именно так — Кьеркегод, как в слове «год», о чем мне поведал Олли, когда я рассказала,

что Пузан хочет взять меня в Копенгаген и зачем. Я услышала, как он вздохнул, тихонько ругнулся, потом раздался щелчок зажигалки — он раскуривал сигару, — и наконец произнес:

— Послушай, Саманта, дорогая моя, соглашайся, потакай ему во всем, помогай с Кьеркегором, но только постоянно, при любой возможности, напоминай ему про «Соседей», о'кей?

— О'кей, — ответила я.

Ты когда-нибудь была в Копенгагене? Я до этого тоже не была. Очень милый городок, но скучноватый. Очень чистый, очень тихий — по сравнению с Лондоном; там и уличного-то движения нет. Наверно, у них у первых в Европе появился пешеходный торговый район. В каком-то смысле это дает представление о датчанах в целом. Они жуткие приверженцы движения «зеленых» и помешаны на экономии электроэнергии. Мы поселились в роскошном отеле, но отопление стояло чуть ли не на нуле, а в номере лежала карточка с просьбой уменьшить объем стирки и этим помочь сохранению природных ресурсов. С одной стороны карточка была красная, с другой — зеленая, и если ты кладешь ее зеленой стороной вверх, простыни меняют только раз в три дня, а полотенца не

меняют вообще, если только ты не бросишь их на пол в ванной. Все это очень разумно и ответственно, но действует слегка угнетающе. Я хочу сказать, что я такая же «зеленая», как все, и, например, всегда покупаю шампунь в биоразлагающихся бутылочках, но одно из удовольствий проживания в роскошном отеле — это каждую ночь спать на новеньких хрустящих простынях и каждый раз после душа вытираться свежим полотенцем. Все выходные я оставляла свою карточку красной стороной вверх и старалась избегать взгляда горничной, когда встречалась с ней в коридоре.

Мы вылетели из Хитроу в пятницу вечером — первый класс, только самое лучшее, моя дорогая, горячий ужин, настоящие ножи и вилки и выпивки столько, сколько сможешь уговорить за два часа. Я немножко перебрала шампанского и, вероятно, поэтому слишком много говорила, по крайней мере женщина перед нами все время оборачивалась и злобно на меня смотрела, но Пузана это, похоже, только забавляло. Однако к тому времени, как мы добрались до отеля, я почувствовала усталость и сказала, что, пожалуй, сразу лягу спать. Он несколько разочарованно, но учтиво так произнес, мол, конечно, это

хорошая мысль, он поступит так же, чтобы утром встать бодрым. Поэтому мы чинно расстались в коридоре у моей двери под взглядом носильщика. Я рухнула на постель и тут же отключилась.

Следующий день выдался ярким и солнечным, идеальным для пешей прогулки по Копенгагену. Пузан тоже никогда здесь раньше не был. Он хотел прочувствовать этот город, а также присмотреть возможные места натурных съемок Там просто уйма хорошо сохранившихся зданий восемнадцатого и начала девятнадцатого века, но мешают знаки дорожного движения и вывески. Еще есть живописный док, который называется Нюхавн и где на якоре стоят настоящие старые корабли, но настоящие старые здания рядом с доком переделаны в модные рестораны и гостиницы для туристов.

— Возможно, в итоге мы целиком снимем фильм совсем в другом месте, — сказал Пузан, — где-нибудь на Балтике или на Черном море.

Мы пообедали в ресторанчике в Нюхавне — там был «шведский стол», а потом пошли в городской музей, где есть комната Кьеркегора.

Пузан очень волновался в предвкушении, но все обернулось некоторым разочарованием, по крайней мере мне так показалось. Крохотное,

для музея, помещение — тридцать футов на пятнадцать, немного мебели и с полдюжины застекленных витрин со всяким хламом, имеющим отношение к Кьеркегору: его трубки, его лупа, несколько картинок и старые книжки. В антикварном магазине ты даже не обратила бы на них внимания, но Пузан завис над ними, словно над какими-то священными реликвиями. Особенно его заинтересовал портрет невесты Кьеркегора, Регины. Около года они были помолвлены, а потом он разорвал помолвку, но, по словам Пузана, сожалел об этом до конца своих дней. Эта маленькая картина маслом изображала молодую женщину в зеленом платье с глубоким вырезом и в наброшенной на плечи темно-зеленой шали. Пузан не мигая пялился на картину минут пять.

— Она похожа на тебя, — в конце концов выдал он.

— Ты думаешь? — спросила я.

Глаза у нее были темно-карие и такие же темные волосы, так что, видимо, он имел в виду ее большие сиськи. Вообще-то, если быть честной, рот и подбородок у нее немного смахивали на мои, и она, кажется, была веселой — намек на улыбку и огонек в глазах. Чего не скажешь о

Кьеркегоре, если судить по одному рисунку в той же витрине: тощий, скрюченный, длинноносый чудаковатого вида человек в цилиндре и с зонтиком под мышкой, который он держал, как ружье. Пузан пояснил, что эту карикатуру сделали для газеты, когда Кьеркегору было уже за сорок, и указал на другой рисунок, выполненный другом философа, когда тот был молодым человеком, и здесь он выглядел довольно симпатичным, но карикатура почему-то казалась более достоверной. Скрюченная спина у Кьеркегора была от искривления позвоночника. Работать он предпочитал стоя за конторкой, которая находилась в той же комнате среди прочей мебели. Пузан сам немного постоял за ней, делая пометки в своем блокноте, и маленькая девочка-немка, пришедшая в музей со своими родителями, уставилась на него, пишущего, и спросила у отца:

— Ist das Herr Kierkegaard?

Я засмеялась, потому что нельзя было представить
никого, менее похожего на Кьеркегора. Пузан услышал мой смех и обернулся.

— Что такое? — спросил он.

Когда же я объяснила, он покраснел от

удовольствия. Он просто одержим Кьеркегором, особенно его отношениями с этой Региной. Напротив конторки стояло что-то типа буфета высотой футов пять. В музейной брошюре Пузан вычитал, что его сделали по специальному заказу Кьеркегора для хранения памятных вещей, связанных с Региной. Кажется, она умоляла его не разрывать помолвку и сказала, что была бы счастлива, если бы он позволил ей провести остаток жизни с ним, даже если бы ей и пришлось жить в маленьком буфете, вот дура.

— Поэтому внутри нет ни одной полки, — объяснил Пузан. — Чтобы она могла в нем поместиться.

Клянусь, когда он зачитывал это место из брошюры, на глаза у него навернулись слезы.

В тот вечер мы поужинали в ресторане отеля: кухня простая, но продукты великолепные, в основном прекрасно приготовленная рыба. Я взяла печеного палтуса. Я тебя утомила? О, отлично, мне просто показалось, что у тебя на секунду закрылись глаза. Ну так вот, на протяжении трапезы я все время пыталась свернуть беседу на «Соседей», а он настойчиво возвращался к Кьеркегору и Регине. Меня уже просто затошнило. И еще мне очень хотелось

после ужина посмотреть ночной Копенгаген. Я имею в виду, что у него репутация города без предрассудков, со множеством секс-шопов, видеосалонов, живых секс-шоу и всякого такого. Правда, сама я ничего подобного не заметила, но думала, что где-то же это должно быть. Я хотела разведать кое-что и для себя, для своего проекта «Уэстэндеры». Но на мои намеки на сей счет Пузан отреагировал как-то очень вяло, можно было подумать, что он не хочет меня понимать. Я решила, что он, наверно, рассчитывает на секс-шоу с нашим участием, но нет. Около десяти пятнадцати он зевнул и сказал, что день был долгий и, вероятно, пора закругляться. Я прямо обалдела… и, должна признаться, была немного задета. То есть он мне не очень-то нравился, но я ожидала, что он проявит свою симпатию ко мне как-то более ощутимо. Я не могла поверить, что он притащил меня в Копенгаген только для того, чтобы разговаривать о Кьеркегоре.

На следующее утро — это было воскресенье — Пузан настоял, чтобы мы пошли в церковь, так поступил бы Кьеркегор. Видимо, он отличался религиозностью, но она принимала какую-то причудливую эксцентричную форму. Поэтому мы отправились на невероятно мрачную

лютеранскую службу, целиком на датском разумеется, и она нагнала на меня такую тоску, какой не бывало даже во время службы в нашей школе, хоть в это почти невозможно поверить. А после обеда мы пошли на могилу Кьеркегора. Он похоронен на кладбище милях в двух от центра города. Между прочим, по-датски его фамилия означает «церковный двор», так что мы, как заметил Пузан, навещали Кьеркегора на kierkegaard, что было почти единственной шуткой за день. Место оказалось довольно приятным — клумбы, аллеи, обсаженные деревьями. Как сказано в путеводителе, в хорошую погоду жители Копенгагена приходят сюда как в парк, устраивают пикники и тому подобное, но в день нашего визита шел дождь. Могилу мы отыскали с трудом, а когда все же нашли, то она, как и комната в музее, тоже вызвала некоторое разочарование. Это клочок земли, обнесенный чугунной оградой, в центре стоит памятник отцу Кьеркегора, к которому прислонены две каменные плиты с выгравированными на них именами его жены и детей, включая Серена. Это имя Кьеркегора — Сёрен, со смешным перечеркнутым датским «о». Но ты, вероятно, и так это знаешь, да? Извини. Мы несколько минут

постояли под дождем в почтительном молчании. Пузан снял шляпу, и дождь стекал по его лысине, по лицу — с носа и подбородка. Зонта у нас не было, и скоро мне стало неуютно, я промокла, но Пузан во что бы то ни стало хотел отыскать еще могилу Регины. Он где-то вычитал, что она похоронена на том же кладбище. У входа был указатель могил, но Пузан не мог вспомнить фамилию Регины в замужестве, и ему пришлось просматривать колонку за колонкой, пока он не наткнулся на Регину Шлегель. «Это она!» — воскликнул он и рванул искать этот участок — 58Д или какой там он был, — но не смог найти. Участки не очень хорошо обозначены, спросить не у кого, потому что было воскресенье и поливал дождь, и мне уже до смерти надоело шлепать по лужам в насквозь промокшей одежде и обуви, вода капала с деревьев и стекала за шиворот, я заявила, что хочу вернуться в отель, и Пузан довольно сердито ответил, мол, хорошо, поезжай, дал денег на такси, и я поехала. Я долго отмокала в горячей ванне и использовала два чистых полотенца и бросила их оба на пол, попросила чай в номер и, выпив крошечную бутылочку бренди из мини-бара, почувствовала, как улучшается настроение. Пузан вернулся часа через два,

промокший до нитки. И разочарованный, потому что найти могилу Регины ему не удалось, а вернуться завтра утром и у кого-нибудь спросить времени уже не будет, потому что мы должны успеть на ранний рейс.

Вечер протекал по уже отработанному сценарию: ужин в ресторане отеля, за которым последовало предложение Пузана пораньше лечь спать — в своих номерах. Я просто не верила своим ушам. И начала спрашивать себя, может, со мной что-то не так, может, плохо пахнет изо рта, но я проверила перед сном — запах был приятный и свежий. Тогда я разделась и осмотрела себя в зеркало, но ничего подозрительного тоже не увидела, я даже подумала, что будь я мужчиной, то не смогла бы себя не лапать, понимаешь? Честно говоря, похоть начала меня одолевать из чистой неудовлетворенности, и сна ни в одном глазу, поэтому я решила посмотреть фильм для взрослых по гостиничному видеоканалу. Взяла из мини-бара полбутылки шампанского, уселась в халате перед телевизором и включила его. Ну, моя дорогая, вот это был сюрприз! Не знаю, видела ли ты когда-нибудь подобные фильмы в британской гостинице. Нет? Ты ничего не потеряла, можешь мне поверить. Иногда ради интереса я смотрела

их в раммиджском «Пост-Хаусе», когда оставалась в гостинице приглядывать за Марком. Я обязана была убедиться, что маленький Харрингтон не сможет их посмотреть. Администрация гостиницы ставила блокировку на телевизор в его номере, к большому неудовольствию мальчишки. На самом деле в тех фильмах не было ничего такого, чего нет во многих программах сетевого телевидения, даже еще меньше, и единственная разница в том, что так называемые фильмы для взрослых полностью состоят из постельных сцен и выглядят ужасно дешево, актеры играют отвратительно и произносят немыслимо идиотские реплики. Фильмы эти чрезвычайно короткие, а многие сцены грубо обрезаны, потому что ради показа в гостиницах все по-настоящему непристойные эпизоды убирают. Ну, я наделась, вдруг датские окажутся чуток посмелее, но к такому крутому порно я не была готова. Я включила на середине фильма, там в постели кувыркались двое обнаженных мужчин и девушка. У обоих мужчин была совершенно невероятных размеров эрекция, и девушка сосала одного из них с такой жадностью, словно от этого зависела ее жизнь, а второй приходовал ее сзади, ну, ты понимаешь, по-

собачьи. Я не могла поверить своим…

Что? Простите, но я не с вами разговариваю. Ничем не могу помочь, если у вас такой необыкновенно хороший слух. Если вы не хотите подслушивать частную беседу других людей, может, наденете наушники и послушаете радио?

Хм! Какая наглость. Нет, конечно, мне очень жаль, что у нее кесарево и все такое прочее, но нельзя же быть такой сварливой. Да я совсем негромко и разговаривала-то, правда? О, ладно, Хэтти, я пододвину стул поближе к твоей кровати и буду шептать тебе на ухо, так лучше? Ну так вот, эти трое в фильме сосали и трахали друг друга как сумасшедшие и минут через десять разразились грандиозным оргазмом… нет, правда, Хэтти, по-настоящему. По крайней мере, мужчины точно, потому что вытащили свои члены, чтобы показать, как сперма заливает все вокруг. А девица натерла ею щеки, словно лосьоном для кожи. Ты хорошо себя чувствуешь, дорогая? Ты немножко побледнела. Время? Сейчас… Боже мой, уже половина четвертого. Я скоро уже пойду, только закончу свой рассказ. Ну вот, фильм продолжался все в том же духе. В следующей сцене две обнаженные девушки, черная и белая, по очереди лизали друг друга, но они были не

настоящими лесбиянками, потому что двое мужчин из предыдущей сцены подглядывали за ними в окно, а потом вошли к ним и устроили еще одну оргию. Не побоюсь признаться, что к этому моменту я просто уже текла от возбуждения и вся пылала. Никогда в жизни я не чувствовала такой неудовлетворенности. Я была *вне* себя. В тот момент я бы трахнулась с *любым,* а что уж говорить о милом, чистеньком английском сценаристе из соседнего номера, пригласившем меня в Копенгаген, как я думала, именно с этой целью. Его сдерживает только застенчивость, решила я. Надо ему позвонить, сообщить о потрясающем видеоканале, который я обнаружила, и пригласить посмотреть его вместе со мной. Я рассудила так: несколько минут перед экраном, рядом я в халате на голое тело — и всю его застенчивость как рукой снимет. Надо, вероятно, добавить, что к этому времени я прикончила полбутылки шампанского, перевозбудилась и потеряла голову. Он снял трубку далеко не сразу, поэтому я спросила, не разбудила ли его. Он ответил, что нет, он смотрел телевизор и просто сделал потише, прежде чем снять трубку. Но не настолько тихо, чтобы я не смогла расслышать бренчание музыки диско,

стоны и вздохи. Диалогов в этих фильмах совсем немного. Работы для редактора, пожалуй, тоже. Хихикнув, я сказала:

— По-моему, ты смотришь тот же фильм, что и я.

Жутко смутившись, он что-то пробормотал, а я предложила:

— Может, вместе смотреть будет веселее? Приходи ко мне в номер?

Последовало молчание, потом он ответил:

— Думаю, не стоит.

А я спросила:

— Почему?

И он сказал:

— Я так думаю, и все.

Так мы попрепирались немного, а потом я потеряла терпение и заявила:

— Бога ради, что с тобой? На прошлой неделе в итальянском ресторане ты недвусмысленно дал мне понять, что я тебе нравлюсь, а теперь, когда я практически вешаюсь тебе на шею, ты даешь задний ход. Зачем ты привез меня сюда, если не хочешь со мной спать?

Новая пауза, и потом он проговорил:

— Ты совершенно права, я действительно поэтому попросил тебя поехать со мной, но когда

оказался здесь, то обнаружил, что не могу этого сделать.

Я спросила почему. Он ответил:

— Из-за Кьеркегора.

Мне это показалось жутко смешным, и я сказала:

— Мы ему не скажем.

Он ответил:

— Нет, я серьезно. Возможно, вечером в пятницу, если бы ты так не устала…

— Ты хочешь сказать, не перебрала, — заметила я.

— Думай как хочешь, — сказал он. — Но как только я начал узнавать Копенгаген и размышлять о Кьеркегоре, и особенно побывав в его комнате в музее, я словно почувствовал его присутствие, какой-то дух или добрый ангел сказал мне: «Не эксплуатируй эту юную девушку». Понимаешь, он особенно трепетно относился к юным девушкам.

— Но я умираю — хочу, чтобы меня поэксплуатировали, — заявила я. — Приходи и эксплуатируй меня в какой хочешь позиции. Посмотри же на экран, немедленно. Хочешь так? Я проделаю это с тобой.

Я не стану говорить тебе, дорогая, что

показывали, тебя это может шокировать.

— Ты сама не знаешь, что говоришь, — сказал он. — Утром ты об этом пожалеешь.

— Нет, не пожалею, — ответила я. — И кстати, почему ты смотришь этот грязный фильм, если ты такой добродетельный? Разве Кьеркегор это одобрил бы?

— Вероятно, нет, — сказал он, — но я никому не причиняю зла.

— Пузан, — проворковала я своим самым обольстительным тоном, — я тебя хочу. Ты мне нужен. Сейчас. Приходи. Возьми меня.

Он застонал и ответил:

— Не могу. Я только что использовал полотенце.

До меня дошло секунды через две, и я рявкнула:

— Что ж, надеюсь, ты оставил его на полу, чтобы следующий постоялец им не воспользовался, — и в ярости швырнула трубку. Выключила телевизор, проглотила снотворное с крохотной бутылочкой скотча и вырубилась.

Наутро все происшедшее предстало передо мной в смешном свете, но Пузан не мог смотреть мне в глаза. Вместе с авиабилетом он оставил у портье для меня записку, в которой говорилось,

что он поехал на кладбище поискать могилу Регины и вернется более поздним рейсом. Ну, что ты думаешь по поводу этой истории? О, я забыла, что ты не можешь говорить. Неважно, мне все равно надо бежать. О, дорогая, я съела весь твой виноград. Послушай, я приду завтра и принесу еще. Нет? Ты думаешь, что тебя уже выпишут? Правда? Что ж, тогда я позвоню тебе домой. До свиданья, дорогая. Мы прекрасно поговорили.

Салли

Прежде чем мы начнем, доктор Марплз, я бы хотела определить повестку нашей встречи, тогда не будет никаких недоразумений. Я согласилась увидеться с вами, потому что хочу, чтобы Пузан осознал — наш брак распался. Я готова помочь вам, а вы помогли бы ему свыкнуться с этим фактом. В примирении я не заинтересована. Надеюсь, я выразилась достаточно ясно. Поэтому я и сказала в своем письме, что встречусь с вами только на моих условиях. Вопрос о сохранении брака уже не стоит, совершенно. Абсолютно уверена. Да, мы пытались раньше… разве Пузан вам не рассказывал? Лет пять назад. Мы обращались к кому-то из «Рилейта»

[44] [broken link: #_ftn44]. После нескольких

недель наших совместных консультаций Пузану порекомендовали полечиться от депрессии с помощью психотерапии. Об *этом* он вам, наверное, говорил? Да, к доктору Уилсону. Ну, он походил к нему с полгода, и на некоторое время его состояние как будто улучшилось. Поскольку наши отношения наладились, в «Рилейт» мы больше не обращались.

Но не прошло и года, как Пузан стал хуже прежнего. Я решила, что он уже больше не изменится и что мне лучше так устроить свою жизнь, чтобы как можно меньше зависеть от его настроения. Я с головой окунулась в работу. Видит бог, ее было невпроворот. Преподавание, научная и административная работа — комитеты, рабочие встречи, разработка учебного плана и тому подобное. Мои коллеги жалуются, что в наши дни в высшей школе много бумажной работы, но я расправляюсь с ней даже с удовольствием. Мне приходится считаться с тем, что я никогда не совершу переворота в науке, я слишком поздно начала, но я хороший администратор. Моя тема — психолингвистика, освоение языка маленькими детьми. Мне случайно удалось опубликовать доклад. Он говорил? Ну, он ни слова там не понял, но на него легко произвести впечатление. Пузан

не такой уж интеллектуал. Я хочу сказать, что у него удивительное чутье на особенности устной речи, но абстрактно размышлять об этом он не способен. У него все держится на интуиции.

Таким образом, я погрузилась в работу. Тогда о разводе я даже не помышляла. Меня воспитывали в строгих правилах, мой отец был викарием англиканской Церкви, и развод у меня всегда ассоциировался с неким клеймом. В каком-то смысле это признание собственного поражения, а я не люблю проигрывать ни в чем, за что берусь. Знаю, что остальным — друзьям, родственникам, даже нашим детям — наш брак, должно быть, казался очень удачным. Он так долго длился без всяких видимых потрясений, а уровень нашей жизни после успеха Пузана стремительно вырос. У нас был большой дом в Холлиуэлле, квартира в Лондоне, две машины, отдых в роскошных отелях и так далее. Дети закончили университет и благополучно устроились во взрослой жизни. Думаю, что многие наши знакомые завидовали нам. Было бы досадно… все эти последние недели действительно было досадно признавать, что все это была одна видимость. И еще, наверно, я стремилась избежать горечи и злости, которые неотделимы от развода. Мы достаточно повидали

и того и другого у наших друзей. Я думала, что если полностью посвящу себя работе, то дома смогу примириться с настроениями Пузана. И стала приносить работу домой, как дополнительную защиту. Это была стена, за которой я могла укрыться. Я думала, что до тех пор, пока нам нравится делать что-то вместе, например, играть в теннис, в гольф и по-прежнему регулярно заниматься сексом, этого будет достаточно, чтобы сохранить наш брак. Да, однажды я прочитала статью, которая произвела на меня огромное впечатление, где говорилось, что после пятидесяти разрыв супругов почти всегда связан с потерей интереса к сексу у одного из них. Поэтому я старалась изо всех сил. В смысле, если он не предлагал, предлагала я. После занятий спортом настроение у нас всегда было хорошее, физическая нагрузка приносила нам обоим приятную усталость. Я думала, что спорта, секса и спокойного образа жизни будет достаточно, чтобы преодолеть Трудные Пятидесятые — в смысле годы жизни после пятидесяти, а не пятидесятые годы двадцатого века, кстати, статья так и называлась, я сейчас вспомнила — «Трудные пятидесятые».

Что ж, я ошибалась. Этого было недостаточно.

И разумеется, больное колено Пузана делу не помогло. Оно разлучило нас в спорте — он больше не мог со мной тягаться, и из-за него произошло охлаждение в сексуальной жизни. Он оберегал его недели, месяцы после операции, и даже гораздо позже колено по-прежнему занимало его больше, чем какие-то там удовольствия. Когда же стало ясно, что операция успеха не имела, он впал в еще более глубокую депрессию. Весь прошедший год с ним просто невозможно было жить. Он полностью ушел в себя, не слышал ни слова из того, что ему говорили другие. Ну, наверное, он должен был слушать своего агента и своего продюсера и так далее, иначе он вряд ли мог работать, но он не вникал в то, что говорила ему я. Вы не представляете, как это бесит, когда ты несколько минут разговариваешь с человеком, он кивает и выразительно поддакивает, а потом ты понимаешь, что он не понял ни одного твоего слова. Чувствуешь себя полной дурой. Это как на уроке — объясняя классу материал, пишешь на доске, а, обернувшись, видишь, что все тихонько ушли и ты неизвестно сколько времени разговариваешь сама с собой. Но чаша моего терпения переполнилась, когда я сказала ему, что звонила Джейн и сообщила, что беременна

(Джейн — это наша дочь) и что они с ее другом собираются пожениться, а он только буркнул: «Да? Хорошо» — и снова уткнулся в своего проклятого Кьеркегора.

И еще, вы не поверите, но даже когда я собралась с силами и сказала ему, что с меня довольно и я хочу жить отдельно, он сначала тоже не слушал, что я говорю.

Это его увлечение Кьеркегором нельзя воспринимать всерьез. Я же сказала вам, что Пузан не интеллектуал. Это просто причуда, способ произвести впечатление на окружающих. Возможно, на меня. Возможно, на себя самого. Способ возвеличить, возвести свою заурядную депрессию в сан экзистенциальной Angst. Нет, я сама ничего этого не читала, но примерно знаю, о чем там. Мой отец, бывало, цитировал его в своих проповедях. Нет, больше не хожу, но в детстве, конечно, ходила каждое воскресенье — утром и вечером. Может, поэтому одержимость Пузана Кьеркегором кажется мне нелепой. У Пузана абсолютно светское воспитание, он совершенно ничего не знает о религии, а я через это прошла. Болезненный был опыт, надо сказать. Годами я скрывала от своего отца, что потеряла веру. Думаю, когда я наконец призналась, это разбило

ему сердце. Возможно, я слишком долго не решалась рассказать о своих истинных чувствах, как сейчас Пузану насчет нашего брака.

Ну, я бы могла ответить, что вас это не касается, верно? Но я скажу — нет, у меня никого нет. Наверное,
Пузан излагает вам свои параноидальные фантазии. Вам известно о его смехотворных подозрениях насчет моего инструктора по теннису? Бедняга, я с тех пор в глаза ему не могу посмотреть, не то что брать у него уроки. Я действительно не знаю, с чего вдруг Пузан так обезумел от ревности. Наверное, он просто не в состоянии признать, что проблемы нашего брака в нем. Лишь бы свалить вину на кого угодно — на меня, на моего мифического любовника. Для каждой из заинтересованных сторон было бы гораздо лучше, если бы он трезво взглянул в лицо фактам. Я всего лишь хотела, чтобы мы расстались друзьями, разумно урегулировав наши финансовые отношения. Исключительно по его вине все это переросло в настоящую войну — с адвокатами, судебными предписаниями, раздельным проживанием в одном доме и так далее. Он еще может избежать ненужной боли и лишних расходов, согласившись на развод и

назначив мне справедливое содержание. Нет, не живет. В своей квартире в Лондоне, скорей всего. Не знаю, последние несколько недель я его не видела. Счета продолжают приходить — за газ, за электричество и прочее, я посылаю их ему, но он их не оплачивает, и мне пришлось заплатить самой, чтобы ничего не отключили, а это несправедливо. На следующий день после того как я уехала из дома, он по злобе снял большую часть денег с нашего общего банковского счета, а все депозитные счета открыты только на его имя, поэтому мне приходится нести все расходы из своей зарплаты, включая гонорары адвокатам. Мне действительно очень непросто сводить концы с концами.

Нет, я не испытываю к нему ненависти, несмотря на его поведение. Мне его жаль. Но я больше ничего не могу для него сделать. Он должен сам заняться своим спасением. А мне приходится самой защищать свои интересы. Я не бессердечная женщина. Пузан представляет дело таким образом, но я не такая. Мне все это нелегко — общение с адвокатами и прочее. Но, решившись на этот шаг, я должна довести дело до конца. Это мой последний шанс начать независимую жизнь. Думаю, я еще достаточно

молода. Да, я на несколько лет моложе Пузана.

Это было так давно. Вообще-то мы были совершенно разными людьми. Я жила тогда в Лидсе, преподавала в начальной школе, и в один прекрасный день он появился там с театральной труппой, гастролировавшей по школам. Пятеро молодых людей, будущих актеров, которые не могли вступить в театральный профсоюз, создали на небольшие средства труппу и поехали по стране в старом микроавтобусе с прицепом, полным реквизита. Для старшеклассников они показывали упрощенные версии шекспировских пьес, а для младших детей сказки. Откровенно говоря, получалось у них не очень, но недостаток мастерства они восполняли энтузиазмом. Когда представление закончилось и дети разошлись по домам, мы пригласили их в учительскую на чай с печеньем. Они показались мне жутко богемными, эдакими искателями приключений. А моя жизнь была такой приличной, без тревог и забот. Я изучала английский в «Ройял Холлоуэй», женском колледже Лондонского университета, расположенном в суррейском «поясе биржевых маклеров». Мои родители настаивали, чтобы я училась в колледже с раздельным обучением, если не хочу жить дома, а вступительные

экзамены в Оксбридж я провалила, поэтому оставался «Ройял Холлоуэй» либо университет Лидса. Я была преисполнена решимости уехать из дома, но в аспирантуру пришлось вернуться в Лидс, чтобы сэкономить деньги. Я выбрала преподавание в начальной школе — мало кто из выпускников шел на это, — потому что отнюдь не горела желанием воевать с хулиганами из государственных единых школ, которые шли на смену классическим школам, в какую ходила я сама. В те дни я носила вязаные двойки пастельных тонов, знаете, были такие — джемпер и кардиган плюс юбка в складку до середины икры, практичные туфли и почти совсем не пользовалась косметикой. А эти молодые актеры с длинными сальными волосами ходили в грубых темных дырявых свитерах и много курили. Труппа состояла из трех парней и двух девушек, и чаще всего они все вместе спали в микроавтобусе, как сказал мне Пузан, из экономии. Как-то раз, остановившись на вершине холма, Пузан не закрепил как следует ручной тормоз, и микроавтобус медленно покатился вниз и катился, пока не уперся в полицейский участок. Пузан так забавно об этом рассказывал, что я невольно расхохоталась. Думаю, именно это и

привлекло меня в нем — он мог меня рассмешить, неожиданно и остроумно. Дома у нас шутили обычно с вежливой сдержанностью, а мы, дети, между собой — презрительно и саркастически. С Пузаном я засмеялась, прежде чем успела осознать, что смеюсь. Если бы я попыталась определить, что в последние несколько лет было в нашем браке не так, почему я ничего не получала — ни счастья, ни радости жизни, — я бы сказала: потому что он больше не заставлял меня смеяться. Какая ирония, не правда ли, как подумаешь, что каждую неделю он заставляет смеяться над своей программой миллионы людей. Но только не меня. Я нахожу ее абсолютно несмешной.

Во всяком случае, в тот первый день он довольно нахально попросил мой номер телефона, а я довольно необдуманно его дала. Пока он с друзьями оставался в районе Лидса, я несколько раз встречалась с ним в па- бах. В пабах! До встречи с Пузаном я ни разу в жизни, пожалуй, не была в пабе. Домой я его не приглашала. Знала, что родители не одобрят — хотя никогда и не признаются почему: потому что он был неопрятный, малообразованный и говорил с акцентом кокни. Наверно, вы знаете, что он

бросил учиться в шестнадцать лет? Да, сдав всего пару экзаменов за среднюю школу.

В одиннадцать лет пошел в классическую школу, но так и не приспособился там, всегда был самым последним в классе. Не знаю… думаю, сочетание темперамента, плохого преподавания и недостатка поддержки в семье. Его родители из рабочих… очень достойные люди, но они не придавали большого значения образованию. Как бы то ни было, Пузан ушел из школы при первой возможности, стал рассыльным у театрального импресарио и вот так заинтересовался сценой. После службы в армии он поступил в театральную школу и попытался стать актером. Тогда я с ним и познакомилась. В репертуаре той автобусной труппы он играл все комические роли и писал сценарии к сказкам. И со временем понял, что пишет лучше, чем играет. Мы поддерживали связь и после того, как труппа покинула Йоркшир. В то лето, ничего не сказав родителям, я поехала в Эдинбург, где ребята показывали свое представление на фестивале — разумеется, в разделе экспериментального театра, — я распространяла приглашения и программки. Затем, во многом против воли родителей, я поступила на свое первое учительское место в

Лондоне, зная, что Пузан обосновался там. Их автобусная труппа распалась, и он едва сводил концы с концами, устроившись на временную работу в какой- то конторе, а в свободное время писал репризы для комиков, выступавших на эстраде. Мы начали встречаться регулярно. В конце концов в один из выходных я привезла его к нам домой, познакомить с семьей. Я знала, что встреча будет неприятной, так и вышло.

У моего отца был приход в Лидском предместье, которое на протяжении десятилетий постепенно приходило в упадок Церковь была огромная, в неоготическом стиле, из потемневшего красного кирпича. Не помню, чтобы хоть раз она была полна. Ее построили на вершине холма богатые промышленники и торговцы, которые из поколения в поколение жили вокруг в больших каменных особняках с видом на свои фабрики, склады и спускавшиеся уступами по склонам холма улицы, где обитали рабочие. Когда мой отец получил этот приход, там еще оставались владельцы особняков — управляющие высшего звена, — но большие дома в основном уже были разделены на квартиры, заселенные в пятидесятые годы многодетными семьями выходцев из Азии. Мой отец был честным,

благонамеренным
человеком, который читал «Гардиан», когда газета еще называлась «Манчестер гардиан», и делал все от него зависящее, чтобы церковь откликалась на нужды жителей «старого города», но «старый город», похоже, не очень был в этом заинтересован, если не считать свадеб, крестин и похорон. Моя мать неизменно его поддерживала, экономя и откладывая деньги, чтобы воспитать детей в респектабельном стиле среднего класса на скудное жалованье священника. Я была вторым ребенком. Мы все ходили в местную классическую школу для девочек, но жили словно бы в культурном вакууме, изолированные от жизни наших ровесников. Телевизора у нас не было, отец не одобрял, а кроме того, мы не могли себе его позволить. В кино мы ходили редко, а впечатления были так сильны, что выбивали меня из колеи, поэтому ребенком я скорее страшилась этого. Патефон у нас был, но записи только классические. Мы все учились играть на разных музыкальных инструментах, но никто из нас не обладал настоящим талантом, и когда, бывало, вся семья садилась и, спотыкаясь, одолевала какое-нибудь камерное произведение, начинали выть соседские собаки. Мы вели

трезвый образ жизни — опять же наполовину из экономии, наполовину из принципа. И все очень любили поспорить. Спор на очки во время семейных трапез был излюбленной формой отдыха.

Пузана это совершенно сбило с толку. Он вообще не привык к семейным застольям. Они с матерью, отцом и братом очень редко собирались за столом вместе, если не считать обеда в воскресенье и в другие выходные дни и праздники. И он, и его отец, и брат — все ели дома порознь, в разное время, не совпадая ни друг с другом, ни с миссис Пассмор. Когда вечером все возвращались домой, с работы или из школы, она каждого спрашивала, чего ему хочется, а потом готовила и подавала еду, словно в кафе, а они ели, читая кто газету, кто книгу, прислоненную к солонке. Я глазам своим не поверила, когда первый раз оказалась у них дома.

Лоренса наш домашний уклад тоже удивил. Однажды он назвал его «таким же архаичным, как «Сага о Форсайтах»: сбор en famille два или три раза в день, чтение молитвы до и после еды, полотняная салфетка, которую ты, поев, должен сложить в свое личное кольцо, чтобы лишний раз не стирать, и для всего

свои столовые приборы, какими бы старыми и потускневшими они ни были — суповые ложки для супа, рыбные ножи и вилки для рыбы и так далее. Готовили у нас просто отвратительно, а если что и получалось вкусно, все равно нельзя было наесться вдоволь, зато все подавалось с подобающими церемониями и этикетом. Бедный Пузан в те первые выходные все перепутал. Он принялся есть до того, как подали всем, ел суп десертной ложкой, а десерт — суповой и совершил все возможные faux pas, над которыми мои младшие брат и сестра посмеивались в рукав. Но что действительно поразило его, так это наши пикировки во время застолья. Правда, назвать их настоящей дискуссией было трудно. Отец считал, что побуждает нас мыслить самостоятельно, но в действительности накладывал очень строгие ограничения на то, что разрешалось говорить. Например, нельзя было оспаривать существование Бога, или истинность христианства, или нерушимость брака. Мы, дети, очень скоро приспособились к этим рамкам, и домашние беседы стали больше напоминать игры по набиранию очков, главным было дискредитировать брата или сестру в глазах других членов семьи. Если ты

неправильно употреблял слово или допускал какую-то фактическую ошибку, остальные обрушивались на тебя со всей беспощадностью. С этим Пузан вообще не мог справиться. Разумеется, много позже он использовал это в «Соседях». Спрингфилды и Дэвисы в основном списаны с моей и с его семьи, mutatis mutandis

[45] [broken link: #_ftn45]. Спрингфилды абсолютно светские люди, но эта смесь надменности и склонности поспорить, неосознанный снобизм и предрассудки - все восходит к первому впечатлению Пузана от моей семьи, тогда как более шумные Дэвисы - в чем-то идеализированный образ его семьи, дополненный дядей Бертом и тетушкой Молли. Думаю, именно поэтому мне его программа никогда особенно не нравилась. Она пробуждает слишком много болезненных воспоминаний. А наша свадьба вылилась в настоящий кошмар - два совершенно несовместимых, раздражавших друг друга семейства.

Почему я за него вышла? Я думала, что люблю его. Может, и любила. Что такое любовь, кроме твоего убеждения, что ты любишь? Я страстно желала взбунтоваться против своих родителей, не зная, как это сделать. Брак с Пузаном был

способом заявить о своей независимости. И мы оба отчаянно хотели сексуальных отношений — я имею в виду обычный аппетит юности, — но все равно я и помыслить не могла о них вне брака. И потом, в те дни Пузан был неотразим. Он верил в себя, в свой талант и меня заставил верить. Но самое главное, с ним было весело. Он умел меня рассмешить.

Часть третья

Вторник, 25 мая. Платаны у меня под окнами оделись листвой: довольно безжизненной, анемичной листвой, и цветов на них нет, не то что кремовые фаллические свечки каштанов за окном моего кабинета в Холлиуэлле. И белки, само собой, по этим веткам не носятся, чему тут удивляться. Учитывая уровень загрязнения воздуха в центре Лондона, я должен еще сказать спасибо — и я говорю, — что здесь хоть деревья растут. Между Бруэр-стрит и Риджент-стрит есть узенький, ничем не примечательный проход, который называется Воздушная улица; я всегда усмехаюсь при виде таблички с этим названием. Именно усмехаюсь, а не смеюсь, потому что улочка эта неизменно забита транспортом, который изрыгает канцерогенные выхлопы, так что хочется покрепче сжать губы. Воздушная улица. Не знаю, почему она так называется, — продавая здесь воздух в бутылках, можно сколотить состояние.

Теперь, когда я постоянно живу в этой квартире, она вызывает у меня приступы клаустрофобии. Мне не хватает благоуханного

воздуха Холлиуэлла, не хватает белок, играющих в саду в догонялки, не хватает тишины, какая бывает днем на улицах предместий, где летом самый громкий звук — отдаленное жужжание газонокосилки или чпоканье теннисного мяча. Но я больше не мог выносить напряжения, живя в одном доме с Салли. Молча, с каменным лицом проходить мимо нее на лестнице или в коридоре; обмениваться
краткими записками-обвинениями («Если ты непременно хочешь замачивать свое белье, пожалуйста, вынь его до того, как подойдет моя очередь пользоваться хозяйственной комнатой». «Поскольку в последний раз ополаскиватель для посудомоечной машины покупала я, возможно, теперь это захочешь сделать ты»); прятаться, когда она открывает парадную дверь соседу или торговцу, чтобы избежать вынужденного общения с ней в их присутствии; снимать трубку, собираясь позвонить, и бросать ее как ошпаренный, потому что Салли уже говорит, а потом превозмогать искушение нажать кнопку и подслушать… Кто бы ни придумал эту забаву с «раздельным хозяйством», он обладал наклонностью к садизму… или извращенным чувством юмора. Когда я описал все это Джейку,

он сказал:

— А знаешь, это отличная идея для ситкома.

С тех пор я с ним не разговариваю.

Вернувшись к ведению этого дневника, я испытываю странные чувства. В моих записях довольно большой пропуск. После того вечера, после заявления Салли, произведшего эффект разорвавшейся бомбы (кстати, почему так говорят? Что имеется в виду — граната, или мина, или примитивная авиабомба вроде тех, что метали из открытых кабин старых бипланов? В словаре ничего не нашел), — после того как Салли ворвалась в кабинет в ту пятницу вечером и объявила, что хочет жить отдельно, я несколько недель был слишком расстроен, чтобы писать, пусть даже и в дневнике. Я был вне себя от ревности, злости и жалости к себе. (Вот хорошее толкование выражения «вне себя»: ты настолько переполнен отрицательными эмоциями, что твой разум отделяется от тела, связь между ними нарушается, и ни один не в состоянии выразить боль другого.) Я мог думать только о том, как досадить Салли: создать проблемы с деньгами; выследить и разоблачить любовника, который, я был уверен, у нее есть; самому закрутить с кем-нибудь роман. Интересно, как мне могло

прийти в голову, что это, последнее, средство хоть каплю ее взволнует? Даже если бы я сделал что хотел, как бы я сообщил ей об этом, ведь тогда она могла бы подать на быстрый развод в связи с изменой. Если бы я попытался разобраться в запутанных и изношенных проводах своих тогдашних мотиваций, мне пришлось бы признать, что я просто силился наверстать упущенные возможности разгульной жизни.

Когда Салли в одностороннем порядке объявила о своей независимости, больнее всего меня задело то, что она отторгла меня как личность, тем самым дав понять, что все наши тридцать лет совместной жизни или значительная их часть, с ее точки зрения, ничего не стоит, не имеет смысла. После ее ухода я сел на пол в гостиной со всеми нашими семейными фотоальбомами, в которые давно не заглядывал, разложил их вокруг себя и стал листать, а слезы катились у меня по щекам. Невыносимо мучительно смотреть на эти снимки! Салли с детьми — улыбаются в объектив, сидя в шезлонгах, ребятишки в колясках, на качелях, рядом с замками из песка, на пруду, в бассейне, на велосипеде, верхом на пони, на палубе парома, пересекающего Ла-Манш, и в патио французских gites

[46] [broken link: #_ftn46]. С каждым годом дети становились все выше и крепче, у Салли все больше худело лицо и прибавлялось седины, но она всегда выглядела здоровой и счастливой. Да, счастливой. Ведь камера не может солгать? Я шмыгал носом, утирал слезы и сморкался, пристально вглядываясь в яркие цветные кодаковские карточки, словно мог различить в лице Салли какой-то знак будущей неприязни. Но масштаб снимка был слишком мал, и я не мог рассмотреть ее глаза, а ведь только они способны выдать истинные мысли человека. Наверно, все это была одна видимость - наш «счастливый брак», улыбка перед камерой.

Перестав верить в свой брак, сразу начинаешь сомневаться
в своем восприятии действительности. Я думал, что знаю Салли, — внезапно обнаружилось, что это не так. Значит, скорее всего, я не знаю и себя. Возможно, я вообще ничего не знаю. От такого умозаклкючения голова пошла кругом, и я загнал его внутрь себя поглубже, найдя прибежище в гневе. Я сделал из Салли исчадие ада. Только она была виновата в развале на шей семьи. Сколько бы правды ни содержалось в ее жалобах на мою эгоцентричность, частую смену настроений,

рассеянность и т. д. и т. п. (а по общему мнению, мое невнимание к известию о беременности Джейн было существенным проколом), они не могли служить достаточным основанием для того, чтобы бросить меня. Должна быть другая причина, а именно другой мужчина. В нашем кругу предостаточно примеров неверности, подтверждающих это предположение. И наш образ жизни после того, как дети покинули дом, с легкостью позволил бы Салли завести другую привязанность — два дня в неделю я жил в Лондоне, а ее профессиональная жизнь была для меня закрытой книгой, как я уже понял. Особенно меня злило то, что сам я этой ситуацией не пользовался. Хотя «злость» не совсем то слово. Негодование, или, как сказала бы по-французски Эми, chagrin, лучше передает мои чувства — скрежет зубовный, сдерживаемый гнев, мысленное «ты-об-этом-пожалеешь». Досада охватывала меня при мысли о тех женщинах, которыми я мог обладать в течение своей профессиональной деятельности, особенно в последние годы, если бы не вздумал хранить верность Салли: актрисы и ассистентки режиссера, сотрудницы отдела рекламы и секретарши — все они так восприимчивы к

mana

[47] [broken link: #_ftn47] успешного сценариста. Как однажды поведала мне Эми, Фрейд сказал, что всеми писателями движут три побудительных мотива: слава, деньги и любовь женщин (или мужчин, как можно предположить, хотя не думаю, чтобы Фрейд принимал всерьез писателей-женщин или геев). Я признаю, что первые два мотива мне не чужды, но от третьего я старательно воздерживался из принципа. И какую же награду я получил? Выброшен за ненадобностью, как только иссякли мои сексуальные силы.

Эта последняя мысль вызвала у меня приступ паники. Сколько еще лет мне осталось, чтобы наверстать Упущенные в прошлом возможности? Я вспомнил, как написал в своем дневнике несколько недель назад: «Не получится превратить свое последнее совокупление в торжественное мероприятие, потому что ты не узнаешь, что оно последнее, пока оно не наступит; а когда узнаешь, то оно уже сотрется у тебя из памяти». Я попытался вспомнить, когда мы с Салли в последний раз занимались любовью, и не смог. Посмотрел по дневнику и нашел запись в субботу 27 февраля. Подробностей не было,

только то, что Салли удивилась, когда я проявил инициативу, и довольно вяло подчинилась. Все это лишь разожгло мои подозрения. Я перевернул еще несколько страниц назад, до разговора в клубе со своими партнерами по теннису: «Ты присматривай за своей хозяйкой, Пузан… Говорят, он и по другой части не промах… Да, снаряжение у него что надо». В голове у меня, подобно искре, вспыхнула разгадка тайны. Бретт Саттон, ну конечно! Уроки тенниса, новые спортивные костюмы, внезапное решение покрасить волосы… Все совпало. В мозгу у меня закрутился порнофильм — обнаженная Салли на кушетке в медпункте клуба закидывает в экстазе голову, а Бретт Саттон терзает ее своим огромным членом.

Я обнаружил, что ошибался насчет Бретта Саттона. Но необходимость самому как можно скорее заняться сексом — из мести, в качестве компенсации, чтобы вернуть уверенность в себе, — превратилась в манию. Естественно, первым делом я подумал про Эми. В течение нескольких лет наши отношения несли в себе все признаки романа: постоянные тайные встречи, ужины в ресторане, разговоры намеками по телефону, взаимные признания — все, кроме

самого полового акта. Я не переходил этой границы, чтобы не изменить Салли. Теперь у меня не было сдерживающих моральных обязательств. Так я сказал себе сразу после бомбы Салли. Чего я не решил, так это: а) действительно ли я желаю Эми и б) желает ли меня она. На Тенерифе мы узнали, что ответ на оба эти вопроса — нет.

Среда, 26 мая. Сегодня утром пришли письма от Джейн и Адама. Мне не хотелось их читать — уже от одного знакомого почерка на конвертах у меня засосало под ложечкой, но я не мог ни на чем сосредоточиться, пока не вскрыл их. В обоих были короткие записки с вопросом, как я себя чувствую, и с приглашением приехать погостить. Я подозреваю некий благой тайный сговор: слишком уж невероятное совпадение — получить их в один день.

Еще до того как Салли вернулась в дом для ведения «раздельного хозяйства», я встретился сначала с Адамом, а потом с Джейн. С сыном я как-то пообедал в Лондоне, а потом поехал на выходные в Свонедж к Джейн и Гасу. Оба мероприятия получились неудачными. Чтобы меня не узнали, для ланча с Адамом я выбрал ресторан, где никогда раньше не был. Он оказался

переполнен, а столики стояли так близко друг к другу, что мы с Адамом при всем желании не могли говорить свободно и вынуждены были общаться с помощью какого-то усеченного кода. Если бы кто-то нас подслушал, то наверняка решил бы, что мы обсуждаем неудачный званый ужин, а не распад тридцатилетнего брака. Однако это было все же лучше, чем выходные в Свонедже, потому что Гас постоянно старался тактично оставить нас с Джейн наедине для разговора по душам, а ни она, ни я к нему не стремились, потому что не привыкли так разговаривать друг с другом и не знали, как это делается. Отношение Джейн ко мне всегда выражалось в шутливых нападках то за мои *покупки*, наносящие урон окружающей среде, например какую-нибудь минеральную воду в бутылках или цветные скрепки и книжные полки из цельного дерева, то за женоненавистнические шуточки в «Соседях» и так далее. Мы играли в эту игру отчасти на публику. А вот настоящей близости, похоже, между нами не было.

Днем в воскресенье мы с Джейн гуляли с их собакой по берегу и обменивались отрывочными замечаниями по поводу погоды, прилива и виндсерферов в бухте. Ребенок, кажется, должен

родиться в октябре. Я спросил, как она переносит беременность, и Джейн ответила, что утренняя тошнота, слава богу, прошла; но эта тема тоже заглохла, вероятно из-за неловкости, вызванной тем, что была связана для нас обоих с последней ссорой между мной и Салли. Потом, на обратном пути, когда мы уже почти подошли к коттеджу, Джейн вдруг спросила:

— Почему ты просто не дашь маме, что она хочет? У тебя же все равно останется очень много.

Я ответил, что это дело принципа. Бросив меня просто потому, что ей трудно со мной жить, Салли не вправе ожидать, что я по-прежнему стану поддерживать для нее тот образ жизни, к которому она привыкла. Джейн заметила:

— Ты хочешь сказать, что платил ей, чтобы она мирилась с твоими настроениями?

— Конечно нет, — ответил я.

Но думаю, в каком-то смысле Джейн права, хотя я бы выразил это несколько иначе. Умненькая девочка, моя Джейн. Она сказала:

— Мне кажется, что деньги, которые ты заработал на «Соседях», плохо повлияли на вас обоих. Ты, судя по всему, потерял душевный покой, который раньше у тебя был. Да и мама

стала ревновать.

Прежде мне никогда не приходило в голову, что Салли может ревновать меня к успеху.

Хотя Джейн и Адам пытались держать нейтралитет, я чувствовал, что в душе они оба на стороне Салли, поэтому после тех двух встреч я больше не искал их общества. Кроме того, я замыслил свозить Эми на Тенерифе и боялся, что они узнают и расскажут об этом Салли.

Тенерифе действительно оказался катастрофически неудачным выбором, но и так все это предприятие в самого начала было обречено на провал. Пока я встречался с Эми тайно, никогда не позволяя себе ничего сверх дружеского поцелуя или объятия, я наделял ее определенным очарованием, очарованием запретности, самоотречения. Но лежавшая передо мной на кровати обнаженная женщина показалась мне обыкновенной приземистой толстушкой с довольно волосатыми ногами, чего я не замечал раньше, потому что она всегда носила чулки или колготки. И еще ее телу явно недоставало мышечного тонуса. Я не мог не сравнивать ее, в смысле физической формы, с Салли, и сравнение оказалось не в пользу Эми. По-видимому, я где-то серьезно

ошибся в своих стратегических расчетах. Какого черта я делаю в номере этого дрянного отеля на этом безобразном курорте, с женщиной куда менее желанной, чем ушедшая жена, с которой я стараюсь свести счеты? Стоит ли удивляться, что Тенерифе оказался провалом и в смысле эротики. Вернувшись домой — на самом деле даже раньше, — я принялся перебирать в памяти имена знакомых женщин в поисках подходящей партнерши, помоложе и попривлекательнее Эми. И наткнулся на Луизу.

Не прошло и нескольких дней, как я снова оказался в самолете, на пути в Лос-Анджелес. И новое фиаско. Точнее, двойное фиаско, если учесть неудачное свидание со Стеллой, которую сосватала мне Луиза после того, как разбила мои надежды. Тоже мне надежды. Еще когда я бронировал место на самолет до Лос-Анджелеса (билет с открытой датой, бизнес-класс; он стоил целое состояние, но я хотел прибыть в хорошей форме), я уже, конечно, понимал: вероятность того, что спустя столько лет Луиза по-прежнему одна и по-прежнему доступна, практически равна нулю. Но я просто подавил эти сомнения, потому что мысль о провале была для меня невыносима. Как Кьеркегор, который через год после разрыва

помолвки возвратился в Копенгаген, тщетно воображая Регину одинокой и неутешной, и вдруг он обнаружил, что она обручена со Шлегелем. Притягательность Луизы заключалась именно в том, что я мог ею обладать и по глупости, из упрямства отказался. Искушение Повторением, мысль о том, что Луиза снова себя предложит, сделав обладание вдвойне сладостным, — вот что побудило меня преодолеть все эти тысячи миль.

Стелла же, напротив, была потенциальной связью на одну ночь, насколько я понял. Мне нужно было убить сутки до следующего рейса в Лондон, поэтому, когда Луиза позвонила мне наутро после нашей вылазки в Венис и сказала, что у нее есть подруга, которая сгорает от желания со мной познакомиться, я согласился. Встретился с ней в вестибюле и повел ужинать в нелепо дорогой ресторан отеля. На первый взгляд она казалась весьма привлекательной — стройная, в высшей степени ухоженная блондинка. Меня слепил блеск, исходивший от ее зубов, лака для волос, лака для ногтей и бижутерии. Но ее улыбка длилась чуть дольше, чем это казалось естественным, а кожа на лице под слоем пудры и румян была настолько тугой, что наводила на мысль о подтяжке. Стелла не стала ходить

вокруг да около — пока мы пили перед ужином «Маргариту», она заявила:

— Луиза сказала, что у нас много общего: нас обоих предали и мы оба хотим перепихнуться, верно?

Я натянуто рассмеялся и спросил, чем она зарабатывает на жизнь. Оказалось, что у нее бутик на Родео-драйв, где Луиза иногда делает покупки. Когда мы сели за столик, она ошарашила меня вопросом, делал ли я анализ на ВИЧ. Я ответил, нет, это казалось ненужным, потому что я всегда был верен своей жене.

— Так мне Луиза и сказала, — кивнула Стелла. — А твоя жена? Она тебе не изменяла?

Я ответил — не изменяла, так я теперь думаю, и спросил, что она будет есть.

— Салат «Цезарь» и филе-миньон, совсем непрожаренное. Ничего, что я задаю тебе эти вопросы, Пузан?

— О нет, — вежливо ответил я.

— Просто по опыту знаю, что лучше выяснить все с самого начала. Тогда мы оба сможем расслабиться. А после того, как ушла твоя жена? Ты с кем-нибудь спал?

— Только один раз, — сказал я. — Со старой подругой.

— И ты, конечно, пользовался презервативом?

— А как же, — солгал я. Вообще-то у Эми была диафрагма. Думаю, Стелла поняла, что я лгу.

— У тебя они при себе? — спросила она, когда нам принесли салат «Цезарь».

— Ну, не на мне, — сказал я.

— Я имею в виду, в твоем номере.

— Ну, может, в мини-баре лежат, — язвительно заметил я, — там, похоже, есть все.

— Неважно, я всегда ношу их с собой в сумочке, — сказала Стелла, даже не улыбнувшись.

Когда же за филе-миньон она заговорила о перчатках из латекса и стоматологических мостах, я почувствовал легкую дрожь. Если она так озабочена безопасностью секса, подумал я, значит, у нее есть на то причина. Впервые в жизни я симулировал резкое обострение Патологии Неизвестного Происхождения, вертясь на своем стуле и очень убедительно, пусть это и покажется кому-то нескромным, изображая приступ невыносимой боли. Люди за соседним столиком очень переживали. Метрдотель сделал знак официантам, и два молодца чуть ли не отнесли меня в вестибюль. Я извинился перед Стеллой и отправился спать один. Стелла попросила позвонить ей на следующий день,

но на следующий день я самым первым рейсом улетел из Лос-Анджелеса в Лондон.

Где-то над ледяной шапкой Северного полюса перед моим мысленным взором предстала Саманта как само обещание. Почему я не вспомнил о ней раньше? Она молода, притягательна и из кожи вон лезет, чтобы поддерживать наше знакомство. Более того, она так и пышет здоровьем и гигиеничностью, а уж какая смышленая! Невозможно представить, чтобы она могла рискнуть собой ради небезопасного секса. Да, она явно мой лучший шанс доказать себе, что я все еще мужчина. Я едва дождался приземления в Хитроу. С покрасневшими глазами, грязный и небритый прыгнул в такси и направился прямо на студию, чтобы застать Саманту на репетиции.

Нечего и говорить, что моя первая неловкая попытка соблазнить Саманту провалилась, отдельное спасибо синьоре Габриэлли, которая здесь постаралась от души. Но через несколько дней, когда Олли предложил для работы над сценарием назначить мне в пару редактора, я усмотрел в этом для себя некую перспективу и настоял на кандидатуре Саманты. Она очень хорошо поняла, какую услугу я ей оказал, и была, без сомнения, готова расплатиться за нее

способом, освященным временем и традициями шоу-бизнеса. Моей роковой ошибкой, я имею в виду в плане обольщения, стал выбор места. В Копенгагене я попытался убить сразу двух зайцев: совместить небольшое исследование по Кьеркегору с вожделенным незаконным сексом в роскошном отеле, находящемся на разумном расстоянии от тех краев, где нас могли узнать. Я должен был догадаться, что две эти задачи несовместимы. Я должен был догадаться, к чему приведут прогулки по мостовым, где полтора века назад ходил Кьеркегор; созерцание тех улиц, площадей и зданий, которые раньше были для меня всего лишь словами, напечатанными на бумаге: Нюторв, Нёррегаде, Боргердюдсколе; к чему приведет осмотр трогательно скромных реликвий С.К. в Бюмузеуме: его трубок, его кошелька, лупы и витрины, которую сделала для них Регина; жестокой карикатуры в «Корсаре» и портрета Регины — хорошенькой, полногрудой, с пухлыми губками, готовыми вот-вот раздвинуться в улыбке, — написанного, очевидно, в счастливое для нее время, до разрыва помолвки с Кьеркегором. Я постоял за конторкой Кьеркегора и даже попробовал за ней писать! Меня охватило совершенно необычайное

чувство, будто он каким-то образом присутствует в этой комнате, наклонился над моим плечом.

В результате я с удивлением и смущением обнаружил, что не испытываю желания преследовать амурную цель поездки, и когда прекрасная Саманта бесстыдно предложила мне все наслаждения, которые могло подарить ее великолепное тело, я не смог воспользоваться ситуацией. Что-то меня удерживало, и это был не страх импотенции или обострения боли в колене. Назовите это совестью. Назовите это Кьеркегором. Они соединились. Я думаю, что Кьеркегор — это лучшая часть меня, которая стремилась вырваться наружу, и в Копенгагене ей это наконец удалось.

Где-то в своем «Дневнике» Кьеркегор говорит, что когда он узнал о помолвке Регины со Шлегелем и осознал, что потерял ее безвозвратно, то «испытал следующее чувство: ты бросаешься или в дикий разгул, или к религиозному абсолюту». Моя лихорадочная, идиотская одиссея после ухода Салли, когда я отчаянно пытался переспать по очереди то с Эми, то с Луизой, то со Стеллой и с Самантой, была попыткой удариться в дикий разгул. Но когда она потерпела крах, религия не стала для меня практически

осуществимой альтернативой. Все, что я мог сделать для облегчения своего состояния, — пить и вести дневник. Кстати, какое-то время Кьеркегор ничего не мог делать — только писать. (Возможно, он тоже пил, меня бы это ничуть не удивило.) Только его последние книги, те, что он опубликовал под своим настоящим именем, могут быть названы «абсолютно религиозными», и, честно говоря, я нахожу их скучными. От одних названий воротит: большинство начинаются со слов «Поучительная беседа». Его работы, вышедшие под псевдонимами, особенно те, что он написал сразу после разрыва с Региной, назвавшись Виктором Эремитом, Константином Константиусом, Йоханнесом де Силенцио и другими причудливыми вымышленными именами, совсем другие и гораздо интереснее: это своеобразная попытка примириться со своим опытом, принять последствия своего собственного выбора путем подхода к материалу окольным путем, косвенно, через вымысел, скрываясь под масками. Полагаю, подобный импульс двигал и мною, когда я решил писать монологи. Драматизированные монологи, кажется так их называют, потому что они адресованы кому-то, чьи реплики лишь

подразумеваются. Я вспомнил это из учебника английского за пятый класс. Мы должны были выучить наизусть такой монолог из Браунинга «Покойная герцогиня»:

А вот моя последняя жена -
Здесь как живая предстает она;
Лишь день, что чудом я назвать бы мог,
Трудился фра Пандольфо — вот итог.

Герцог — безумный ревнивый муж, который, как потом оказывается, убил свою жену. Разумеется, я никогда бы не убил Салли, но временами был близок к тому, чтобы ударить ее.

В какой-то мере эта идея принадлежала Александре, хотя вряд ли она представляла, какой словесный поток обрушится на нее и какую форму он примет. Я пошел к ней в состоянии тупого отчаяния примерно неделю спустя после возвращения из Копенгагена. Я как национальная экономика: падение не состоялось, но депрессия продолжается. Возвратился я из Дании последним рейсом — мне понадобилось несколько часов, чтобы найти могилу Регины, плоскую плиту, совершенно неухоженную, что весьма прискорбно, но, с другой стороны, настоящий памятник этой женщине

воздвиг Кьеркегор в своих произведениях. В тот день правительство объявило, что рецессия закончилась, правда, никто этого не почувствовал. Может, производство и возросло на 0,2 процента, но миллионы людей по-прежнему оставались безработными, а сотни тысяч — в капкане отрицательного права выкупа.

Я засел в своей квартире, как медведь в берлоге. Не хотел, чтобы меня узнавали на улице. Жил в страхе, что встречу кого-нибудь из знакомых. (Кого угодно, кроме Грэхэма, конечно. Когда одиночество становилось невыносимым, я приглашал его на разговор под чашку чая или какао. По вечерам он всегда здесь, начиная с девяти часов, а иногда и днем тоже. Он стал кем-то вроде сидячего квартиросъемщика.) Я был совершенно уверен, что мои друзья и знакомые все время только обо мне думают и разговаривают, потешаясь над карикатурой в «Паблик интерест». Когда я поехал на прием к Александре в Раммидж, то взял билет второго класса и сидел в поезде в темных очках, надеясь, что контролеры меня не узнают. Я не сомневался, что они тоже читают «Паблик интерест».

Я спросил у Александры насчет прозака. Она удивилась.

— Мне казалось, что вы противник медикаментозного лечения, — заметила она.

— Говорят, что это нечто совершенно новое, — сказал я. — Не возникает привыкания. Нет побочных эффектов. В Штатах его принимают даже те, у кого нет депрессии, потому что от него у них поднимается настроение.

Александра, конечно, все про прозак знала и рассказала технические подробности его действия — про нейротрансмиттеры и замедление обратного захвата серотонина. Я не до конца понял и ответил, что уже и без того несколько замедленно все схватываю и вряд ли мне нужно дополнительное воздействие по этой линии, но оказалось, что она имела в виду совсем другое. Александра относится к прозаку с подозрением.

— Это неправда, что у него нет побочных эффектов, — сказала она. — Даже его сторонники признают, что он снижает способность пациента испытывать оргазм.

— Что ж, я уже страдаю от побочного эффекта, — заявил я, — поэтому спокойно могу испробовать его прямое действие.

Александра засмеялась, обнажив свои большие зубы в самой широкой улыбке, на которую мне за все это время удалось ее раскрутить, но потом

поспешно сделала серьезное лицо.

— Существуют неподтвержденные сообщения о более тяжелых побочных эффектах, — сказала она. — Пациенты галлюцинируют, пытаются нанести себе увечья. Есть даже один преступник, который заявляет, что совершил убийство под воздействием прозака.

— Моя знакомая ни о чем таком не говорила, — признался я. — Она сказала, что чувствует себя с ним гораздо лучше.

Александра минуту молча смотрела на меня своими большими нежными карими глазами.

— Я выпишу вам прозак, если вы действительно хотите, — произнесла она. — Но вы должны понимать, что за этим последует. Я говорю не о побочном эффекте, сейчас я говорю об *эффекте.* Новые лекарства данной группы изменяют личность человека. Они действуют на мозг, как пластическая хирургия — на тело. Прозак, может, и вернет вам самоуважение, но вы уже будете другим человеком.

Я минуту подумал и спросил:

— А что вы предлагаете?

Александра предложила, чтобы я в точности описал то, что, по моему мнению, думают обо мне другие люди или говорят своим знакомым.

Конечно, я сразу уловил суть. Она считает, что меня терзает не то, что в *действительности* думают обо мне люди, просто мой *страх* чужого суда делает все страшнее, чем есть на самом деле. Как только я сосредоточусь на вопросе: *что на самом деле думают обо мне другие люди?* — и заставлю себя откровенно на него ответить, я сразу же, вместо того чтобы проецировать свою заниженную самооценку на оценку других и позволять ей рикошетом воздействовать на меня, буду вынужден признать, что на самом деле окружающие не испытывают ко мне ни отвращения, ни презрения, они меня уважают, сочувствуют и я им даже нравлюсь. Правда, эта затея проблему все равно до конца не решила.

Будучи сценаристом, я не мог просто взять и изложить мнение других людей обо мне, пришлось позволить высказываться им самим. И то, что они сказали, не очень-то мне льстило.

— Вы очень строги к себе, — сказала Александра, когда наконец прочла мой опус. Я писал его почти месяц — немного увлекся, и только на прошлой неделе отослал ей весьма пухлый пакет. Вчера я ездил в Раммидж выслушать ее вердикт.

— Очень смешно, очень проницательно, — заметила она, перебирая стопку листов А4, и

на ее бледных, ненакрашенных губах заиграла улыбка, — но вы очень строги к себе.

Пожав плечами, я ответил, что пытался непредвзято увидеть себя глазами других людей.

— Но вы, должно быть, многое присочинили.

— Ну, не так уж и много, — сказал я.

Конечно, мне приходилось прибегать к помощи воображения. Например, я никогда не видел показаний Бретта Саттона, которые он давал в полиции, но мне тоже пришлось там писать объяснение, и копию мне разрешили унести домой, поэтому я представлял формат подобного документа, а увидеть события глазами Бретта Саттона труда не составляло. И хотя Эми всегда напускала тумана, когда речь заходила о сеансах с Карлом Киссом, я знал, что теперь, после ухода от меня Салли, она будет давать ему ежедневную сводку о развитии наших с ней отношений, а ее манеру думать и говорить я прекрасно изучил. Большую часть того, о чем она сообщает Карлу в своем монологе, она рано или поздно рассказывает мне, например, воспоминание о том, как ее мать режет на кухне морковку и стращает мужчинами или сон про карикатуру из «Паблик интерест», где я предстаю в виде Вулкана, а Сол в виде Марса. Тот кусок про

проблему с унитазом в Плайя-де-лас-Американас — чистый вымысел, я просто слышал, как Эми без конца дергала за ручку унитаза, пока находилась в ванной комнате. Концовка, возможно, слишком уж эффектная, но я ничего не смог с собой поделать. Эми действительно вернулась в Англию, настроенная весьма решительно, она обрела уверенность в себе и собралась дать Карлу congd

[48] [broken link: #_ftn48], но потом я слышал, что она снова вернулась к психоанализу. В последнее время я вообще-то мало вижусь с Эми. Раз или два мы попытались вместе поужинать, но возобновить дружеские отношения, похоже, не получилось. Все время вставали смущающие нас воспоминания о Тенерифе.

Не знаю, в таких ли словах Луиза описывала Стелле нашу встречу, в одном я уверен — делала она это по телефону. Может, Луиза и бросила курить, пить и принимать наркотики (прозак не считается), но зависимость от телефона у нее полная. Во время нашего ужина в ресторане в Венисе ее миниатюрный японский мобильник лежал рядом с тарелкой, и она постоянно перебивала мои душераздирающие признания, чтобы ответить на бесконечные звонки,

касавшиеся ее фильма, или позвонить самой. С Олли трудностей не было. Я бывал с ним в баре раз сто. С Самантой пришлось пойти на некоторые вольности. Она упомянула — не помню, в каком контексте, — что у нее есть подруга, которая мучается зубами мудрости, но посещение больницы я полностью выдумал. Мне просто понравился сюжет с этой беспомощной, бессловесной слушательницей поневоле, которая не в состоянии прервать поток громких излияний Саманты по поводу нашего несостоявшегося «грязного» уик-энда в Копенгагене. Она умная девочка, Саманта, но деликатность не относится к числу ее достоинств.

Труднее всего было писать за Салли. Эту часть я Александре не показал — поскольку я и ее сделал действующим лицом в этой истории, что она могла счесть вольностью с моей стороны. Я знаю, что Александра приглашала Салли на беседу, потому что спрашивала, не возражаю ли я (я ответил, что нет). И думаю, Салли согласилась, но мне Александра об их разговоре не рассказала, полагаю, ничего утешительного там не было. Заново переживая наш разрыв, как видит его Салли, я испытывал почти физическую боль. Поэтому на середине ее беседа с Александрой

плавно перетекает в воспоминания о моих ухаживаниях, хотя переживать заново те дни обещаний и смеха тоже было больно. Самое страшное, что, перед тем как уйти, сказала мне Салли во время тех длинных, кошмарных выходных, наполненных ссорами, мольбами и взаимными упреками, было: «Ты больше не умеешь меня рассмешить». В ту секунду я понял, действительно понял, сердцем, что потерял ее.

Четверг, 27 мая, 10 утра. Вчерашний кусок я писал целый день. Работал без перерыва, только отвлекся на пять минут, чтобы сгонять в «Pret A Manger» за сандвичем с креветками и авокадо, который съел прямо за письменным столом, продолжая писать. Нужно было многое успеть.

Закончил я около семи, почувствовав усталость, голод и жажду. Колено тоже попортило мне крови: долгое сидение в одной позе плохо на нем сказывается. (Кстати, почему «попортило крови»? В словаре говорится, что это от французского выражения se faire du mauvais sang; существовало представление, что при отрицательных эмоциях в кровь поступает желчь в избыточном количестве.) Я вышел размяться и заправиться. Стоял пре красный теплый вечер. Молодежь роилась вокруг станции метро «Лестер-сквер»,

как обычно в это время суток независимо от времени года. Легко и небрежно одетые, они выплескивались из недр метро, словно какой-то неудержимый подземный поток, разливались по тротуару и кружились у ипподрома, исполненные энтузиазма и ожидания. На что они надеялись? Думаю, большинство не ответило бы на этот вопрос. На приключение, встречу, чудесное преображение их ничем не примечательной жизни. Некоторые, разумеется, пришли на свидание. Я видел, как освещались лица тех, к кому приближался друг или подруга. Они обнимались, не обращая внимания на лысого толстяка в кожаной куртке, который проходил мимо, сунув руки в карманы, и удалялись обняв друг друга за талию, в какой-нибудь ресторан, или кинотеатр, или в бар, гремящий рок-музыкой. Когда мы с Салли только встречались, я обычно поджидал ее на этом углу. Теперь же я купил «Стандарт», чтобы почитать за ужином в китайском ресторане на Лисл-стрит.

Проблема одиноких трапез, во всяком случае одна из проблем, состоит в том, что ты всегда заказываешь слишком много и ешь слишком быстро. Когда в 8.30 я вернулся из ресторана, с раздувшимся животом и отрыжкой, было все

еще светло. Но на крыльце уже устраивался на ночь Грэхэм. Я пригласил его посмотреть второй тайм финала Европейского кубка между Миланом и Марселем. Марсельцы выиграли 1:0. Хорошая игра, хотя трудно болеть от души, когда в матче не участвует британский клуб. Я помню, как «Манчестер Юнайтед» с Джорджем Вестом выиграл Европейский кубок. Как мы безумствовали. Я спросил у Грэхэма, помнит ли он это, но он тогда еще даже не родился.

Грэхэму повезло, что он до сих пор занимает крыльцо. Герр Боль, швейцарский бизнесмен, владелец квартиры номер 5, который изредка там останавливается, воспротивился его присутствию и предложил вызвать полицию, чтобы та убрала Грэхэма. Я попросил Боля, чтобы он позволил парню остаться хотя бы потому, что он содержит крыльцо в безукоризненной чистоте и не дает прохожим бросать на него мусор, а пьяницам — использовать в качестве ночного туалета, что они раньше делали часто и обильно. Эта хитрая апелляция к швейцарской одержимости гигиеной себя оправдала. Герр Боль вынужден был признать, что на крыльце стало пахнуть значительно приятнее с тех пор, как там обосновался Грэхэм, и отказался от своей угрозы

позвонить в полицию.

Дополнительным аргументом в мою пользу послужило и то, что сам Грэхэм всегда выглядит аккуратно и вообще ничем не пахнет. Меня это долго удивляло, пока однажды я не осмелился спросить, как ему это удается. Он лукаво улыбнулся и сказал, что посвятит меня в эту тайну. На следующий день он повел меня в одно место на Трафальгарской площади, там в стене была дверь с электронным замком, мимо которой я проходил сотни раз, не замечая ее. Грэхэм набрал код, замок зажужжал, и дверь открылась. Внутри оказался подземный лабиринт из помещений, где можно было получить еду, поиграть, принять душ и постирать. Что-то вроде убежища для молодых бездомных. Здесь даже выдают халаты тем, у кого только одна смена одежды, чтобы было в чем посидеть, пока она стирается и сушится. Все это чем-то напомнило мне зал ожидания первого класса на Юстонском вокзале. На днях я послал чек благотворительной организации, которая содержит этот приют. Таким образом, я чувствую себя чуть менее виноватым, когда Грэхэм спит на крыльце. Богач в своем замке, бедняк у его ворот…

На самом деле у меня вообще нет причин

чувствовать себя виноватым. Грэхэм сам выбрал жизнь на улице. Выбирать, правда, было особенно не из чего — одно отвратительней другого, — но, возможно, сейчас он живет лучше, чем когда-либо… и совершенно ни от кого не зависит.

— Я властелин моей судьбы, — серьезно объявил он мне как-то раз.

Он где-то видел и запомнил эту фразу, не зная, кто ее автор. Я посмотрел в своем словаре цитат. Она из стихотворения У.Э.Хенли:

Пусть страшны тяготы борьбы,
Пусть муки ждут меня в тиши,
Я властелин моей судьбы,
Я капитан моей души.

Хотел бы и я так.

11.15. Только что позвонил Джейк. Я слушал, как он оставляет свое сообщение на автоответчике, но трубку не снял и не перезвонил. Он пытался соблазнить меня обедом в «Граучо». Он суетится, потому что мы приближаемся к крайнему сроку, после которого «Хартленд» может воспользоваться своим правом нанять другого автора. Ну и пусть нанимает. В последнее время меня гораздо больше интересуют Сёрен и Регина, чем Присцилла и Эдвард. Я знаю, что Олли Силвер

не собирается делать программу о Кьеркегоре, сколько бы я ни работал над «Соседями», так чего мне утруждать себя?

То, что я пишу сценарии для ТВ, произвело на Грэхэма большое впечатление, но при упоминании программы он отозвался: «Ах, эта», явно пренебрежительным тоном. Я подумал, что это довольно нахально с его стороны, учитывая, что в тот момент он дул мой чай и поедал морковный торт из «Pret A Manger».

— Да нет, все нормально, — заявил он, — если вам нравятся подобные вещи.

Я заставил его объяснить, почему сериал ему не нравится.

— Ну, там же все не по-настоящему, верно? — сказал он. — То есть каждую неделю в одной семье происходит грандиозная свара, но к концу шоу все улаживается и все снова такие добрые. Ничего никогда не меняется. Никто на самом деле не страдает. Никто никого не бьет. Никто из детей не сбегает из дому.

— Алиса раз убегала, — заметил я.

— Да, минут на десять, — парировал он. Грэхэм имел в виду десять минут экранного времени, но я не стал придираться. Я понял его точку зрения.

2.15 дня. Выходил в паб поужинать, а когда

вернулся, на автоответчике было сообщение от Саманты: у нее есть идея, как решить проблему Дебби-Присциллы, и она хотела бы ее со мной обсудить. Сказала, что вернется в офис к трем — долго же она обедает, — впрочем, это дало мне возможность тоже оставить ей сообщение, в котором я просил изложить идею на бумаге и отправить мне по почте. Я сейчас поддерживаю связь с внешним миром только через автоответчики и почту. Это позволяет избегать неприятных разговоров и особенно вопроса «Как твои дела?». Иногда, если я чувствую себя слишком одиноко, то звоню в банк по телефону автообслуживания и проверяю свои счета, и девушка, чей голос записан на пленку, руководит мною, называя цифры условного кода. Голос у нее довольно приятный, и, главное, она не спрашивает, как у меня дела. Хотя, если ты делаешь ошибку, она говорит:

— Извините, возникла проблема.

Как же ты права, дорогая, говорю я ей.

«Я чувствую себя хорошо, только когда пишу. Тогда я забываю обо всех жизненных передрягах, обо всех страданиях, я погружен в свои мысли и счастлив» — дневник Кьеркегора за 1847 год. В процессе написания этих монологов я

был не то чтобы счастлив, но занят, поглощен, заинтересован. Это было похоже на работу над сценарием. Передо мной стояла задача, которая требовала решения, и я получил некоторое удовлетворение, решая ее. Теперь, когда я с ней справился и более-менее наверстал упущенное в своем дневнике, я беспокоюсь, нервничаю, мне неуютно, я не способен ни на чем сосредоточиться. У меня нет ни цели, ни задачи, разве что противодействовать Салли, насколько это возможно, в получении моих денег, да и к этому у меня больше душа не лежит. Завтра мне нужно съездить в Раммидж повидаться с адвокатом. Я мог бы дать ему указание капитулировать, оформить развод как можно скорее, дав Салли то, что она хочет. Но принесет ли это мне облегчение? Нет. Еще одна ситуация «или-или». Неважно, что я сделаю, я обречен сожалеть об этом. *Если ты разведешься, ты об этом пожалеешь, если ты не разведешься, ты об этом пожалеешь. Разведешься или не разведешься, ты пожалеешь все равно.*

Возможно, я до сих пор надеюсь, что мы с Салли снова сойдемся, я снова заживу своей привычной жизнью и все будет по-прежнему. Возможно, несмотря на все мои муки, слезы и планы мести

— или из-за них, — я так и не потерял надежды на возрождение нашего брака. Б. говорит А.: «… чтобы воистину отчаяться, нужно воистину захотеть этого: раз, однако, воистину захочешь отчаяться, то воистину и выйдешь из отчаяния: решившись на отчаяние, решается, следовательно, на выбор, т. е. выбирает то, что дается отчаянием — познание самого себя как человека, иначе говоря — сознание своего вечного значения». Думаю, я могу сказать, что выбрал себя, когда отказался от предложения Александры выписать мне прозак, но в тот момент это не казалось актом экзистенциального самоутверждения. Скорее я казался себе пойманным преступником, подставляющим запястья для наручников.

5 30. Мне вдруг подумалось, что можно попытаться завтра попасть на сеанс какой-нибудь терапии, раз уж я все равно еду в Раммидж. Сделал несколько звонков. У Роланда все время занято, но Дадли сможет принять меня днем. Я не стал звонить мисс Ву. Я не ходил к ней с той пятницы, когда Салли бросила свою бомбу. Что-то не хочется. К мисс Ву это не имеет никакого отношения. Почему-то они у меня ассоциируются: акупунктура и развал моей жизни.

9 30. Сегодня вечером я поел в индийском ресторане и вернулся домой около девяти, приправив столичное загрязнение воздуха взрывными ароматными ветрами. Грэхэм сказал, что какой-то мужчина звонил в мою квартиру. По его описанию я узнал Джейка.

— Ваш друг, да? — спросил Грэхэм.

— Вроде того, — ответил я.

— Он спросил, давно ли я вас видел, и описал вас не слишком-то лестно.

Естественно, я спросил как.

— Толстоватый, лысый, сутулый.

Последнее определение меня слегка задело. Я никогда не казался себе особо сутулым. Должно быть, это последствия депрессии. Как чувствуешь себя, так и выглядишь. Не думаю, что спина у Кьеркегора согнулась только в результате перенесенной в детстве травмы.

— Что вы ему сказали? — спросил я.

— Ничего, — ответил Грэхэм.

— Отлично. Вы правильно сделали, — сказал я.

Пятница, 28 мая, 7 45 вечера. Только что вернулся из Раммиджа. Я поехал на машине, только чтобы выгулять свой «супермобиль»: я держу его в гараже рядом с Кингз-Кросс, и в последнее время почти им не пользуюсь. Правда,

не могу сказать, что сегодня на Ml я приятно провел время. Все шоссе покрылось дорожными разделительными конусами, как сыпью при скарлатине, а из-за двустороннего движения по одной полосе между 9-м и 11-м перекрестками выстроился пятимильный хвост. Очевидно, пробка возникла из-за автомобиля, везущего на прицепе фургон, который врезался в грузовик. Поэтому я опоздал на встречу с Деннисом Шортхаузом. Он специализируется по разводам и семейным тяжбам, заменяя моих адвокатов из конторы Добсона Маккиттерика. До разрыва с Салли я никогда не имел с ним дела. Он высокий, седовласый, сухощавый, носатый и редко встает из-за своего огромного, до жути аккуратного стола. Как некоторые врачи соблюдают противоестественную чистоту и опрятность, очевидно чтобы отпугивать инфекцию, так и Шортхауз, похоже, использует свой письменный стол в качестве своеобразного cordon sanitaire, чтобы держать несчастья клиентов на безопасном расстоянии от себя. На столе стоят лотки для входящей и исходящей документации, всегда пустые, лежит промокательная бумага без единого пятнышка, стоят электронные часы, слегка повернутые в сторону клиентского кресла,

чтобы вы видели, как на счетчике в такси, во сколько вам обходятся его советы.

Он получил письмо от адвокатов Салли, в котором те угрожали подать на развод на основании «неразумного поведения».

— Как вы знаете, супружеская измена и неразумное поведение — единственные основания для немедленного развода, — сказал он.

Я спросил, в чем заключается неразумное поведение.

— Очень хороший вопрос, — отозвался Шортхауз, соединяя кончики пальцев и наклоняясь над столом. Он пустился в длинное разъяснение, но, боюсь, я отвлекся и очнулся, только когда осознал, что адвокат умолк и выжидательно на меня смотрит.

— Простите, вы бы не могли повторить? — попросил я.

Его улыбка сделалась чуточку натянутой.

— С какого места повторить? — осведомился он.

— Только последнюю фразу, — сказал я, не имея ни малейшего понятия, как долго он говорил.

— Я спросил вас, на какого рода неразумное поведение, скорее всего, пожалуется миссис

Пассмор под присягой.

Я с минуту подумал.

— Могут ли засчитать то, что я не слушал ее, когда она со мной разговаривала? — спросил я.

— Могут, — ответил он. — Это зависит от судьи.

У меня сложилось впечатление, что, если бы меня судил Шортхауз, шансов бы у меня не было.

— Вы когда-нибудь оскорбляли свою жену действием? — полюбопытствовал он.

— Боже сохрани, нет, — испугался я.

— Как насчет пьянства, словесных оскорблений, приступов ревности, лживых обвинений и тому подобного?

— Только после того как она меня бросила, — признался я.

— Я этого не слышал, — сказал адвокат.

Он немного помолчал, прежде чем подвести итог:

— Не думаю, что миссис Пассмор рискнет подать прошение о разводе на основании вашего неразумного поведения. На бесплатного адвоката она рассчитывать не может, и, если проиграет, издержки могут быть значительными. Более того, в вопросе о разводе она окажется на своей исходной позиции. Она угрожает, чтобы

заставить вас сотрудничать. Не думаю, что у вас есть основания для беспокойства.

Шортхауз самодовольно улыбнулся, явно гордясь собственным анализом.

— Вы хотите сказать, что она не получит развода? — спросил я.

— О, разумеется, в конце концов она его получит — на основании безвозвратного распада брака. Вопрос в том, сколько вы хотите заставить ее ждать.

— И сколько я хочу платить, чтобы затягивать процесс? — уточнил я.

— Совершенно верно, — произнес он, глянув на часы.

Я сказал, чтобы он продолжал затягивать.

Потом я направился к Дадли. Подъезжая к его дому, я с тоской подумал про все свои прежние визиты, когда я всего-то жаловался на неопределенное общее плохое самочувствие. Когда я уже звонил в дверь, широкофюзеляжный реактивный самолет с ревом пронесся у меня над головой, заставив присесть и заткнуть уши. Дадли сказал, что это новый регулярный рейс на Нью-Йорк.

— Может пригодиться вам по делам службы, — заметил он. — Больше не нужно будет летать из

Хитроу.

У Дадли весьма преувеличенное представление о жизни телевизионного сценариста, он окружает ее романтическим ореолом. Я сказал ему, что сейчас живу в Лондоне, и объяснил почему.

— Эфирного масла от распада семьи у вас, скорей всего, нет? — спросил я.

— Могу дать вам что-нибудь от стресса, — предложил он.

Я полюбопытствовал, может ли он как-нибудь помочь моему колену, которое здорово достало меня на Ml. Он постучал по клавишам компьютера и сказал, что попробует лаванду, которая якобы помогает и от болей, *и* от стрессов. Он достал маленький флакон из своего большого, обитого латунью ящика с эфирными маслами и предложил понюхать.

По-моему,

Дадли никогда раньше не использовал лаванду, потому что ее запах вдруг вызвал у меня необычайно яркое воспоминание о Морин Каваног, моей первой девушке. Она постоянно то появлялась, то исчезала из моего сознания с тех пор, как я начал вести этот дневник, — так на дальней опушке леса мелькает между деревьев смутная фигура, то и дело ныряя в тень. Аромат

лаванды вывел ее на свет — лаванда и Кьеркегор. Несколько недель назад я сделал пометку, что символ двойного «а» в современном датском языке — одно «а» с маленьким кружочком над ним — я где-то уже видел, но где — вспомнить не мог. Ну так вот, это почерк Морин. Вместо точки она ставила над своими «і» такие вот кружочки — словно линию пузырьков над строчками, исписанными ее крупным, округлым почерком. Не знаю, откуда она это взяла. Мы переписывались несмотря на то, что каждое утро встречались на трамвайной остановке, просто ради волнующего удовольствия получать личные письма. Я обычно писал ей весьма страстные любовные послания, а она присылала в ответ записочки с разочаровывающими банальностями: «После чая я сделала уроки, потом помогла маме гладить белье. Ты слушал программу Тони Хэнкока? Мы хохотали до упаду». Она писала на розовато-лиловой бумаге из «Вулворта» с ароматом лаванды. Аромат из флакончика Дадли воскресил все это в памяти — не только почерк, но и саму Морин в каждой ее черточке. Морин. Моя первая любовь. Первая женская грудь.

Когда я приехал, в почтовом ящике лежало

письмо от Саманты с предложением, как вывести Дебби из «Соседей»: в последней серии Присциллу, едущую на велосипеде, сбивает грузовик, и она погибает на месте, но возвращается как призрак, видимый только Эдварду, и побуждает Эдварда найти себе другую спутницу жизни. Не слишком оригинально, но кое-что выжать из этого можно. Надо признать, девочка толковая. В другом настроении я, может быть, и повозился бы с этой идеей. Но сейчас я ни о чем не могу думать, кроме Морин. Я чувствую, как меня охватывает непреодолимое желание написать о ней.

Морин.

Воспоминания

О существовании Морин Каванаг я впервые узнал, когда мне было пятнадцать, однако прошел почти год, прежде чем я заговорил с ней и спросил ее имя. По будням я видел ее каждое утро, стоя на остановке трамвая, который вез меня до первой пересадки моего нудного и длинного путешествия в школу. Это была Ламбетская коммерческая классическая школа, существовавшая на дотации, в которую меня с самыми лучшими намерениями протолкнул директор моей начальной школы, и я, к несчастью, поступил,

сдав соответствующие экзамены. Я говорю — к несчастью, потому что теперь понимаю — я был бы более счастлив, а значит, большему бы научился в каком-нибудь менее престижном и претенциозном заведении. Я не был лишен способностей, но мой социальный и культурный уровень был недостаточен, чтобы извлечь пользу из образования, которое предлагала Ламбетская коммерческая школа. Это было старинное заведение, которое чрезмерно кичилось своей историей и традициями. Туда принимали как платных учеников, так и «сливки» из числа одиннадцатилеток, успешно сдавших экзамены по окончании начальной школы. Ламбетская коммерческая следовала образцу классической английской привилегированной частной средней школы: с разделением учеников на группы (хотя пансиона не было), с часовней, школьным гимном на латыни и бесчисленным множеством священных ритуалов и привилегий. Корпуса школы из потемневшего красного кирпича были выстроены в неоготическом стиле, с башнями и бойницами, с главным залом собраний и витражами в часовне. Учителя носили мантии. Я так туда и не вписался, ничем не блистая и тащась в хвосте класса большую часть своей школьной

карьеры. Мама с папой не имели возможности помогать мне с домашними заданиями и не переживали по поводу того, что я делал их кое-как По вечерам я в основном слушал по радио комедийные передачи (моей классикой были «Итма», «Приключения на болоте», «Твоя очередь — продолжай», «Шоу Гунов», а не «Энеида» и «Дэвид Копперфилд») или играл в футбол и крикет на улице с приятелями из соседней средней школы. В Ламбетской коммерческой спорт поощрялся — нам даже давали форменную спортивную шапочку с эмблемой школы, — но зимой играли в регби, которое я терпеть не мог, а школьный крикет сопровождался такой помпой и церемониями, что я умирал со скуки. И лишь ежегодный школьный спектакль, где мне всегда доставалась комическая роль, давал мне возможность самоутверждения. В остальном я был обречен чувствовать себя тупым и неотесанным. Я сделался клоуном класса и вечной мишенью для сарказма преподавателей. Меня часто пороли. С нетерпением ждал я возможности покинуть школу после выпускных экзаменов, которые и не надеялся сдать.

Морин ходила в школу монастыря Святого Сердца в Гринвиче, тоже благодаря успешно

сданным экзаменам после начальной школы. Из Хэтчфорда, где мы оба жили, ездить туда было так же далеко и неудобно, как и в Ламбетскую коммерческую, только в противоположную сторону. Думаю, что Хэтчфорд, построенный в конце девятнадцатого века, был сначала очень живописным пригородом Лондона — долина Темзы встречается здесь с первыми суррейскими холмами, — но к тому времени, как я появился на свет, он уже оказался в черте города и пришел в упадок. Морин жила на вершине одного из тех самых холмов в огромном викторианском особняке, который был поделен на квартиры. Ее семья занимала цокольный и первый этажи. Мы жили в одноэтажном многоквартирном доме, с соседями через стенку и справа, и слева, на Альберт-стрит, отходящей от главной дороги у подножья холма, по которой ходили трамваи. Мой отец был вагоновожатым.

Трудная это была работа. По восемь часов, а то и больше ему приходилось управлять трамваем, стоя на площадке, открытой всем ветрам, а для включения тормозов требовалось еще и значительное физическое усилие. Зимой он приходил с работы промерзший и измученный, садился на корточки около камина, топившегося

углем, и даже не мог говорить, пока не оттаивал. Тогда уже существовали и более современные трамваи, обтекаемой формы и полностью закрытые, — такие я иногда видел в других районах Лондона, но мой папа всегда работал на старых, изношенных, с открытыми площадками довоенных трамваях, которые катили от остановки к остановке скрежеща, гремя, скрипя и кренясь из стороны в сторону. Эти красные двухэтажные трамваи с одним сигнальным фонарем спереди, который щурился в тумане, словно близорукий глаз, их лязгающие звонки, латунные поручни и деревянные сиденья, отполированные бесчисленными ладонями и задами, их верхние площадки, провонявшие сигаретным дымом и блевотиной, их закутанные, с серыми лицами водители и жизнерадостные кондукторши в митенках неотделимы от моих воспоминаний о детстве и юности.

В будни каждое утро мой путь в школу начинался с трамвайной остановки «Пять дорог Хэтчфорда». Обычно я ждал не на самой остановке, а перед ней, на углу у цветочного магазина, откуда было видно трамвай, едва он появлялся из-за дальнего поворота на главной улице, покачиваясь на рельсах, как галеон на волнах. Сместив угол

зрения градусов на тридцать, я также мог видеть круто поднимавшуюся длинную, прямую Бичерс-роуд. Морин появлялась наверху в одно и то же время — без пяти восемь, спуск занимал у нее три минуты. Проследовав мимо меня, она пересекала улицу и проходила несколько ярдов вперед, на остановку трамвая, идущего в противоположную сторону. Я смело разглядывал ее издалека, а когда она уже была близко — украдкой, делая вид, что высматриваю свой трамвай. Она проходила мимо и, повернувшись ко мне спиной, ждала трамвая на другой стороне улицы, а я продолжал наблюдать за ней. Иной раз, когда она проходила мимо, я отваживался, изображая скуку или нетерпение по поводу непоявлявшегося трамвая, бросить на нее взгляд, словно бы ненароком. Обычно она шла опустив глаза, но однажды посмотрела прямо на меня, и наши взгляды встретились. Она залилась пунцовой краской и прошла мимо, глядя себе под ноги. Кажется, минут пять после этого я не дышал.

Так продолжалось несколько месяцев. Может быть, год. Я не знал, кто она, вообще ничего о ней не знал, кроме того, что люблю ее. Она была красивая. Наверное, менее впечатлительный или более искушенный наблюдатель посчитал бы,

что у нее слишком короткая шея или полноватая талия и назвал бы ее лишь «симпатичной» или «милой», но для меня она была красавицей. Даже в школьной форме: в шляпке, напоминавшей очертаниями котелок, в габардиновом плаще и юбке в складку на лямках, все темно-синего цвета, такого не выразительного, угнетающего оттенка, — она была прекрасна. Шляпку она носила, кокетливо сдвинув назад, а возможно, ее сдвигали упругие от природы волосы рыжевато-каштанового цвета. Поля шляпки обрамляли ее лицо, имевшее форму сердечка, — и при виде этого сердечка останавливалось мое сердце. У нее были большие темно-карие глаза, маленький, аккуратный носик, крупный рот и подбородок с ямочкой. Как можно описать красоту словами? Это безнадежно, все равно что составлять фоторобот. Ее длинные, волнистые волосы закрывали уши и, скрепленные на затылке заколкой, пышной гривой ниспадали до середины спины. Полы ее плаща развевались на ходу, она носила его нараспашку, завязав сзади пояс и завернув рукава, так что видны были манжеты белой блузки. Позднее я узнал, что она и ее школьные подруги тратили бесконечные часы, изобретая и внося в школьную форму эти

едва заметные изменения, чтобы как-то обойти строгие правила монахинь. Учебники она носила в какой-то сумке, похожей на хозяйственную, что придавало ей женственный, взрослый вид, и мой большой кожаный ранец казался по сравнению с ее сумкой детским.

Последнее, о чем я думал, засыпая, и первое, открыв глаза, была она. Если — что случалось крайне редко — она с опозданием появлялась наверху Бичерс-роуд, я пропускал свой трамвай. Я скорее был готов снести последствия опоздания в школу (два удара тростью), чем лишиться ежедневного лицезрения Морин. Это была самая чистая, самая бескорыстная романтическая любовь. Мы были словно Данте и Беатриче из предместья. Никто не знал о моей тайне, и я не выдал бы ее даже под пыткой. В то время я переживал обычную гормональную бурю подросткового периода, захлестываемый переменами в теле и ощущениями, которые я не мог контролировать и названий которым не знал — эрекции, ночные поллюции, появляющиеся на геле волосы и все прочее. В Ламбетской коммерческой школе уроков сексуального воспитания не было, а мои мама и папа, с их глубоко въевшимся строгим пуританством,

присущим почтенному рабочему классу, никогда не обсуждали эти вопросы. Разумеется, на школьной площадке рассказывали обычные неприличные анекдоты и бахвалились, тема богато иллюстрировалась на стенах школьных уборных, однако добиться от тех, кто вроде бы что-то знал, основополагающей информации без того, чтобы не расписаться в унизительном невежестве, было трудно. Однажды парень, которому я доверял, просветил меня по части взаимоотношений полов, когда мы возвращались из кафе, где подавали рыбу с жареным картофелем и посещать которое нам запрещалось, — «когда член у тебя станет твердым, надо сунуть его в щелку у девчонки и кончить туда», — но данный акт, хоть и наводил на размышления, казался отвратительным и нечистым, мне совсем не хотелось связывать его с ангелом, который ежедневно спускался с вершины Бичерс-роуд навстречу моему немому обожанию.

Конечно, я страстно желал заговорить с ней и постоянно думал о возможных способах вступить с ней в беседу. Самое простое, говорил я себе, как-нибудь утром улыбнуться и поздороваться, когда она будет проходить мимо. В конце концов мы же не совсем чужие — это было бы совершенно

обыкновенным поступком в отношении любого человека, которого ты регулярно встречаешь на улице, даже если не знаешь его имени. Самое худшее, что могло меня ждать, — она бы просто не обратила на меня внимания, прошла бы мимо, не ответив на приветствие. Ах, от мыслей о худшем все внутри холодело. И что я буду делать на следующее утро? И все утра потом? До тех пор пока я не заговорил с ней, она не имела возможности отвергнуть меня, и моя любовь пребывала в безопасности, пусть даже и без ответа. Сколько часов я провел, предаваясь мечтам о более драматических и действенных способах познакомиться с ней — например, спасал ее от верной смерти, когда она вот-вот должна была угодить под трамвай, или защищал от нападения некоего хулигана, хотевшего ограбить или изнасиловать ее. Но при переходе дороги она всегда проявляла достойную восхищения осторожность, а в восемь часов утра на улицах Хэтчфорда наблюдался явный недостаток хулиганов (ведь это был 1951 год, когда словосочетание «уличный грабеж» еще не стало привычным и даже ночью одинокие женщины чувствовали себя в безопасности на хорошо освещенных улицах Лондона).

Событие, которое наконец свело нас, оказалось менее героическим, чем в этих воображаемых сценариях, но для меня оно равнялось почти что чуду, словно какое-то сочувствующее божество, зная о моем страстном, доведшем меня до немоты желании познакомиться с этой девочкой, наконец потеряло терпение, подняло ее в воздух и швырнуло на землю к моим ногам. В тот день она появилась наверху Бичерс-роуд с опозданием, и я видел, как она спешит вниз по склону холма. То и дело Морин пыталась бежать — так, весьма мило, бегают все девушки, откидывая ноги от колена в стороны, — а потом, из-за тяжелой сумки с книгами, переходила на стремительный шаг. Такая, запыхавшаяся, она казалась еще красивее. Шляпка слетела у нее с головы, удерживаемая узкой резинкой, и длинная грива волос моталась туда-сюда, а от энергичной ходьбы волнующе колыхалась ее грудь под белой блузкой и лямками юбки. Я дольше, чем обычно, смотрел на Морин в упор, так долго, сколько хватило смелости; но потом, чтобы не произвести впечатление грубо пялившегося типа, мне пришлось отвести глаза и притворно глянуть вдоль главной улицы, не идет ли мой трамвай, который, между прочим, в этот момент был уже совсем близко.

Я услышал вскрик — и вот она лежит у моих ног, а вокруг рассыпаны книги. В очередной раз припустившись бежать, она зацепилась носком туфли за чуть выкупающую плиту тротуара и упала, выронив сумку. Девушка в мгновение ока вскочила на ноги, я даже не успел протянуть ей руку, зато помог собрать книги и заговорил с ней: «Вы целы?» «Угу, — отозвалась она, посасывая оцарапанный палец. — Вот бестолочь». Последнее она явно адресовала себе или, возможно, плите тротуара, но не мне. Она сильно покраснела. Прошел мой трамвай, его колеса скрежетали и повизгивали на рельсах, пока вагон сворачивал за угол.

— Это ваш трамвай, — сказала она.

— Да ладно, — ответил я, придя в экстаз от скрытого смысла ее замечания — значит, последние месяцы она следила за мной и моими передвижениями столь же пристально, как и я за ней. Я старательно собрал выпавшие из папки листки бумаги, исписанные крупным, округлым почерком, над всеми «i» стояли не обычные точки, а маленькие кружочки, и отдал Морин.

— Спасибо, — пробормотала она, запихивая листки в сумку, и поспешила прочь, слегка прихрамывая.

Она как раз успела на свой трамвай — когда он несколько мгновений спустя проплывал мимо, я увидел ее на лестнице, ведущей на верхнюю площадку. Мой же трамвай отбыл без меня, но мне было наплевать...? с ней говорил! Почти прикоснулся к ней. Я ругал себя за то, что не проявил должной прыти и не помог ей подняться — но ничего: контакт между нами был установлен, мы обменялись несколькими словами, и я оказал ей маленькую услугу, собрав книги и листки. Отныне я смогу каждое утро улыбаться ей и здороваться, когда она будет проходить мимо. Обдумывая эту волнующую перспективу, я заметил что-то блестящее в канаве: это был зажим ручки «Байро», которая, очевидно, выпала из сумки Морин. Я, ликуя, схватил ее и убрал во внутренний карман, поближе к сердцу.

Шариковые ручки в то время были еще в новинку и стоили невероятно дорого, поэтому я знал, что девушка обрадуется, получив ее обратно. В ту ночь я спал, положив эту ручку под подушку (она протекла и оставила синие пятна на простыне и наволочке, за что меня жестоко выбранила мать и отодрал за ухо отец), а на следующее утро я на пять минут раньше

обычного занял свой пост около цветочного магазина, чтобы, не дай бог, не пропустить владелицу ручки. Она и сама появилась наверху Бичерс-роуд раньше обычного и медленно шла, смущенно и с величайшей осторожностью, все время глядя под ноги, — не потому, был уверен я, что боялась споткнуться снова, а потому, что знала — я смотрю на нее, дожидаюсь ее. Прошло несколько напряженных, наэлектризованных минут, пока она спускалась с холма. Это было похоже на ту изумительную сцену в конце «Третьего человека», когда подруга Гарри Лайма идет навстречу Холли Мартинсу по аллее зимнего кладбища, с той разницей, что она проходит, даже не взглянув на него, а эта девушка не должна пройти мимо, потому что у меня был безупречный предлог остановить ее и заговорить с ней.

На полпути ко мне она заинтересовалась скворцами, кружащими в небе и пикирующими над кооперативной булочной, но когда расстояние между нами сократилось до нескольких ярдов, она взглянула на меня и застенчиво улыбнулась улыбкой узнавания.

— Э… мне кажется, вы вчера выронили вот это, — выпалил я, выхватывая «Байро» из кармана

и подавая ей.

Ее лицо озарилось радостью.

— Ой, большущее вам спасибо, — сказала она, останавливаясь и беря ручку. — Я думала, что потеряла ее. Приходила сюда вчера днем поискать, но не нашла.

— Ну да, ее нашел я, — сказал я, и мы оба глупо засмеялись. Когда она смеялась, кончик носа у нее подергивался и морщился, как у кролика.

— Ну, спасибо еще раз, — проговорила она уже на ходу.

— Если бы я знал, где вы живете, то занес бы, — сказал я, отчаянно пытаясь задержать ее.

— Ничего, — отозвалась она, делая шаг назад, — раз она снова у меня. Я побоялась сказать маме, что потеряла ее.

Она одарила меня еще одной восхитительной улыбкой, от которой морщился ее носик, повернулась и исчезла за углом. Я так и не спросил, как ее имя.

Однако уже довольно скоро я его узнал. Каждое утро после ее ниспосланного небом падения к моим ногам я улыбался и здоровался, когда она проходила мимо, а она краснела, улыбалась и здоровалась в ответ. Вскоре я стал добавлять к своим приветствиям тщательно

отрепетированные замечания насчет погоды, или интересовался исправностью шариковой ручки, или жаловался на опоздание своего трамвая, что предполагало ответ с ее стороны, и однажды она на несколько секунд задержалась на углу у цветочного магазина для серьезной беседы. Я спросил, как ее зовут.

— Морин.

— А я — Лоренс.

— Переверните меня, — сказала она и хихикнула, видя, что я не понял. — Разве вы не знаете историю святого Лоренса?

Я покачал головой.

— Его предали мучительной казни, медленно поджаривая
на решетке. И он сказал: «Переверните меня, эта сторона уже готова», — объяснила она.

— Когда это было? — спросил я, сочувственно морщась.

— Точно не знаю, — ответила Морин. — Кажется, во времена Римской империи.

Слушая этот нелепый и слегка тошнотворный анекдот, рассказанный так, словно в нем не было ничего неприятного, я должен был догадаться, что Морин — католичка, но я узнал об этом только на следующий день, когда она назвала свою школу.

Я уже обратил внимание на вышитую красными и золотыми нитками эмблему на ее блейзере, но не распознал в ней религиозного смысла.

— Это означает Святое Сердце Иисуса, — сказала она, рефлекторно чуть поклонившись при произнесении Святого Имени. От этих благочестивых упоминаний решеток и сердец, которые совершенно некстати ассоциировались у меня с кухонным грилем и потрохами, мне сделалось немного не по себе — всплыли детские воспоминания об угрозах миссис Тернер омыть меня кровью агнца, — но это не отвратило меня от намерения сделать Морин своей девушкой.

До этого у меня никогда не было девушки, и я не очень-то представлял, с чего начать, только знал, что влюбленные парочки часто ходят вместе в кино, потому что видел их в очереди в местный «Одеон» и замечал, как они милуются на задних рядах. Как-то, когда Морин задержалась у цветочного магазина, я собрал все свое мужество и спросил, не хочет ли она в следующие выходные пойти со мной в кино. Она покраснела и выглядела взволнованной и встревоженной.

— Не знаю. Я должна спросить у мамы с папой, — сказала она.

На следующее утро она появилась наверху Бичерс-роуд в сопровождении огромного мужчины, не меньше шести футов ростом и широкого, мне показалось, как наш дом. Я понял, что это, должно быть, отец Морин, который, по ее словам, работал в местной строительной фирме прорабом, и с тревогой ждал его приближения. Я боялся не столько рукоприкладства, сколько унизительной публичной сцены. Морин, по-видимому, тоже, поскольку шла, еле переставляя ноги, мрачная и поникшая. Когда они подошли ближе, я устремил взгляд вдаль, вслед за блестящими линиями трамвайных путей, уходящими в бесконечность, в надежде, что мистер Каванаг, вопреки очевидности, просто провожает Морин и не обратит на меня внимания, если я не попытаюсь с ней поздороваться. Не тут-то было. Огромная фигура в темно-синем полупальто нависла надо мной.

— Ты, что ли, юный мерзавец, который пристает к моей дочери? — вопросил он с сильным ирландским акцентом.

— А? — попытался я потянуть время и посмотрел на Морин, но она отводила взгляд. Лицо у нее покраснело, и похоже было, что она плакала.

— Папа! — жалобно пробормотала она.

Молоденькая продавщица в комбинезоне, расставлявшая цветы по корзинам перед цветочным магазином, оставила свои труды, чтобы насладиться нашей драмой.

Мистер Каванаг ткнул меня в грудь огромным указательным пальцем, грубым, мозолистым и твердым, как полицейская дубинка.

— Моя дочь — порядочная девушка. Я не допущу, чтобы она болтала на улице с разными незнакомыми типами, понял?

Я кивнул.

— Еще бы не понял. Марш в школу.

Последнее относилось к Морин, которая, ссутулившись, побрела прочь, бросив на меня один, полный отчаяния, извиняющийся взгляд. Внимание мистера Каванага, как видно, привлек мой школьный пиджак — отвратительное малиновое одеяние с серебряными пуговицами, которое я на дух не переносил. Он прищурился на затейливый герб на нагрудном кармане, с девизом на латыни.

— В какую это школу ты ходишь?

Я сказал, и это, судя по всему, невольно произвело на него впечатление.

— Не вздумай у меня баловать, а то доложу твоему директору, — заявил он. Круто развернулся

и зашагал обратно.

Я остался стоять, где стоял, глядя вдоль главной улицы, пока не появился мой трамвай, а пульс не вернулся к нормальному ритму.

Разумеется, этот инцидент лишь сблизил нас с Морин. Запрет ее отца на наши встречи превратил нас в несчастных влюбленных. Каждое утро мы по-прежнему обменивались несколькими словами, хотя теперь я благоразумно стоял за углом, вне поля зрения того, кто мог обозревать Пять дорог с возвышенности Бичерс-роуд. Со временем Морин уговорила свою мать позволить мне прийти к ним в субботу днем, когда отца не будет дома, чтобы та могла убедиться, что я вовсе не какой-то оболтус, околачивающийся на углу, как они вообразили, когда она спросила у них разрешения пойти со мной в кино.

— Надень свой школьный пиджак, — посоветовала проницательная Морин.

И вот вместо того чтобы пойти на матч в Чарлтон, я, к изумлению родителей и невзирая на презрение товарищей, надел пиджак, который никогда не носил по выходным, и отправился в дом Морин, стоявший на высоком холме. Миссис Каванаг угостила меня чаем с ломтиком домашнего хлеба на соде в своей большой,

темной и бестолковой кухне в цокольном этаже. Оценивающе глядя на меня, она прижимала ребенка к плечу, чтобы тот мог срыгнуть. У этой красивой женщины за сорок, располневшей от родов, были длинные волосы ее дочери, но поседевшие и забранные на затылке в неряшливый узел. Она говорила с ирландским акцентом, как и ее муж, хотя Морин, ее братья и сестры обладали тем же выговором обитателей южного Лондона, что и я. Морин была старшим ребенком, и родители души в ней не чаяли. Ее учеба в монастыре Святого Сердца была предметом их особой гордости, и тот факт, что я ходил в классическую школу, в их глазах свидетельствовал в мою пользу. Фактически у меня было лишь два недостатка: я был мальчиком и некатоликом, а следовательно, являл собой естественную угрозу для добродетели Морин.

— С виду ты паренек достойный, — сказала миссис Каванаг, — но ее отец считает, что Морин еще мала крутить с парнями, да и я тоже. Ей нужно делать уроки.

— Не каждый же вечер, мама, — запротестовала Морин.

— Ты и так по воскресеньям ходишь в молодежный клуб, — напомнила миссис

Каванаг. — Для твоего возраста вполне достаточно общения.

Я спросил, могу ли я вступить в молодежный клуб.

— Это приходской молодежный клуб, — сказала миссис Каванаг. — Ты должен быть католиком.

— Нет, не должен, мама, — возразила Морин. — Отец Джером сказал, что некатолики тоже могут вступать, если они интересуются церковью.

Взглянув на меня, Морин покраснела.

— Я очень интересуюсь, — быстро проговорил я.

— В самом деле? — Миссис Каванаг скептически на меня посмотрела, но поняла, что ее перехитрили. — Что ж, раз отец Джером говорит, то ладно, значит, все в порядке.

Стоит ли говорить, что настоящего интереса к католицизму, да и вообще к религии у меня не было. Мои родители в церковь не ходили, и соблюдение ими, так сказать, субботы ограничивалось тем, что мне и брату запрещали играть в воскресенье на улице. Номинально Ламбетская коммерческая принадлежала к англиканской церкви, но молитвы и гимны по утрам, а также нерегулярные службы в часовне представлялись мне скорее частью

бесконечного соблюдения школой своих собственных традиций, нежели выражением какой-то моральной или богословской идеи. То, что есть люди вроде Морин и ее родных, каждое воскресное утро добровольно обрекающие себя на подобную скучищу, вместо того чтобы подольше поспать в свое удовольствие, не укладывалось у меня в голове. Тем не менее я был готов изобразить вежливый интерес к религии, если это даст мне возможность видеться с Морин.

Вечером следующего воскресенья я, условившись с Морин, уже стоял у местной католической церкви, приземистого здания из красного кирпича с большой, выше человеческого роста статуей Девы Марии у входа. Руки ее были распростерты, а вырезанная на постаменте надпись гласила: «Я ЕСТЬ НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ». Внутри шла служба, и я притаился на крыльце, прислушиваясь к незнакомым гимнам и приглушенно звучащим молитвам, в носу у меня защекотало от сильного, сладкого запаха, видимо от ладана. Внезапно раздался громкий перезвон колоколов, и я сквозь щелочку в двери разглядел алтарь, которым заканчивался проход

между рядами сидений. Залитый светом десятков высоких, тоненьких свечей, он производил впечатление. Священник в белом облачении, густо затканном золотом, держал в руках какой-то белый диск в стеклянном футляре, сверкавший отраженным светом, от него во все стороны, как от солнца, расходились золотые лучи. Предмет этот он держал за основание, обернутое концами вышитого шарфа, висевшего у него на шее, словно оно было слишком горячим или радиоактивным. Все присутствующие, а их было на удивление много, стояли на коленях, склонив головы. Потом Морин объяснила мне, что белый диск — это освященная гостия и они верят, что это настоящее тело и кровь Иисуса, но мне все действо показалось скорее языческим, чем христианским. И пели они тоже как-то чудно. Вместо воодушевляющих гимнов, к которым я привык в школе (моим любимым был «Стать пилигримом»), они распевали медленные, будто похоронные псалмы. Смысла я не понимал, потому что они были на латыни, которая никогда мне особо не давалась. Однако должен признать, что служба создавала некую атмосферу, какой в школьной часовне я никогда не ощущал.

Что

мне с самого начала в католиках понравилось, так это то, что в них не было духа превосходства, мол, мы святее тебя. Выходившая из церкви паства с таким же успехом могла выходить из кинотеатра, даже из па- ба, если судить по тому, как они обменивались приветствиями, шутили, болтали и угощали друг друга сигаретами. Морин появилась в сопровождении матери, головы их были покрыты шарфами. Миссис Каванаг заговорила с другой женщиной, в шляпке. Морин заметила меня и, улыбаясь, подошла.

— Значит, дорогу ты нашел? — приветствовала она меня.

—

А если твой папа увидит, что мы разговариваем? — нервничая, спросил я.

— О, он никогда не ходит на Благословение, — ответила она, развязывая шарф и встряхивая волосами. — Слава богу.

Парадоксальность этого замечания меня не поразила, тем более что мое внимание все равно было полностью поглощено ее волосами. Я никогда до этого не видел их распущенными, ниспадавшими на спину блестящими волнами. Она показалась мне прекраснее прежнего. Поймав мой взгляд, Морин залилась краской

и сказала, что должна представить меня отцу Джерому. Миссис Каванаг куда-то исчезла.

Из двух священников прихода отец Джером был моложе, хотя на самом деле далеко не молод. Он совсем не походил на нашего школьного капеллана
или любого другого священнослужителя, которых мне доводилось видеть. Он даже не походил на себя самого, стоявшего на алтарном возвышении, — именно он вел службу, которая только что закончилась. Это был сухопарый, седой дублинец с пожелтевшими от никотина пальцами и порезом на подбородке, который он, видимо, залепил клочком туалетной бумаги. Его черная сутана едва доходила до поношенных башмаков, а в ее глубоких карманах он держал все необходимое для скручивания сигарет. Одну из них он закурил, словно шутиху поджег — с пламенем и искрами.

— Значит, вы хотите присоединиться к нашему молодежному клубу, молодой человек? — спросил он, отряхивая тлеющие крошки табака с сутаны.

— Да, если можно, сэр, — ответил я.

— Тогда вы должны приучиться называть меня «отец» вместо «сэр».

— Да, сэр… отец, я хотел сказать, — с запинкой ответил я.

Отец Джером улыбнулся, обнажив обескураживающую брешь в своих потемневших и неровных зубах. Он задал мне еще несколько вопросов — где я живу и в какой школе учусь. Ламбетская коммерческая опять произвела впечатление, и я стал кандидатом в члены молодежного клуба прихода церкви Непорочного Зачатия.

Одной из первых задач Морин было разъяснить мне название церкви. Я думал, оно связано с тем, что Мария была девственницей, когда зачала Иисуса, но нет, кажется, это означало, что Мария сама была зачата «без порока первородного греха». Язык католицизма казался мне очень странным, особенно потому, что в молитвах и во время служб использовались слова «девственный», «зачатие», «утроба», которые в обычном разговоре граничили бы с неприличием, особенно у меня дома. Я не поверил своим ушам, когда Морин сказала, что должна пойти на новогоднюю мессу, потому что это праздник Обрезания.

— Праздник чего!

— Обрезания.

— Чьего обрезания?

— Господа нашего, конечно. В младенчестве. Божья Матерь и святой Иосиф отнесли его в храм, и там его обрезали. Это было что-то вроде еврейского крещения.

Я недоверчиво рассмеялся.

— Ты знаешь, что на самом деле означает обрезание?

Морин покраснела и захихикала, наморщив нос.

— Конечно.

— Ну и что же?

— Я не собираюсь говорить.

— Просто ты не знаешь.

— Нет, знаю.

— Спорим, не знаешь.

Я упорствовал в своих похотливых расспросах до тех пор, пока она не выпалила, что это означает «отрезание кусочка кожи на конце пиписьки младенца», и пока моя собственная пиписька не встала в серых фланелевых брюках, как эстафетная палочка. В тот момент мы шли домой после воскресной встречи в молодежном клубе, и на мне, к счастью, был плащ.

Встречи в молодежном клубе проводились дважды в неделю в помещении школы для малышей, пристроенной к церкви: по средам

здесь играли, в основном в пинг-понг, а по воскресеньям просто «общались», то есть устраивали танцы под патефон и угощение, состоявшее из сандвичей и оранжада или чая. Нехитрый стол готовила группа девочек, дежуривших по очереди. От мальчиков требовалось сдвинуть детские парты к стенам в начале вечера, а в конце снова расставить их рядами. В наше распоряжение отдавались две классные комнаты, в другое время разделявшиеся стеной- гармошкой. Полы там из изъеденных временем, грубых деревянных плашек, на стенах висели детские рисунки и наглядные пособия, а освещение уныло утилитарное. У патефона был всего один динамик, а коллекцию пластинок составляли поцарапанные диски на 78 оборотов. Но для меня, только что вышедшего из кокона отрочества, молодежный клуб был местом волнующих и утонченных наслаждений.

Танцам меня учила почтенная дама из прихода, которая на игровых вечерах (куда родители редко отпускали Морин) давала бесплатные уроки. Я с удивлением обнаружил, что у меня есть способности к танцам, и с удовольствием следовал постоянному напоминанию-наказу миссис Гейнор: «Крепко держите партнершу!»,

особенно воскресными вечерами, когда моей партнершей была Морин. Само собой, я танцевал в основном с ней, но клубные правила запрещали присваивать партнера, а я пользовался большим спросом во время «белых танцев» благодаря ловкости своих ног. Это были, разумеется, бальные танцы — квикстеп, фокстрот и вальс, — которые для разнообразия иногда разбавлялись старинными. Мы танцевали под сдержанные ритмы Виктора Силвестера, перемежаемые популярными песнями Нэта «Кинга» Коула, Фрэнки Лейна, Гая Митчелла и других певцов того времени. Признанным фаворитом была песня «Рэгтайм Двенадцатой улицы» Пи Ви Ханта, но джайв не дозволялся — его совершенно недвусмысленно запрещал отец Джером, а сольный твист, мотание головой и вращение тазом, которые сходят в наши дни за танцы, еще пребывали в утробе времени, дожидаясь своего рождения в шестидесятые годы. Когда сегодня я заглядываю на дискотеку или в ночной молодежный клуб, меня поражает контраст между эротизмом обстановки — приглушенный красный свет, оргиастический рокот музыки, плотно облегающая, провоцирующая одежда — и почти лишенном прикосновений самим

танцем. Видимо, потом у них бывает столько физического контакта, что на танцплощадке они по нему не скучают, но для нас все было наоборот. Танец, даже в церковном молодежном клубе, подразумевал, что тебе разрешается обнимать девушку на людях, девушку, которую до приглашения на танец ты, может быть, и в глаза не видел, чувствовать, как ее бедро, укрытое шуршащими юбками, касается твоего бедра, грудью ощущать тепло ее груди, вдыхать аромат духов за ее ухом или запах шампуня, идущий от свежевымытых волос, которые щекочут твою щеку. Конечно, приходилось притворяться, что не это главное, нужно было болтать о погоде, музыке, о чем угодно, пока ты вел свою партнершу по залу, однако лицензия на физическое сближение составляла суть. Вообразите коктейль-вечеринку, где все гости занимаются мастурбацией, для видимости самозабвенно потягивая белое вино и обсуждая новинки литературы и театра, и вы составите некоторое представление о том, чем были для подростков начала пятидесятых танцы.

Надо признать, что отец Джером делал все от него зависящее, чтобы пригасить пламя вожделения, требуя прочесть в начале вечера

«Аве Мария» десять раз подряд, называя это «тайной святых четок», — для меня это уж точно была тайна, я ничего не мог разобрать в произносимых монотонной скороговоркой словах. Отец Джером оставался в зале еще какое-то время, наблюдая за танцующими парами, чтобы убедиться, что все пристойно и честно. В правилах клуба был один пункт, известный как Правило Пятое, являвшийся для членов клуба предметом умеренно рискованных шуток, — он гласил, что между танцующими парами должен оставаться видимый просвет; но выполнялся он не строго. Тем более что отец Джером обычно удалялся (поговаривали, выпить виски и поиграть с закадычными друзьями в вист) задолго до последнего вальса, когда мы выключали часть освещения и самые смелые танцевали щека к щеке или грудь к груди. В такие моменты я, естественно, всегда старался пригласить Морин. Она танцевала не особенно хорошо, а танцуя с другими мальчиками и вовсе выглядела явно неуклюжей, что меня совсем не огорчало. Она подчинялась моему уверенному ведению и смеялась от удовольствия, когда я вращал и вращал ее в конце танца, заставляя кружиться юбки. Для воскресных вечеров у нее

было два наряда: черная юбка из тафты с разными блузками и белое платье в розовых розочках, которое плотно облегало ее грудь, красивую и хорошо развитую для ее возраста.

Вскоре и другие члены клуба приняли меня, особенно после того, как я присоединился к их футбольной команде, которая в воскресенье днем играла против других приходов южного Лондона, имевших такие же причудливые названия, как наш, и тогда счет матча, например, объявлялся таю «Непорочное Зачатие» — 2, «Драгоценная Кровь» — 1 или «Неустанная Помощь» — 3, «Сорок Мучеников» — ноль. Я играл правым полусредним и так хорошо, что в том сезоне мы выиграли чемпионат лиги. Я оказался впереди по количеству забитых мячей — двадцать шесть. Менеджер команды-соперницы узнал, что я некатолик, и официально заявил, что меня не должны были допускать до игры. Мы думали, что у нас отберут кубок, но когда мы пригрозили выйти из лиги, нам его оставили.

Играли мы в общественных парках на неровных, покатых полях, добираясь туда на трамвае или автобусе, переодевались в сырых, унылых хибарах — в лучшем случае с туалетом и с холодной водой, никакой тебе ванны или душа.

После игры грязь засыхала коркой у меня на коленях, и, сидя потом в ванне, я отмачивал их, постепенно распрямляя ноги и воображая, что мои колени — это два вулканических острова, погружающихся в океан. Когда они исчезали, из мутной воды, от которой шел пар, показывался, словно страшный морской змей, мой налившийся кровью пенис — я думал о Морин, которая в это же время мыла голову, готовясь к воскресному вечеру «общения». Она сказала мне, что обычно делает это в ванне, потому что выполоскать Длинные волосы над раковиной трудно. Я представлял, как она сидит в теплой, мыльной воде и, наполнив из-под крана эмалированный кувшин, поливает голову и длинные пряди прилипают к изгибам ее грудей, как у русалки на картинке, которую я когда-то видел.

Морин

и еще несколько девушек из молодежного клуба часто приходили на воскресные матчи поболеть за нас. Забив гол, я искал ее глазами среди зрителей, когда трусцой возвращался на середину поля с видом скромным и сдержанным, подражая Чарли Вогану, центральному нападающему «Чарлтон атлетик», и она в ответ с обожанием мне улыбалась. Один мяч я особенно запомнил

— зрелищный гол, забитый головой буквально в полете, кажется, это был матч против «Божьей Матери Неустанной Помощи» из соседнего прихода, в Брикли, а значит, это были уже зональные соревнования. Вообще-то гол этот был чистым везением, потому что головой я играл неважно. Все произошло на последних минутах: я принял мяч от нашего вратаря, ударившего от ворот, обошел двух игроков соперника и передал мяч нашему правому крайнему нападающему. Его звали Дженкинс — Дженкси, так мы звали его: маленький, не по возрасту морщинистый, сутулый парень, который курил «Вудбайн» не только до и после матча, но и в перерывах между таймами и был известен тем, что просил затянуться у зрителей во время пауз в самой игре. Несмотря на свой неказистый вид, он был шустрым, особенно если бежал под уклон, как было в тот раз. Он помчался вдоль фланга к угловому флажку и ударил по мячу, по своему обыкновению, не глядя, просто спеша избавиться от мяча до того, как преследовавший Дженкинса левый защитник догонит и врежется в него. Я подоспел на штрафную площадку как раз в тот момент, когда мяч вылетел из угла и оказался передо мной где-то на уровне пояса. Нырнув

«рыбкой», я по счастливой случайности принял его головой, прямо лбом. Мяч влетел в сетку, как ракета, вратарь даже не пошевельнулся. Благодаря сетке на воротах (немногие поля, где мы играли, снисходили до таких мелочей) этот гол показался еще более эффектным. Наши противники уставились на меня, разинув рот. Мои товарищи по команде помогли мне встать, похлопывая по спине. Морин и другие девчонки из Непорочного Зачатия прыгали, крича как сумасшедшие. Думаю, с тех пор я ни разу в жизни не переживал момента столь чистого торжества. Именно в тот вечер, проводив Морин до дома после вечера в молодежном клубе, я впервые дотронулся до ее груди поверх блузки.

Прошел уже, должно быть, год, как я впервые заговорил с ней. К физической близости мы продвигались медленно и немыслимо мелкими шажками, по нескольким причинам: из-за моей неопытности, невинности Морин и придирчивого надзора ее родителей. Мистер и миссис Каванаг были очень строгими, даже по меркам тех дней. Они не могли помешать нам встречаться в молодежном клубе и вряд ли могли возражать, чтобы потом я провожал Морин домой, но запрещали нам ходить куда-

либо только вдвоем — в кино или куда-то еще. Субботними вечерами Морин сидела с детьми, пока родители отдыхали в Ирландском клубе в Пекаме, но мне, пока их не было, приходить к ним в дом не разрешалось, и ей не позволяли бывать у меня. Конечно, каждое утро мы по-прежнему встречались на остановке, выходя из дому пораньше, чтобы поболтать подольше (только теперь это была автобусная остановка: лондонские трамваи постепенно ликвидировали, пути разобрали и залили дорогу асфальтом, а моего отца перевели на канцелярскую работу в депо, и, надо сказать, он не жаловался). Обычно я вручал Морин любовные послания, чтобы она читала их по дороге в школу — она просила ни в коем случае не посылать их по почте, потому что рано или поздно они попадут в руки родителей. Я же просил ее именно посылать свои письма, мне казалось таким взрослым получать личную корреспонденцию, особенно в этих розовато-лиловых конвертах, пахнущих лавандой, — мой младший брат умирал от любопытства, глядя на них. Я мог не опасаться, что родители прочитают эти письма, тем более что их содержание было совершенно невинным. Сами письма тоже были написаны на розовато-лиловой почтовой бумаге,

с тем же запахом лаванды, крупным, округлым почерком, с маленькими кружочками над всеми «i». Думаю, она позаимствовала эту идею из рекламы ручек «Байро». В школе ей постоянно делали замечания по этому поводу. Помимо кратких утренних встреч на остановке, мы могли видеться только в молодежном клубе — на вечерах общения и вечерах игр, на футбольных матчах и во время редких прогулок в зеленом поясе Кента и Суррея в летние месяцы.

Возможно, эти ограничения и помогли нам так долго хранить взаимную привязанность. Мы не успевали наскучить друг другу, а в нашем противостоянии родителям Морин мы ощущали себя участниками в высшей степени романтической драмы. За нас все сказал Нэт «Кинг» Коул в своей песне «Рано еще любить», под аккомпанемент слащавых струнных и гулких фортепьянных аккордов перекатывая во рту гласные, как леденцы:

They try to tell us we're too young,
Too young to really be in love.
They say that love's a word,
A word we've only heard
But can't begin to know the meaning of.
And yet we're not too young to know,

This love will last though years may go…
[49] [broken link: #_ftn49]

Это была наша любимая песня, и я всегда старался заполучить в партнерши Морин, когда ставили эту пластинку.

Почти единственной нашей возможностью побыть наедине было время в воскресенье вечером, пока я провожал ее домой после танцев. Поначалу, смущаясь и не зная толком, как вести себя в этой новой ситуации, я тащился позади Морин, засунув руки в карманы. Но одним холодным вечером, к моему огромному удовольствию, она приткнулась ко мне, словно ища тепла, и взяла под руку. Я раздулся, преисполнившись гордости обладателя. Теперь она по-настоящему стала моей девушкой. Держа меня под руку, она болтала, как канарейка в клетке, — о ребятах в молодежном клубе, о своих школьных подругах и учителях, о своей семье с множеством родственников в Ирландии и даже в Америке. Насколько я помню, Морин всегда была переполнена новостями, слухами, анекдотами. Обычные, но пленявшие меня банальности. За стенами школы я старался выбросить учебу из головы, в моих домашних тоже не было ничего интересного по сравнению с семьей

Морин, поэтому я предпочитал слушать, а не говорить. Но иногда она расспрашивала меня о моих родителях, о моем детстве и очень любила мои рассказы, как я каждое утро высматривал ее, стоя на углу хэтчфордских Пяти дорог, и не осмеливался заговорить с ней.

Даже после того как она впервые взяла меня под руку, прошло несколько недель, прежде чем я собрался с духом поцеловать ее на прощание, на улице у ее дома. Мой неловкий, неумелый поцелуй, пришедшийся наполовину в губы, наполовину в щеку, застал Морин врасплох, но она с теплотой вернула его. И тут же отстранилась и, пробормотав: «Спокойной ночи», взбежала по ступенькам крыльца; но на следующее утро на остановке ее затуманенные глаза сияли, а в улыбке появилась новая мягкость, и я понял, что для нее этот поцелуй так же памятен, как и для меня.

Мне пришлось учиться целоваться, как пришлось учиться танцевать. В нашей семье, где мужчины составляли большинство, существовало табу на любые прикосновения, тогда как в семье Морин, по ее словам, для всех детей, даже для мальчиков, было обычным делом поцеловать родителей на ночь. Конечно,

это было совсем не то, что целовать меня, но объясняло ту непринужденность, с которой Морин поднимала ко мне свое лицо, как удобно и свободно чувствовала себя в моих объятиях. О, восторг этих первых объятий! Что такого в этих подростковых поцелуях? Думаю, они дают интуитивное представление о том, на что будет похож секс: девичьи губы и рот, словно сокровенная внутренняя плоть ее тела — розовая, влажная, нежная. Наверняка то, что мы называем французским поцелуем, засовывая друг другу в рот языки, — это подобие полового акта. Но до этого мы с Морин дошли еще очень не скоро. Многие месяцы нас пьянили простые поцелуи, когда мы стояли обнявшись, слив губы, закрыв глаза и не дыша по нескольку минут кряду.

Обычно мы проделывали это в тени под лестницей, ведущей в подвал в цокольном этаже дома Морин, мирясь с запахом, исходившим от соседних мусорных ящиков. Мы стояли там при любой погоде. Если шел дождь, Морин, пока мы обнимались, держала над нами свой зонт. В холодную погоду я расстегивал свое широкое пальто (мое новое приобретение, которое я с гордостью носил по выходным) и распахивал ее плащ, сооружая подобие палатки, внутри

которой привлекал Морин к себе. Однажды я обнаружил, что на спине платья с розочками нет одной пуговицы, и, сунув ладонь в прореху, почувствовал голую кожу между лопатками. Морин вздрогнула и чуть больше раздвинула губы, прижатые к моим губам. Спустя несколько недель я пробрался внутрь спереди, через застежку блузки, и стал ласкать ее живот через скользкий атлас комбинации. Шаг за шагом я продолжал исследовать ее тело, девственную во всех смыслах этого слова территорию. Морин была нежна и податлива в моих объятиях, она хотела, чтобы ее любили, ей нравились мои ласки, но за всем этим не стояло никакой сексуальности. Должно быть, она часто ощущала через одежду мой напряженный член, когда мы обнимались, но никогда ни словом об этом не обмолвилась, не подала виду, что смущена этим. Возможно, она думала, что взрослые пиписьки постоянно тверды, как камень. Эрекция была скорее моей проблемой. Когда нам приходило время расставаться (задерживаться на улице дольше десяти-пятнадцати минут было опасно, ибо мистер Каванаг знал, когда заканчиваются вечера в молодежном клубе, и иногда сам выходил на крыльцо глянуть на дорогу, и тогда

мы замирали, стоя прямо под ним, — было и страшно и весело), я ждал, когда Морин взбежит на крыльцо и войдет в дом, а после шел прочь, напрягаясь и подавшись вперед, как на ходулях.

Думаю, что Морин тоже должна была испытывать свои симптомы сексуального возбуждения, но вряд ли понимала, что это такое. У нее от природы было чистое сознание, чистое, не будучи при этом ханжеским. Она искренне не понимала грязных шуток. Говорила, что, когда вырастет, хочет выйти замуж и иметь детей, но явно не связывала это с сексуальностью. И тем не менее она любила, когда ее целовали и обнимали. Она мурлыкала в моих объятиях, как котенок. Я считаю, что подобная чувственность и невинность едва ли могут сосуществовать в наши дни, когда на подростков выливается такой поток словесных и зрительных образов, вызывающих похоть. Любой фильм «до 15 лет», не говоря уж о «мягком» порно на видео и в журналах, которые свободно продаются в любом видеомагазине на Хай-стрит или у агента, содержит достаточно сцен и слов, от которых сорок лет назад у половины мужчин- зрителей эякуляция случилась бы прямо в штаны, а создатели и распространители фильма угодили бы за решетку. Неудивительно,

что сегодня дети стремятся заниматься сексом при первых признаках полового созревания. Интересно, целуются ли нынешние подростки вообще, прежде чем скинуть одежду и нырнуть в постель.

Мои помыслы были не столь чисты, как у Морин, но знаний было ненамного больше. Хоть я и предавался смутным фантазиям о сексе с ней, особенно перед самым сном, и, как следствие, получал ночные поллюции, у меня не было намерений соблазнить ее, да и любая моя попытка встретила бы решительный отпор. Мои устремления не простирались дальше того, чтобы потрогать ее обнаженную грудь. Настоящий соблазн подстерегал меня, когда я этого достиг.

Я уже зашел так далеко, что нежно забирал в ладонь ее грудь под тканью блузки, когда мы целовались, и ощупывал пальцами швы ее лифчика, как шрифт Брайля, когда взбрыкнула ее католическая совесть. Мысленно возвращаясь в прошлое, я удивляюсь, что она не сделала этого раньше. Катализатором послужил так называемый «отход от мира» в ее школе — название показалось мне занятным для такого мероприятия, как она его описала — три дня проповедей, молитв и периодов обязательного

молчания. Я бы переименовал этот «отход» в «отступление» — военные ассоциации оказались достаточно уместны, учитывая немедленное воздействие этого «отхода» на наши отношения. Священник, который руководил «отходом от мира» — это был настоящий Дюнкерк плоти. (Морин описала его — крупный, с седой бородой, как изображают Бога-Отца, с пронизывающим взглядом, казалось, он смотрит прямо в глубь твоей души.) Он обратился к девочкам-подросткам в присутствии строго кивавшей матушки-настоятельницы с речью по поводу Святой Чистоты и до ужаса напугал страшными последствиями осквернения Храмов Святого Духа, как он назвал их тела.

— Если хоть одна из присутствующих здесь девочек, — громыхал он, и Морин утверждала, что, говоря, он смотрел именно на нее, — своей одеждой или поведением заставит мальчика совершить грех осквернения — мысленно, словом или делом, — она будет также виновна, как и он. И даже более виновна, потому что мужчины менее способны контролировать распутные желания, чем женщины.

После этого девочки должны были исповедоваться

ему, и он выуживал из них подробности тех вольностей, которые они позволили совершить мальчикам в отношении своих Храмов Святого Духа. Теперь мне совершенно ясно, что это был грязный старик, который возбуждался, проникая в сексуальные переживания беззащитных девочек-подростков и заставляя их плакать. Морин он точно заставил плакать. И меня тоже, когда она сказала, что я больше не должен «там» ее трогать.

Было нечто в католической вере, что заставило меня остаться протестантом или атеистом (я точно не знал, во что я на самом деле верю), и главное здесь — исповедь. Время от времени Морин предпринимала попытки заинтересовать меня своей религией, и стоит ли говорить, что самым заветным ее желанием было стать орудием моего обращения. Я считал благоразумным время от времени по воскресным вечерам приходить на Благословения, чтобы доставить Морин удовольствие и оправдать свое членство в молодежном клубе, но посещения мессы, сделав пару заходов, я стал избегать.

Шли они в основном на латыни (этот предмет попортил мне крови в школе, пока его не заменили искусством), священник неразборчиво бормотал,

повернувшись спиной к пастве, на которую все это нагоняло тоску, похоже, не меньше, чем на меня, поскольку многие прихожане читали во время службы свои молитвы, перебирая четки… хотя, видит бог, чтение молитв было еще более нудным и, к несчастью, составляло официальную часть Благословения. Неудивительно, что после службы католики выходили из церкви в таком приподнятом настроении, разговаривая, смеясь и распечатывая пачки сигарет: избавившись от нестерпимой скуки, они чувствовали несказанное облегчение. Единственным исключением была полуночная месса на Рождество, которая оживлялась пением рождественских гимнов и возбуждением от бодрствования допоздна. Другие аспекты католицизма, такие, как поразительно реалистичные живописные и скульптурные изображения распятия внутри церкви, ряды оплывающих свечей, поставленных во исполнение обета, воздержание от мяса по пятницам и от сладостей во время Великого поста, обращение к св. Антонию, если ты что-то потерял, и приобретение «индульгенций» как своего рода страхового полиса для загробной жизни, казались мне всего лишь своеобразными суевериями. Но исповедь — совсем другое дело.

Однажды, когда мы почему-то сами пришли в церковь — кажется, Морин ставила свечку за какое-то свое «желание», может, за мое обращение, — я заглянул в одну из исповедален, которые стояли вдоль стен, похожие на буфеты. С одной стороны была дверь с именем священника, с другой стороны — занавеска. Я отдернул занавеску и увидел мягкую скамеечку для преклонения коленей и маленькую квадратную сеточку, похожую на сито, через которую ты шепчешь свои грехи священнику. При одной мысли об этом мурашки побежали у меня по спине. Какая ирония судьбы, если представить, в какую зависимость от психотерапии я впал потом во взрослой жизни, но в подростковом возрасте сама мысль о том, чтобы поделиться своими самыми тайными и постыдными мыслями со взрослым, кажется невыносимой.

Морин пыталась избавить меня от этого предубеждения. Предмет «Религиозные наставления» давался ей в школе лучше всего. Она поступила в монастырскую школу и держалась там благодаря скорее неустанному тяжелому труду, чем природным способностям, и механическое запоминание «РН» как нельзя лучше отвечало ее возможностям.

— Ты не священнику говоришь, а Богу.

— Почему же тогда не сказать прямо Богу — в молитве?

— Потому что тогда это не будет таинством.

Я скептически заворчал из глубины своих теологических познаний.

— Все равно, — настаивала Морин, — священник не знает, кто ты. Там темно.

— А вдруг он узнает твой голос? — спросил я.

Морин созналась, что обычно она избегает отца

Джерома именно по этой причине, но продолжала утверждать, что даже если священник и узнает твой голос, ему не разрешено ничего рассказывать, и он никогда, ни при каких обстоятельствах не раскроет твоих признаний — из-за тайны исповеди.

— Даже если ты совершила убийство?

Даже тогда, заверила меня она, хотя здесь была уловка:

— Он не отпустит тебе грехи, если ты не пообещаешь сдаться властям.

— А что такое отпущение грехов? — поинтересовался я, произнеся по ошибке «опущение» и заставив Морин хихикнуть, прежде чем она углубилась в долгую пустую

болтовню о прощении, благодати, покаянии, чистилище и возмездии, которые имели для меня не больше смысла, чем если бы она цитировала мне правила игры в бридж Как-то, еще в начале наших отношений, я спросил ее, что это за грехи, в которых она каялась, но Морин, естественно, не стала отвечать, зато об исповеди во время школьного «отхода» рассказала, равно как и о словах священника, что с моей стороны было грехом трогать ее так и что я не должен больше этого делать. Теперь, чтобы избегать «повода ко греху», мы не должны больше спускаться по ступенькам к двери в подвал и обниматься там, когда я провожаю ее домой, а просто пожать на прощание руки или, возможно, обменяться одним невинным поцелуем.

В смятении от такого поворота событий, я приложил максимум усилий, чтобы вернуть все на круги своя. Я протестовал, спорил, подольщался; я разливался соловьем, давил на жалость, пускался на разные хитрости. И конечно, в конце концов победил. Юноша всегда выигрывает подобные сражения, если девушка боится его потерять, а Морин боялась. Я не сомневаюсь, что она отдала мне свое сердце, потому что я первым попросил его. Но,

с другой стороны, в те годы я был довольно привлекательным. Я еще не приобрел прозвища Пузан, и все мои волосы еще были на месте — роскошная белокурая шевелюра, между прочим, которую я зачесывал назад крутой волной, щедро сдабривая бриллиантином. Кроме того, я был лучшим танцором в молодежном клубе и звездой футбольной команды. Такие вещи значат для девушек больше, чем результаты экзаменов и карьерные перспективы. В тот год мы сдавали промежуточные экзамены. Оценки Морин получила самые скромные, но их хватило, чтобы перейти в следующий класс; я провалил все, кроме английской литературы и искусства, и, бросив школу, нашел работу по объявлению в «Ивнинг стандарт» в офисе крупного театрального импресарио в Уэст-Энде. Я стал всего лишь рассыльным — франкировал письма, носил их на почту, приносил остальным сотрудникам сандвичи и так далее, но некие отблески этого бизнеса падали и на меня. В нашей конторе над театром на Шафтсбери-авеню известные актеры и актрисы, направляясь в святая святых босса, проходили и через нашу тусклую комнату, улыбаясь и перебрасываясь со мной парой слов, пока я брал у них пальто или подавал чашку кофе.

Я быстро усвоил язык шоу-бизнеса, проникся его лихорадочным возбуждением, успехами и провалами его разнообразных обитателей. Морин, видимо, поняла, что я быстро созреваю в этой непростой среде и есть опасность, что она меня потеряет. Иногда мне давали бесплатные билеты на спектакли, но надежды, что мистер и миссис Каванаг отпустят ее со мной, не было. Мы больше не встречались каждое утро на бывшей трамвайной остановке, потому что теперь я ездил на электричке от станции Хэтчфорд до вокзала Чаринг-Кросс. Наши воскресные встречи и прогулки до ее дома после вечеров в молодежном клубе стали тем более ценными. Поэтому она не могла долго отказывать мне в поцелуях. Я увлекал ее в тень в самом низу лестницы, ведущей к двери в подвал, и постепенно возвращался к прежнему уровню интимности.

Не знаю, какой договор она заключила с Богом или своей совестью — я счел разумным не интересоваться. Я знал, что раз в месяц она ходит на исповедь и раз в неделю к причастию, — нарушь она заведенный порядок, это вызвало бы подозрения у ее родителей; когда- то давно она мне объяснила, что ты не получишь отпущения греха, если не дашь обещания больше его не

совершать, и что проглотить освященную облатку в состоянии греха еще больший грех, еще худший, чем первый. Существовала некая разница между большими грехами и малыми, которую она использовала в качестве лазейки. Большие грехи назывались смертными грехами. Не помню, как назывались малые грехи, но к причастию можно было пойти и без их отпущения. Однако я сильно подозреваю, что бедная девочка считала прикосновение к груди смертным грехом и верила, что ей грозит серьезная опасность отправиться в ад, если она неожиданно умрет.

Ее манеры и выражение лица слегка изменились в тот период, хотя, возможно, я был единственным, кто это заметил. Она потеряла свою обычную пылкость. В ее глазах появилась какая-то отрешенность, в улыбке — вымученность. Даже кожа пострадала — лишилась сияния, вокруг рта периодически появлялась россыпь прыщиков. Но самым знаменательным было то, что она позволяла мне больше вольностей, чем раньше, словно оставила всякую надежду быть хорошей, или, по ее выражению, пребывать в благодати, а значит, не было смысла защищать свою скромность. Когда одним теплым сентябрьским вечером

я расстегнул на ней блузку и с бесконечной осторожностью и деликатностью, как взломщик, вскрывающий замок, расцепил крючок на ее лифчике, я не встретил никакого сопротивления, ни слова протеста. Морин просто стояла в темноте, рядом с мусорными ящиками, пассивная и слегка дрожащая, как агнец, ведомый на заклание. Комбинации на ней не было. Затаив дыхание, я нежно высвободил ее грудь, левую, из чашечки лифчика. Она перекатывалась в моей ладони, как спелый плод. Боже! Никогда в жизни — ни до того, ни после — я не испытывал ничего, что сравнилось бы с первым прикосновением к юной груди Морин — такой мягкой, такой гладкой, такой нежной, такой крепкой, такой эластичной, такой таинственно сопротивляющейся силам земного тяготения. Я приподнял грудь Морин на сантиметр, ощущая ее тяжесть в сложенной ковшиком ладони, затем осторожно опустил руку, пока она снова не приняла свою форму уже без моей поддержки. То, что ее грудь так и торчала, горделивая и крепкая, казалось не меньшим волшебством, чем сама Земля, плывущая в космосе. Я снова испробовал ее вес и нежно сжал, и она высунулась из моей ладони, словно обнаженный херувим. Не знаю, как долго

мы стояли там в темноте молча, едва дыша, пока она не пробормотала: «Я должна идти», завела руки за спину, чтобы застегнуть лифчик, и исчезла на крыльце.

С того вечера наши сеансы поцелуев неизменно включали и мои прикосновения к ее груди под одеждой. Это было апогеем ритуала, словно сияющая дароносица, возносимая священником во время Благословения. Я так хорошо изучил очертания ее грудей, что мог с закрытыми глазами вылепить их из гипса. Это были почти идеальные полусферы с маленькими острыми сосками, которые напрягались под моим прикосновением, напоминая крошечные эрегированные члены. Как я жаждал не только потрогать их, но и увидеть, коснуться губами, и одарить лаской, и зарыться головой в теплую долину между ними! Я уже начал вынашивать замыслы в отношении нижней половины ее тела и распутно помышлял запустить руку в трусики Морин. Ясно, что, стоя на сырых ступеньках, ведущих к подвальной двери, осуществить это было невозможно. Так или иначе, я должен был оказаться с ней наедине в каком-то помещении. Я ломал голову над подходящей уловкой, как вдруг возникло неожиданное препятствие.

Когда в один из вечеров я провожал ее домой, она остановилась под фонарем, не доходя до своего дома, и сказала, глядя мне в глаза и теребя прядь волос, что поцелуи и все остальное должно быть прекращено. И все из-за рождественской постановки в молодежном клубе.

Идея постановки родилась у Беды Харрингтона, председателя клубного комитета. Я никогда раньше не слышал, чтобы кого-нибудь так звали — Беда, и при знакомстве по своей серости спросил, как точно ставится ударение в его имени. Он, видимо, решил, что я к нему цепляюсь, и сдержанно проинформировал меня, что Бёда — это имя древнего британского святого, монаха, известного под именем Беда Достопочтенный. Беда и сам пользовался заметным уважением, особенно со стороны взрослых. Он был на год или два старше меня и Морин и делал блестящую академическую карьеру в Сент-Алоизиусе, местной католической классической школе. В то время, о котором я пишу, он был старостой класса и только что получил место в Оксфорде, где он собирался в следующем году проходить — или, как он любил говорить, щеголяя своими тайными познаниями, где им будут читать английский язык. Он был высокий,

с длинным, тонким бледным лицом, бледность его подчеркивали очки в толстой роговой оправе и жесткие черные волосы, которые казались разделенными на пробор не в том месте, потому что всегда стояли торчком или падали ему на глаза. Несмотря на свои интеллектуальные достижения, Беда был обделен талантами, ценившимися в молодежном клубе. Он не танцевал и не играл в футбол, да и вообще не занимался никаким спортом. В школе его освобождали от игр из-за близорукости, а танцы, как он утверждал, его просто не интересовали. Думаю, на самом деле они его очень даже интересовали из-за возможности физического контакта с девушками, но он боялся, что с его нескладным телом, плохой координацией и огромными ступнями у него, скорей всего, получится плохо, а показаться смешным на уроках танцев было для него неприемлемым. Беде Харрингтону необходимо было преуспевать во всем, за что он брался. Он добился, чтобы его выбрали председателем комитета, и руководил всеми вокруг. Он издавал клубный бюллетень, который сам и писал, и размножал на ротаторе, получая неразборчивые слепые копии. Изредка ему удавалось навязать сопротивляющимся

членам клуба мероприятия интеллектуального характера, например диспуты или викторины, на которых он мог блистать. Во время воскресных «вечеров общения» он чаще всего был погружен в беседу с отцом Джеромом, или морщил лоб над клубными счетами за продукты, или сидел в одиночестве на складном стуле — руки в брюки, длинные ноги вытянуты — и с едва заметной улыбкой превосходства обозревал шаркающую и кружащуюся толпу, словно школьный учитель, снисходительно относящийся к детским забавам своих подопечных. Однако в его глазах таилось тоскливое желание, и иногда мне казалось, что он с особой жадностью задерживает свой взгляд на Морин, покачивавшейся в моих руках в такт музыке.

Рождественское представление было типичным примером саморекламы Беды Харрингтона. Он не только самолично написал сценарий, он сам стал режиссером и актером, выступил в роли художника, подобрал музыкальное сопровождение и сделал почти все, что можно было сделать, кроме шитья костюмов — эту задачу он возложил на обожавшую его мать и бесталанных сестер. Пьесу должны

были показывать в предрождественскую неделю в помещении школы для малышей три вечера подряд, а затем один раз в местном доме для престарелых, которым руководили монахини, — 6 января, в праздник Богоявления — в «Двенадцатую ночь», как педантично он нас проинформировал на первом прослушивании.

Оно состоялось в начале ноября, в одну из клубных сред. Я пошел с Морин, чтобы приглядывать за ней глазом собственника. В прошедшее воскресенье, пока я танцевал с другой девушкой, Беда Харрингтон отвел Морин в сторону и добился у нее обещания сыграть роль Девы Марии. Она была очень польщена и взбудоражена такой перспективой, и поскольку я не смог уговорить ее отказаться, то решил к ней присоединиться. Увидев меня на прослушивании, Беда удивился и выказал некоторое недовольство.

— Не думал, что тебя это заинтересует, — сказал он. — И уж если быть до конца откровенным, мне кажется, участие некатолика в приходской рождественской пьесе не совсем уместно. Мне придется спросить у отца Джерома.

Вряд ли бы кто-то удивился, узнав, что для себя Беда оставил роль Иосифа. Осмелюсь

предположить, что он сыграл бы и архангела Гавриила, и всех трех волхвов, если бы это было в человеческих возможностях. Морин быстро утвердили на роль Марии. Я просмотрел экземпляр сценария, отпечатанного на ротаторе, подыскивая себе подходящую роль.

— А как насчет Ирода? — спросил я. — Вряд ли нужно быть католиком, чтобы сыграть его?

— Можешь попробовать, если хочешь, — проворчал Беда.

Я исполнил сцену, в которой Ирод осознает, что три волхва не собираются возвращаться, чтобы сообщить ему, где они нашли младенца Мессию, о чем он лицемерно просил их, якобы желая лично воздать младенцу почести, и безжалостно приказывает истребить в районе Вифлеема всех детей мужского пола моложе двух лет. Я уже говорил, что почти единственное, в чем я преуспел в школе, была актерская игра. Выступил я потрясающе. Можно сказать, что я переиродил самого Ирода. Когда я закончил, другие будущие актеры невольно зааплодировали, и Беде ничего не оставалось, как дать мне эту роль. Морин смотрела на меня с воехищением: я не только был лучшим танцором и бомбардиром, но, совершенно очевидно, был еще и звездой

театральных подмостков. Сама она, сказать по правде, актриса была никакая: ее слабый голос и скованные движения с трудом преодолевали барьер рампы. (Фигура речи разумеется, никакой рампы у нас не было. В качестве театрального освещения мы использовали всего лишь батарею настольных ламп с разноцветными лампочками.) Но в этой роли требовалось главным образом выглядеть кроткой и безмятежно красивой, что Морин давалось без труда.

От первых недель репетиций я получил определенное
удовольствие. В частности, мне нравилось дразнить Беду Харрингтона и подрывать его авторитет. Я оспаривал его режиссуру, выдвигал предложения по улучшению его сценария, постоянно что-то придумывал и колол ему глаза своими театральными познаниями, бросаясь профессиональными словечками, которых нахватался на работе и которых он не знал, вроде «зевнуть», «жевать текст» и т. п. Я сказал, что название пьесы «Плод чрева» (по ассоциации со словами из богородичной молитвы) напоминает, по моему мнению, название фирмы на ярлыке моих маек, вызвав тем самым столько веселья, что он вынужден был изменить его на

«Рождественскую историю». Я фиглярствовал без удержу, читая роль Ирода разными смешными голосами — как Тони Хэнкок, полицейский, или отец Джером, заставляя остальных валяться в истерике. Нечего и говорить, что Беда реагировал на эти выходки отнюдь не благосклонно и в какой-то момент пригрозил изгнать меня, но я дал задний ход и извинился. Я не хотел, чтобы меня вывели из спектакля. Все это было не только довольно интересно, но и давало дополнительные возможности видеться с Морин и провожать ее до дому, что мистер и миссис Каванаг запретить просто не могли. И уж конечно, я не хотел оставлять Морин беззащитной перед режиссерской властью Беды Харрингтона. Я заметил, что по ходу действия Иосиф пользовался любой возможностью, чтобы обнять Марию, поддерживая ее под локоток на пути в Вифлеем или во время бегства в Египет. Внимательно, с легкой сардонической улыбкой наблюдал я за его игрой, уверенный, что мой взгляд лишает его всякого удовольствия от этого физического контакта; а потом, провожая Морин домой, я еще больше упивался нашей близостью.

Затем Беда подцепил, поздновато для его возраста, ветряную оспу и проболел две недели.

Он прислал записку с указанием продолжать репетиции под руководством парня по имени Питер Марелло, который играл главного пастуха. Но Питер, ко всему прочему, был капитаном футбольной команды и моим хорошим приятелем. В театральных делах он, как и вся труппа, с готовностью ко мне прислушивался, и я по сути стал играющим режиссером. Мне кажется, я улучшил пьесу до неузнаваемости, но вернувшийся весь в корочках и оспинах Беда, увидев результат, радости не выказал.

Я вырезал скучное, с моей точки зрения, чтение целого стихотворения Т.С.Элиота «Паломничество волхвов», которое Беда вложил в уста одного из трех волхвов, и написал две большие сцены для Ирода, основываясь на библейских рассказах, услышанных в воскресной школе и на уроках Святого Писания. В одной Ирод умирал страшной смертью, пожираемый червями, — это обещало стать чудесным спектаклем в духе гиньоля

[50] [broken link: #_ftn50], с использованием в качестве реквизита консервированных спагетти в томатном соусе от «Хайнца». Вторая сцена, где Ирод обезглавливал Иоанна Крестителя по наущению Саломеи, была построена в

футуристическом духе. Я, в принципе, уговорил одну девушку по имени Джози станцевать в трико танец семи покрывал; это была веселая пергидрольная блондинка, она работала в «Вулворте», красила губы ярко- красной помадой и имела репутацию отличного парня или довольно вульгарной девицы, в зависимости от точки зрения. К сожалению, выяснилось, что я свалил в одну кучу трех разных Иродов из Нового Завета, поэтому Беда удалил эти «наросты», как он выразился, и я ничего не смог ему толком возразить. Но все равно я могу с уверенностью сказать: в нашей рождественской пьесе образ Ирода получился гораздо более выпукло, чем в любой другой версии со времен Уэйкфилдского цикла.

Декабрь был уже в самом разгаре, и отец Джером, который до того в основном предоставлял нас самим себе, захотел посмотреть прогон. Зря я жалел, что танец Саломеи с семью покрывалами убрали, и без него отцу Джерому показалось, что наша пьеса страдает отсутствием должной почтительности. Надо отдать Беде Харрингтону должное, он попытался уйти от традиционных благочестивых живых картин и написать что-то более современное, или, как мы научились

говорить в другом десятилетии, «актуальное». Например, после Благовещения Мария страдала от предрассудков своих соседей в Назарете точно так же, как все незамужние матери в современной Британии, а трудности с комнатой на постоялом дворе в Вифлееме были косвенно увязаны с нехваткой жилья в наши дни. Отец Джером настоял на изъятии всех этих, не соответствующих Святому Писанию, мест. Но больше всего его встревожил дух постановки в целом. Он был слишком светским.

— Похоже скорее на карнавал, чем на рождественскую пьесу, — сказал он, обнажив зубы в грустной улыбке. — Ирод, например, полностью затмевает Святое семейство.

Беда с упреком посмотрел на меня, но его длинное лицо вытянулось еще больше, когда отец Джером продолжил:

— Лоренс в этом не виноват. Он прекрасный актер, выкладывается полностью. Проблема со всеми остальными. У вас и вполовину нет нужной духовности. Вы задумайтесь, о чем эта пьеса. Слово стало Плотью. Господь Сам спустился с небес, воплотившись в беспомощного младенца, чтобы жить среди людей. Подумайте о том, что чувствовала Мария, когда ее избрали среди других

и сделали Матерью Бога… — При этих словах он испытующе посмотрел на Морин, которая густо покраснела и опустила глаза. — Подумайте, что означала для святого Иосифа ответственность за безопасность Матери Божьей и ее крохотного Сына. Подумайте, что значило это для пастухов, бедных, отчаявшихся людей, которые жили ненамного лучше тех животных, за которыми ухаживали, когда ангел Господень явился им и сказал: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь». Вы должны превратиться в этих людей. Недостаточно играть ваши роли. Вы должны намолить свои роли. Вам следует каждую репетицию начинать с молитвы.

Отец Джером продолжал еще какое-то время в том же духе. В своем роде это была замечательная речь, достойная Станиславского. Он полностью преобразил атмосферу наших репетиций, которые с того дня стал регулярно посещать. Участники по-новому, серьезно и увлеченно, подошли к своим ролям. Отец Джером убедил их, что вдохновение они должны черпать в собственной духовной жизни, и если у них нет духовной жизни, то неплохо бы ею обзавестись.

Разумеется, для моих отношений с Морин этого ничего хорошего не сулило. Я заметил, что после своей публичной проповеди он отозвал Морин в сторону и завязал серьезный разговор. Ее поза, то, как она сидела рядом с ним, потупив взор и сложив на коленях руки, молча кивая и слушая, наводила на зловещую мысль о покаянии. И точно: возвращаясь в тот вечер домой, она остановила меня на углу своей улицы и сказала:

— Уже поздно, Лоренс. Я лучше сразу пойду домой. Давай попрощаемся.

— Но мы же не можем здесь толком поцеловаться, — заметил я.

Она помолчала, наматывая на палец прядь волос.

— Думаю, нам больше не стоит целоваться, — проговорила она. — Так, как всегда. Не сейчас, когда я играю Богородицу.

Возможно, отец Джером заметил нашу близость с Морин. Может, он заподозрил, что из-за меня она впадет в грех осквернения Храма Святого Духа. Не знаю, но он здорово поработал над ее сознанием в тот вечер. Он объяснил ей, какая это необыкновенная честь для любой юной девушки изобразить Божью Матерь. Напомнил, что ее собственное имя — это ирландская форма

имени «Мария». Он сказал, как счастливы и горды должны быть родители Морин тем, что ее выбрали на эту роль, и как она должна стараться быть достойной Ее — в мыслях, словах и поступках. Пока Морин, запинаясь, пересказывала мне его слова, я пытался высмеивать их смысл, но безуспешно. Затем я попытался воззвать к ее разуму, держа за руки и искренне глядя в глаза, — тоже напрасно. Тогда я попытался обидеться.

— Что ж, спокойной ночи, — произнес я, засовывая руки в карманы плаща.

— Ты можешь поцеловать меня один раз, — жалобно сказала Морин, подняв ко мне лицо, залитое голубым светом уличного фонаря.

— Только раз? В соответствии с Правилом Пятым? — фыркнул я.

— Не надо так, — попросила она, губы ее задрожали, глаза наполнились слезами.

— О Морин, повзрослей же наконец, — отрезал я и, круто развернувшись, зашагал прочь.

Я провел ужасную, беспокойную ночь, и на следующее утро опоздал на работу; вместо того чтобы поторопиться на свою электричку, простоял на углу хэтчфордских Пяти дорог в ожидании Морин. Даже с расстояния в сто ярдов я увидел, как она, заметив меня, напряглась от

внезапной неловкости. Конечно, она тоже плохо спала этой ночью — лицо ее было бледным, веки опухли. Мы помирились, прежде чем я успел произнести слова извинения, и она направилась дальше жизнерадостной походкой и с улыбкой на лице.

Как прежде, я не сомневался, что помогу ей преодолеть угрызения совести. И ошибся. Морин была убеждена, что, пока она изображает Деву Марию, миловаться со мной — святотатство, которое может навлечь гнев Божий не только на нее, но и на саму постановку и всех ее участников. Морин по-прежнему любила меня, ей стоило настоящих мук отказывать мне в объятиях, но она была исполнена решимости остаться чистой на все это время. После вмешательства отца Джерома она дала себе нечто вроде обета, сходив в выходные к исповеди (к старому отцу Малахии, приходскому священнику) и к причастию.

Имей я хоть каплю разума или такта, я бы подчинился неизбежному и выждал время. Но я был молод, высокомерен и эгоистичен. Меня не привлекала перспектива непорочного Рождества и Нового года, праздников, когда, по моим представлениям, следовало ожидать большей, а не меньшей чувственной свободы. До

6 января было еще очень далеко. Я предложил компромисс: не целоваться до завершения первых показов пьесы, но между сочельником и кануном Нового года включительно отойти от запрета. Покачав головой, Морин пробормотала:

— Не надо. Пожалуйста, не надо со мной торговаться.

— Ну и когда же? — грубо настаивал я. — Как скоро после всех представлений мы вернемся к нормальным отношениям?

— Не знаю, — ответила она, — я не уверена, что они были нормальными.

— Ты хочешь сказать, что мы никогда к этому не вернемся? — вопросил я.

Она расплакалась, я вздохнул и извинился, и мы на время помирились, пока я снова не поддался искушению помучить Морин.

Все это время пьеса переживала родовые муки последних репетиций, поэтому мы вынуждены были постоянно находиться вместе. Все то и дело вспыхивали и срывались, поэтому, думаю, никто из труппы не заметил, что для наших отношений с Морин наступили не лучшие времена, кроме, возможно, Джози, получившей маленькую роль жены хозяина постоялого двора. Я давно знал, что нравлюсь Джози, судя по той регулярности,

с которой она приглашала меня на белый танец, и чувствовал, что она завидовала главной роли Морин в «Рождественской истории». Если не считать Ирода, Джози достался единственный действительно несимпатичный персонаж; это обстоятельство, а также отсутствие у нас религиозности, которая пропитала постановку и во многом лишила ее веселья, сближало нас. Когда перед началом каждой репетиции все остальные «актеры» торжественно произносили молитвы, во главе с отцом Джеромом или Бедой Харрингтоном, я ловил ее взгляд и пытался рассмешить ее. На репетициях я хвалил ее игру и помогал учить реплики. На воскресных вечерах я стал чаще, чем раньше, приглашать ее танцевать.

Морин все это, конечно, видела. Немая боль в ее глазах иногда отзывалась во мне уколами раскаяния, но я не изменил своему жестокому замыслу оказать давление на добродетель своей подруги, возбудив в ней ревность. Возможно, я подсознательно хотел положить конец нашим отношениям. Я пытался разрушить что-то не только в ней, но и в себе. Про себя я называл это детскостью, глупостью, наивностью, но мог бы назвать и невинностью. Мир приходского

молодежного клуба, который показался мне таким чарующим, когда Морин впервые привела меня туда, теперь выглядел… пожалуй, ограниченным, особенно в сравнении с миром, в который я окунулся на работе. Из ходивших в конторе слухов про романы между актерами и актрисами, репетиторами и театральным персоналом я набрался отвратительных и волнующих подробностей о сексуальном поведении взрослых, рядом с которым муки совести воспитанницы монастырской школы, вызванные тем, что она позволяет мне потискать свои сиськи (как их грубо называли в конторе), казались просто нелепыми. Я жаждал расстаться со своей девственностью, и ясно было, что произойдет это не с Морин, разве что только после женитьбы на ней, но эта перспектива была от меня столь же далека, как полет на Луну. Во всяком случае, на примере собственного дома я знал, что такое семейная жизнь при низком доходе, и меня она нисколько не привлекала. Я стремился к более свободному, более широкому образу жизни, не особенно задумываясь, какой смысл я в это вкладываю.

Гром грянул на последнем вечернем представлении пьесы перед Рождеством. Зал

был полон. Спектакль вызвал у прихожан самые восторженные отклики, а в местной газете даже напечатали короткую, но благоприятную рецензию. Она не была подписана, и я мог бы заподозрить, что Беда Харрингтон сам написал ее, если бы автор с особой похвалой не отзывался о моей игре. Думаю, что закулисная схватка воли Морин и моей действительно придала нашей игре особую глубину. Мой Ирод был не таким ярким, как в начале репетиций, однако очень убедительно демонстрировал подлинную жестокость. Отдавая приказ об избиении младенцев, я чувствовал щекочущий нервы *трепет* зрительного зала, будто по нему пробежала дрожь. И Морин вносила нечто трагическое в образ Девы Марии, даже в сцене Благовещения, «словно она провидела, — как писал рецензент, — Семь Стрел Скорби, которые пронзят ее сердце в будущем». (Вспоминая об этом теперь, я предполагаю, что ту рецензию написал отец Джером.)

Вечеринки для труппы по случаю последнего перед Рождеством представления у нас, как таковой, не было, но мы устроили подобие праздника
с какао, шоколадным печеньем и чипсами. Его

организовала девушка Питера Марелло Анна — наш помощник режиссера, — когда мы сняли костюмы, смыли грим, разобрали декорации и убрали их для последнего представления на Богоявление. Отец Джером благословил и поздравил нас и затем отбыл. Мы здорово устали, но чувствовали себя победителями, и нам не хотелось разрушать атмосферу всеобщей эйфории, просто разойдясь по домам. Даже Морин была счастлива. Ее родители, братья и сестры смотрели пьесу второй раз, и она слышала, как из глубины зала ее отец крикнул «Браво!», когда все вышли поклониться. Своих родителей я отговаривал, но мама пришла на премьеру и назвала ее «симпатичной, но слишком шумной» (она имела в виду музыку, особенно «Полет валькирий», сопровождавший бегство в Египет); мой брат тоже пришел, а на следующее утро смотрел на меня почти с уважением. Беда Харрингтон, которому успех явно вскружил голову, был полон грандиозных идей о новой пьесе к грядущей Пасхе. Он хотел написать ее белым стихом, насколько я помню, и роли со словами у него получали все атрибуты Распятия — крест, гвозди, терновый венец и т. д. Пребывая в благодушном настроении, он

с ходу предложил мне роль бича, минуя все формальности прослушивания. Я сказал, что подумаю.

Заговорили о планах на Рождество, и я, выбрав момент, объявил, что мой босс дал мне четыре бесплатных билета на свой спектакль «Младенцы в джунглях» в Театре принца Уэльского на второй день Рождества. На самом деле они предназначались для моих домашних, но по внезапному наитию я решил поразить компанию этим щедрым жестом и в то же время подвергнуть Морин испытанию. Я спросил у Питера и Анны, пойдут ли они со мной и Морин. Они с готовностью согласились, но Морин, как я и предполагал, сказала, что родители ее не пустят.

— Что, даже на Рождество? — спросил я.

В ее взгляде была мольба не унижать ее публично.

— Ты же знаешь, какие они, — ответила она.

— Жаль, — отозвался я, зная, что Джози внимательно слушает. — Кому-нибудь хочется?

— О, я пойду, обожаю сказки, — быстро проговорила Джози и добавила: — Морин, ты ведь не против?

— Нет, не против, — прошептала та.

Она была потрясена, что явственно читалось у

нее на лице. С таким же успехом я мог вытащить кинжал, который носил на поясе, играя Ирода, и вонзить ей в сердце.

Наступила мгновенная неловкая пауза, которую я прервал, вспомнив, как в сцене с яслями чуть не обрушился задник, и вскоре все принялись шумно и возбужденно обсуждать спектакль. Морин участия в этом не принимала, и, когда я поискал ее взглядом, ее уже не было. Она ушла, ни с кем не попрощавшись. Я брел домой один, сердито пиная пустую жестянку из-под табака. Не так уж я был доволен собой, но умудрился каким-то образом обвинить в «испорченном Рождестве» Морин. И не пошел к ночной мессе, как собирался. День самого Рождества провел дома в четырех стенах, по обыкновению скучно. На следующий день я выдержал поездку на спектакль, солгав родителям, что у меня только один билет. С Джози, Питером и Анной мы встретились на вокзале Чаринг-Кросс. Джози разоделась в пух и прах и облилась дешевыми духами. В антракте она смело попросила угостить ее джином с апельсиновым соком, превратив меня почти в банкрота, и во время спектакля пронзительно смеялась каждой сомнительной шутке, к большому смущению Питера и Анны.

После я проводил Джози домой — ее семья жила в муниципальной квартире — и обнял в темноте под лестницей черного хода, куда она завела меня без долгих разговоров. Она засунула язык мне чуть ли не в глотку и решительно положила мою ладонь себе на грудь, на ней был жесткий, какой-то остроконечный лифчик. Я не сомневался, что она позволит мне зайти и дальше, но не собирался этого делать. Духи Джози не вполне заглушали застоявшийся запах пота от ее подмышек, и я уже устал от ее пустой болтовни и резкого смеха.

На следующий день я получил от Морин письмо, отправленное в рождественский сочельник, в котором говорилось, что лучше, если мы какое-то время не будем видеться после того, как закончатся представления нашей пьесы. Оно было написано ее круглым девичьим почерком на той же розовато-лиловой бумаге с ароматом лаванды, но над всеми «i» стояли обычные точки, а не маленькие кружочки. Я не ответил на это письмо, а направил послание Беде Харрингтону, в котором сообщил, что не смогу участвовать в последнем спектакле, и посоветовал попросить Питера Марелло взять на себя и роль Ирода. Я больше никогда не был в молодежном клубе и вышел из футбольной команды. Я скучал по

физической нагрузке, и, вероятно, с тех пор моя талия начала раздаваться, особенно когда я пристрастился к пиву. Я подружился с молодым человеком по имени Найджел, работавшим в кассе театра, над которым располагалась наша контора, и мы обошли с ним чуть ли не все пабы в Сохо. Мы много времени проводили вместе, и только через несколько месяцев я догадался о его гомосексуальных наклонностях. Девушки в конторе, должно быть, причислили и меня к этой публике, поэтому в отношениях с ними я прогресса не добился. И в итоге расстался со своей девственностью только в армии — все произошло быстро и убого, с подвыпившей женщиной из вспомогательной службы сухопутных войск, у стены в автопарке.

После рождественского спектакля я изредка видел Морин — как она шла по улице, садилась или выходила из автобуса, — но не заговаривал с ней. Если она меня и замечала, то виду не показывала. В своем неизменном темно-синем плаще, все с той же прической она стала казаться мне неискушенной девочкой. Как-то раз, когда я только что получил повестку в армию, мы с ней столкнулись в аптеке — я входил, она выходила. Мы обменялись несколькими

неловкими фразами. На мой вопрос, как дела в школе, она сказала, что подумывает пойти учиться на медсестру, и спросила меня, как дела. Я ответил, что меня только что призвали, и выразил надежду, что меня пошлют за границу, где я узнаю жизнь.

В конечном счете меня обучили канцелярской работе и направили на север Германии, где до горизонта простирались свекольные поля и зимой было так холодно, что я плакал, стоя на часах, и слезы замерзали у меня на щеках. Единственное спасение от постоянной скуки я нашел в лицедействе и сочинении сценариев для художественной самодеятельности на базе — ревю, спектаклей, пьесок с переодеванием в женскую одежду и тому подобного. На гражданку я вернулся полный решимости сделать карьеру в шоу-бизнесе. Мне удалось получить стипендию в не самой престижной театральной школе Лондона, а по вечерам приходилось подрабатывать в пабе. Когда я приезжал в Хэтчфорд повидать родителей, Морин я не встречал. Как-то раз я столкнулся с Питером Марелло, и он сказал, что она дома не живет, учится где-то на медсестру. Это было около тридцати пяти лет назад. С тех пор я ее не видел

и ничего о ней не слышал.

Воскресенье, 6 июня. Я писал это целую неделю, забросив все дела. Вчера вечером допечатал последние несколько страниц и в десять часов вышел на улицу размяться и купить воскресные газеты. Их выгружали из фургончика на тротуар рядом со станцией метро на Лестер-сквер; экспедиторы, как рыбаки, продающие свой улов на пристани, вскрывали пачки по разделам — новости, спорт, бизнес, искусство — и торопливо комплектовали газеты, а покупатели уже совали им деньги. Я всегда получаю особое удовольствие, покупая завтрашние газеты сегодня, создается иллюзия, что подглядываешь в будущее. Ну и хотелось наверстать упущенное за прошедшую неделю. В огромном мире мало что изменилось. Одиннадцать человек погибло, когда боснийские сербы обстреляли из миномета футбольный стадион в Сараеве. Двадцать пять ооновских солдат были убиты из засады боевиками генерала Айдида в Сомали. У Джона Мейджора самый низкий рейтинг популярности с начала проведения опросов. Я начинаю почти сочувствовать ему. Не хитрый ли это план консерваторов заполучить голоса избирателей с низкой самооценкой?

Всю прошедшую неделю я не покупал газет, чтобы не отвлекаться. И почти не слушал радио и не смотрел телевизор. Сделал исключение только в среду для матча между Англией и Норвегией и пожалел об этом. Какое унижение. Потерпеть поражение от компании любителей со счетом 2:0 и в результате, вероятно, вылететь с Кубка мира. Следовало бы объявить день национального траура и послать Грэма Тейлора на соляные копи. (Думаю, он и там выстроит своих товарищей по кандалам в соответствии со схемой 3-5-2 и заставит их всех натыкаться друг на друга, как английскую сборную.) Из-за этого я как минимум полдня не мог сосредоточиться на воспоминаниях.

По-моему, я никогда ничего подобного не писал. Возможно, я становлюсь настоящим писателем. Я обратил внимание, что в этом рассказе нет обращения ко второму лицу. Вместо того чтобы рассказывать историю словно бы другу или кому-то в пабе, как я обычно делаю, я пытался вникнуть в суть произошедшего и подобрать такие слова, которые с наибольшей точностью передавали бы ее. Я много правил. Разумеется, для меня это дело привычное: писать сценарий — это, главным образом, вносить исправления,

но в ответ на предложения других людей. На этот раз я был единственным читателем, единственным критиком и сам исправлял текст по ходу развития событий. И еще я пошел на то, чего не делал с тех пор, как купил свою первую электрическую пишущую машинку, — писал от руки. Мне почему-то показалось более естественным воскрешать прошлое с помощью ручки, вместо того чтобы барабанить по клавишам компьютерной клавиатуры. Ручка подобна инструменту, режущему или копающему инструменту, продирающемуся сквозь корни и зондирующему скалистое основание памяти. Разумеется, в диалогах я позволил себе некоторые вольности, ведь все это происходило сорок лет назад, и никаких записей у меня не было. Но я абсолютно уверен, что все чувства передал верно, а это самое главное. И все равно я никак не могу оставить свое творение в покое: без конца беру отпечатанные листы, перечитываю, обдумываю и переписываю, вместо того чтобы прибраться в квартире.

Кухня, заваленная грязными тарелками и пустыми контейнерами от готовых блюд, купленных навынос, похожа на мусорную свалку, на кофейном столике высится стопка

нераспечатанной
корреспонденции, а автоответчик перестал принимать сообщения, потому что закончилась лента. Грэхэм, придя ко мне посмотреть матч, выразил явное отвращение к состоянию моего жилья. У него более высокие требования к ведению хозяйства, чем у меня, иногда он одалживает у меня совок и щетку, чтобы подмести свой маленький квадратик мраморного пола на крыльце. Боюсь, однако, что дни его ночевки здесь сочтены. Двое американских преподавателей из номера 4 приехали на летние каникулы и все время принимают гостей. Понятно, что они против того, чтобы у входа жил бродяга, через которого должны переступать, входя и выходя, гости. Вчера они сказали мне в лифте, что собираются пожаловаться в полицию. Я попытался убедить их, что Грэхэм не обычный бродяга, но без особого успеха. Сам он ничуть не помогает делу, презрительно называя их «эти гомики янки».

Читая и перечитывая свои воспоминания, я испытываю огромное чувство потери. Не только любви Морин, но и девственности — ее и моей собственной. В прошлом, когда бы я о ней ни думал — а случалось это нечасто, — я словно бы

внутренне улыбался, с симпатией и иронией: милый ребенок, первая подружка, какими наивными мы были, сколько воды утекло с тех пор, и тому подобное. Восстанавливая историю наших отношений в подробностях, я *впервые* осознал, какую отвратительную вещь совершил тогда, много лет назад. Я разбил юной девушке сердце — грубо, эгоистично, бессмысленно.

Конечно, я отдаю себе отчет, что не понял бы этого, если бы не открыл для себя в последнее время Кьеркегора. Это действительно история в его духе. Напоминает «Дневник обольстителя» и собственные отношения К с Регионой. Морин — Регина: их имена хочется поставить рядом.

Хотя Регина боролась сильнее, чем Морин. Когда К. вернул ей кольцо, она побежала прямо к нему домой и, не застав его, оставила записку, в которой умоляла не покидать ее «ради Христа и в память о твоем усопшем отце». Про усопшего отца — очень удачное замечание. Сёрен был убежден, как и другие его братья и сестры, что умрет раньше своего отца — над семьей тяготело в этом отношении какое-то проклятие. Но когда старик помер первым, Сёрен подумал, что отец в мистическом смысле умер *вместо* него. С того момента начинается его обращение к

религии. Поэтому записка Регины по-настоящему его потрясла. Тем не менее он продолжал притворяться холодным и циничным, разбивая девушке сердце, с ложным убеждением, что без нее он «мог бы быть более счастливым в несчастье, чем с ней». Я только что перечитал его запись последнего разговора с Региной:

Я пытался уговорить ее. Она спросила меня:

— Ты никогда не женишься?

Я ответил:

— Что ж, лет через десять, когда пройдут все увлечения и безумства юности, я непременно получу красивую юную девушку, которая воскресит меня.

Необходимая жестокость.

Она сказала:

— Прости меня за то, что я тебе сделала.

Я ответил:

— Скорее уж я должен умолять тебя о прощении.

Она сказала:

— Поцелуй меня.

Что
я и сделал, но без страсти. Боже Милосердный!

Это «Поцелуй меня» было последней уловкой

Регины. Когда же и она не помогла, Регина сдалась.

Прочитав этот отрывок, я вспомнил, как Морин подняла ко мне свое несчастное лицо, голубоватое в свете тусклого уличного фонаря, и сказала: «Ты можешь поцеловать меня один раз», и как я ушел. Обнял ли я ее после этого хоть раз или навсегда с презрением отверг вместе с предложенным единственным чистым поцелуем на прощание? Я не сохранил ее последнего письма и не помню, что в точности она сказала, но слова были самые банальные, я уверен. Самые обычные. Дело не в том, что она писала, а в ее облике, который я помнил: как она встряхивала волосами, как сияли ее глаза, как морщился при улыбке нос… Жаль, что у меня не было под рукой ее фотографии. Тогда я носил в бумажнике черно-белый снимок, сделанный в Ирландии, когда ей было пятнадцать: она стоит, прислонившись к каменной стене грубой кладки, улыбается, сощурившись от солнца, и хлопчатобумажная юбка облепила под ветерком ее ноги. Карточка помялась и обтрепалась — я ее часто доставал, а после нашего разрыва выбросил. Помню, как легко разорвалась бумага, потерявшая весь свой глянец и упругость, и как на дне мусорной

корзины лежали рассыпавшиеся обрывки изображения Морин. Другая ее фотография, единственная, которая у меня есть, хранится в коробке из-под обуви где-то на чердаке дома в Холлиуэлле вместе с другими памятными вещицами юности. Фотографий среди них не так уж много, потому что в те годы ни у меня, ни у нее фотоаппарата не было. Осталось несколько снимков, сделанных другими членами молодежного клуба во время наших общих прогулок, и групповое фото участников того рождественского спектакля. Если бы я мог точно знать, когда завтра Салли не будет дома, я бы обязательно съездил в Холлиуэлл и поискал их.

6.30 вечера. Вскоре после того, как я напечатал последнее предложение, выключил компьютер и закатал рукава, собираясь приступить к уборке, у меня родилась идея: вместо того чтобы обыскивать чердак в поисках фотографий Морин, почему бы не попытаться разыскать саму Морин? Чем больше я об этом думаю — а я почти весь день не мог думать ни о чем другом, — тем больше эта мысль меня увлекает. Мне немножко страшно, потому что я не представляю, как она отреагирует, если мне удастся ее найти, но именно это и волнует больше всего. Понятия

не имею, где она сейчас и что с ней случилось после того, как мы в последний раз встретились в аптеке в Хэтчфорде. Она вполне может жить за границей. Что ж, не беда, если понадобится, я слетаю и в Новую Зеландию. Она могла умереть. Эта мысль невыносима, но нужно признать, что такое возможно. Рак. Автокатастрофа. Все что угодно. Однако я почему-то уверен, что она жива. Вероятно, замужем. Естественно — как такая девушка, как Морин, могла остаться незамужней? Думаю, она вышла за врача, как большинство хорошеньких медсестер, и так и осталась его женой, как пристало ревностной католичке. Если только, конечно, не перестала верить. Такое случается. Или, может, она вдова.

Стоп, я должен быть поосторожней в своих фантазиях и не выдавать желаемое за действительное. Скорей всего, она теперь вполне респектабельная и скучная женщина, полная и седая, довольная своим браком, живет в пригороде, в удобном доме, где занавески гармонируют с просторными мебельными чехлами, интересуется в основном внуками и ждет не дождется своего железнодорожного пенсионного проездного, чтобы ездить к ним почаще. Скорей всего, она ни разу обо мне не

вспомнила за все эти десятилетия и не узнает меня, объявись я у нее на пороге. И все равно я именно это и собираюсь сделать — объявиться у нее на пороге. Если смогу его найти.

Понедельник, 7 июня. 4.30 вечера. Фу-у! Я вымотался, умираю от жажды, колено болит. Сегодня был в Хэтчфорде. Хэтчфорд, мон амур.

Утром в девять с минутами я сел в поезд на Чаринг-Кросском вокзале. Я ехал навстречу «часу пик», борясь с волнами спешащих на работу жителей пригородов с их мертвенно-бледными лицами, какие бывают утром в понедельник. Эти волны катились по переходам вокзала, завихряясь у похожих на островки лотков с галстуками, безделушками и носками, прежде чем их засасывала дыра подземки. Поезд в пригород был почти пустой. Когда-то эти поезда назывались «Южная электричка», теперь им присвоили титул «Юго-восточная сеть», но никаких существенных изменений на линии не произошло, если не считать, что нынешние граффити в вагонах стали более разнузданными и красочными, благодаря улучшению качества фломастеров. Vorsprung durch Technik

[51] [broken link: #_ftn51]. Я занял место во втором вагоне, потому что из него удобнее всего

выходить в Хэтчфорде. Пошаркав, расчистил от мусора место для ног и вдохнул знакомый запах пыли и масла для волос, исходящий от обивки. Носильщик сошел на платформу, захлопнув двери с такой силой, что пассажиры клацнули зубами, машинист включил ток, и под полом взвыл и застучал электродвигатель. Поезд, дернувшись, тронулся и загрохотал по Хангерфордскому мосту, Темза искрилась на солнце сквозь его решетчатые опоры; покачиваясь, мы ехали между остановками «Ватерлоо-Ист» и «Лондонский мост». Оттуда линия намногие мили идет прямо, и поезд мчится на уровне крыш мимо мастерских, складов, частных гаражей, барахолок, школьных игровых площадок и улиц, тесно застроенных домишками, среди которых там и сям торчат муниципальные многоэтажки. Этот маршрут никогда не страдал живописностью.

Я очень давно не ездил по этой линии, а в Хэтчфорде не был более тридцати лет. В 1962 году папе повезло — единственный раз в жизни, не считая встречи с мамой: он выиграл 20000 фунтов в лотерее. В те дни это были большие деньги, которых оказалось достаточно, чтобы он раньше времени вышел на пенсию, уволившись из компании «Лондон транспорт», и купил

маленькое бунгало в Миддлтонон-Си, рядом с Богнором. После того как они с мамой туда перебрались, у меня никогда не возникало ни желания, ни необходимости побывать в Хэтчфорде. И сегодняшнее возвращение было каким-то нереальным, как во сне, где знакомое смешалось с незнакомым. Поначалу меня поразило, как мало переменился район Пяти дорог. Появились новые вывески и план дорожного движения, вместо цветочного магазинчика на углу возник видеопрокат, вместо кооперативной булочной — большой магазин «Умелые руки», а дорогу разметили, как сложную настольную игру: стрелки, «зебры» пешеходных переходов и знаки кругового движения на перекрестках, — но общий вид улиц и зданий остался таким, каким я его помнил. Однако социальный состав населения стал иной. Маленькие улочки и одноэтажные дома по соседству с главной магистралью заселили по преимуществу выходцы с Карибских островов и из Азии, я это обнаружил, когда пошел взглянуть на наш старый дом на Альберт-стрит.

Оконные рамы заменены алюминиевыми стекло- пакетами, а перед входной дверью сооружена маленькая застекленная веранда,

но в остальном это все тот же дом, сложенный из серовато-желтого кирпича, с шиферной крышей и садиком перед ним, на ярд ниже уровня улицы. На каменном карнизе окна по фасаду до сих пор осталась большая выбоина — сюда во время войны угодила шрапнель. Я постучал в дверь, и седоволосый уроженец Карибских островов чуть приоткрыл ее, с подозрением глядя на меня. Я объяснил, что когда-то жил здесь, и попросил разрешения войти и посмотреть. Он засомневался, словно посчитал меня сыщиком или уголовником, такое вполне возможно; но тут из-за его плеча, вытирая о передник руки, выглянула молодая женщина, назвавшая мужчину папой, и любезно пригласила меня войти. Что меня больше всего поразило, помимо пряных запахов из кухни, — это теснота в прихожей и на лестнице и мгновенная темнота, наступившая, как только входная дверь закрылась: я забыл об отсутствии естественного освещения в прихожих таких одноквартирных домов. Однако две комнаты, между которыми сломали стену, превратились теперь в светлую, приятных пропорций гостиную. Почему мы так не сделали? Большую часть своего времени мы проводили, набившись в заднюю комнату, где

было невозможно шагу ступить, не натыкаясь друг на друга или на мебель. Ответ, разумеется, таился во въевшейся привычке всегда все оставлять — будь то костюм, чайный сервиз или комната — «до лучших времен».

Расширившаяся гостиная была весело, пусть несколько и кричаще, отделана в желтых, пурпурных и зеленых тонах. Работал телевизор, перед ним на полу сидели двое малышей — девочки-близнецы лет трех — и, посасывая большие пальцы, смотрели мультфильм. Камины заложили, а каминные полки отбили, и под обоими окнами установили батареи центрального отопления. Комната настолько преобразилась, что требовалось усилие, чтобы восстановить в памяти ее прежний облик Я выглянул посмотреть на маленький лоскуток земли, который мы пышно именовали «сад». Теперь его почти весь замостили и частично накрыли односкатным навесом из прозрачного фибергласа. Там стоял гриль на колесиках и круглая сушилка для белья вместо нашей провисшей веревки, которая шла по диагонали из конца в конец заднего двора и подпиралась палкой. Молодая женщина сказала, что ее муж — водитель автобуса, и я с благодарностью

ухватился за эту ниточку связи с прошлым. «Мой папа водил трамваи», — сообщил я. Но пришлось объяснять, что такое трамвай. Посмотреть спальные комнаты мне не предложили, и я не стал просить. Сунул по фунтовой монетке в ладошки близнецов, поблагодарил их мать и деда и ушел.

Вернулся назад, к Пяти дорогам, и начал восхождение на Бичерс-роуд. Очень скоро выяснилось, что возвышенная часть Хэтчфорда претерпела некоторую яппификацию, возможно в связи с бумом недвижимости в восьмидесятых. Большие дома, которые во времена моего детства были поделены на квартиры, теперь снова принадлежали одному владельцу, отчего весьма похорошели — латунная фурнитура на парадных дверях, подвесные цветочные ящики на крыльце и кустарники в горшках вокруг дома. Сквозь окна по некоторым приметам можно было догадаться, что здесь живут люди искусства: коврики с этническим узором и современные эстампы на стенах, набитые книгами черные книжные полки, угловатые лампы, музыкальные центры, сравнимые с произведениями искусства. Мне стало интересно, какая судьба постигла дом 94 по Треглоуэн-роуд, где жила семья Морин.

Первый поворот налево наверху Бичерс-роуд, затем первый поворот направо и снова направо. То ли от усилия, затраченного на подъем, то ли от напряженного ожидания мое сердце забилось быстрее, когда я приблизился к последнему повороту. Слишком мала вероятность, что родители Морин, если даже они не умерли, до сих пор здесь живут, а если это и так, один шанс на миллион, что именно сейчас Морин приехала их навестить. Так говорил я себе, пытаясь утихомирить сердцебиение. И все же оказался не готов к потрясению, которое испытал, повернув за угол.

Дома по той стороне улицы, где стоял дом Морин, были снесены, и на их месте вырос целый комплекс новеньких особнячков. Это были легкие, скупых размеров кирпичные коробочки, узкие, словно распиленные надвое домики на две семьи: с зарешеченными окнами и фальшивыми балками, лишь обозначенными на фасаде. Особнячки были огорожены и стояли вдоль изгибающегося глухого переулка, который так и назывался — Треглоуэнский тупик. От монументального викторианского особняка, в котором проживало семейство Каванаг, не осталось и следа — ни кирпичика, ни камешка,

ни дерева. Я прикинул, что вход на территорию комплекса приходится как раз на место, где стоял дом Морин. Цоколь со входом в подвал, где мы целовались, где я касался груди Морин, был снесен, засыпан и закатан асфальтом. Я почувствовал внутри себя совершенно иррациональную злость и растерянность — меня ограбили.

Церковь Непорочного Зачатия на другой стороне по-прежнему стояла на своем месте. Она почти совсем не изменилась. Статуя Девы Марии с раскинутыми руками все так же возвышалась на своем пьедестале во дворике перед храмом. Внутри стояли те же самые темные, покрытые пятнами скамьи, вдоль стены — исповедальни, похожие на массивные шкафы; вокруг свечек, поставленных по обету, росли восковые сталактиты. Но появилось и кое-что новое: на том месте, которое Филип Ларкин назвал святым концом, перед резным, с башенками алтарем, который всегда во время Благословения был залит светом свечей, теперь стоял простой каменный стол, а перед алтарными ступеньками отсутствовало ограждение. Почтенная матрона в переднике пылесосила ковер на алтаре. Видя, что я переминаюсь рядом с ноги на ногу, она

выключила агрегат и вопросительно посмотрела на меня. Я спросил, по-прежнему ли в этой церкви служит отец Джером. Она слышала его имя от старейших прихожан, вероятно, он покинул это место задолго до того, как она сама переехала в Хэтчфорд. Кажется, орден направил его в свою миссию в Африке.

— А отец Малахия, он умер?

Она кивнула, указав на табличку на стене в память о нем. И сообщила, что нынешнего приходского священника зовут отец Доминик и что я могу найти его в доме. Я вспомнил, что священник живет в том доме при церкви, что первый за углом, если обогнуть храм.

На мой звонок дверь открыл мужчина лет тридцати с небольшим, в пуловере и джинсах. Я спросил, у себя ли отец Доминик. Он ответил: «Это я, входите», — и провел меня в заставленную мебелью гостиную, где в углу на письменном столе светился зеленым экран компьютера.

— Вы понимаете в бухгалтерии? — спросил он.

Я признался, что нет.

— Пытаюсь компьютеризировать приходские счета, — пояснил он, — но на самом деле мне нужен Windows, чтобы сделать все как надо. Чем могу служить?

Когда же я сказал, что пытаюсь разыскать человека, который жил в приходе сорок лет назад, он с сомнением покачал головой.

— Орден, которому тогда принадлежал этот приход, был совершенно безнадежен в отношении документации. Если они и заносили прихожан в какие-то картотеки, то, должно быть, забрали их, когда отсюда уходили. Все, что осталось из архива, — это записи о крещениях, первом причастии, конфирмации и венчаниях.

Я спросил, можно ли посмотреть записи венчаний, и он повел меня в заднюю часть церкви, в маленькую комнатку за алтарем, где пахло ладаном и полиролем, и достал из буфета большой, альбомного формата фолиант в кожаном переплете. Я начал с года, когда в последний раз видел Морин, и двинулся дальше. И очень скоро наткнулся на ее имя. 16 мая 1959 года Морин Тереза Каванаг, проживающая в доме 94 по Треглоуэн-роуд, венчалась с Бедой Игнатием Харрингтоном, проживающим в доме 103 по Хэтчфорд-райз.

— Черт побери! — машинально воскликнул я и извинился за неподобающее выражение. Отец Доминик, похоже, не обратил внимания. Я спросил, осталась ли до сих пор семья

Харрингтонов в приходе.

— Это имя мне ничего не говорит, — ответил священник — Надо проверить по базе данных.

Мы вернулись в дом, он поискал эту фамилию в компьютере, но не нашел. Каванагов тоже в приходе не оказалось.

— Может, Энни Махони что-нибудь знает, — предположил он. — В то время она работала здесь экономкой. Я обхожусь сам — экономка мне не по средствам. Она живет через дом. Вам придется покричать, она совершенно глухая.

Я поблагодарил и спросил, могу ли я сделать взнос на программное обеспечение для прихода, священник принял его с благодарностью.

Энни Махони оказалась согбенной, морщинистой старой леди в ярко-зеленом спортивном костюме и кроссовках «Рибок» на липучках. Она объяснила, что из- за артрита пальцев рук больше не справляется с пуговицами и шнурками. Жила она одна и явно обрадовалась собеседнику. Сначала она подумала, что я из городского совета, пришел убедиться в ее праве на помощь на дому, но когда это недоразумение разъяснилось, она направила все усилия на то, чтобы разобраться в моих вопросах по поводу семьи Каванаг. Эта

беседа разбередила мне душу. Семью эту она помнила.

— Такой крупный мужчина, мистер Каванаг, такого как увидишь, уж больше не забудешь, а жена у него была очень милая женщина, и у них было пятеро красивых детишек, особенно старшая, запамятовала ее имя.

— Морин, — подсказал я.

— Верно, Морин, — сказала Энни.

Она помнила свадьбу Морин, которая по меркам прихода была шикарной — жених и шафер во фраках, гостей на прием перевозили на двух «роллс-ройсах» челночными рейсами.

— Думаю, за машины заплатил доктор Харрингтон, это был человек, который всегда все делал как надо, — пустилась в воспоминания Энни. — Он умер лет десять назад, упокой Господи его душу. Сказали, сердце.

Но о супружеской жизни Беды и Морин — где они обретались и чем Беда зарабатывал на жизнь, — она ничего не знала.

— Морин, кажется, стала учительницей, — предположила она. Я сказал, что она как будто хотела стать медсестрой.

— А, да, медсестрой, совершенно верно, — подхватила Энни. — Из нее получилась бы

очаровательная медсестра. Такая добрая девушка. Я помню, как однажды на Рождество она играла Божью Матерь в рождественской пьесе в нашем приходе, она выглядела так красиво с распущенными по плечам волосами.

Я не удержался и спросил Энни, помнит ли она Ирода из того же спектакля, она не помнила.

Сходил я и к бывшему дому Харрингтонов, это был большой особняк, стоявший в глубине главной улицы и имевший, насколько я помнил, довольно внушительный въезд — два столба, увенчанные каменными шарами размером с футбольный мяч. Теперь он принадлежал стоматологической клинике. Столбы при въезде убрали, сад перед домом заасфальтировали, превратив в автостоянку для врачей и их пациентов. Я вошел туда и спросил у секретаря, не знает ли она о бывших владельцах, но она не смогла или не захотела мне помочь. К тому времени я уже устал, проголодался и порядочно скис, поэтому первым же поездом вернулся на Чаринг-Кросс.

Значит, Беда Харрингтон — мой Шлегель. Ну-ну. Я всегда знал, что он положил глаз на Морин, но немного удивился, что она решила выйти за него. Можно ли *любить* Беду Харрингтона?

(Если ты не Беда Харрингтон, конечно.) Не могу и утешить себя предположением, что это было сделано мне в отместку. Судя по дате свадьбы, ему понадобилось несколько лет, чтобы уговорить ее или набраться мужества и поставить вопрос ребром. Значит, было же в нем что-то, что ей нравилось. Не могу отрицать, что я испытываю нелепую, бессмысленную ревность. И еще большую решимость разыскать Морин. Но куда мне теперь направиться?

7-06 вечера. Разработав несколько оригинальных планов (напр., узнать, кто из местных агентов по недвижимости продал дом 103 по Хэтчфорд-райз стоматологам, и, возможно, получить там адрес миссис Харрингтон-старшей), я надумал испробовать для начала более простой способ: если Беда и Морин до сих пор живут в Лондоне, они, вероятно, должны значиться в телефонной книге, а Харрингтон не такая уж распространенная фамилия. И точно, там было всего два Б.И. Харрингтона. После имени одного из них, с адресом в Юго-Западном районе, 19, стояло КОБ — кавалер ордена Британской империи IV степени, вот чем Беда, насколько я его знаю, не преминул бы похвалиться при

каждом удобном случае, поэтому я начал с этого номера. И сразу же узнал его голос. Наша беседа протекала примерно так:

БЕДА. Харрингтон.

Я. Это Беда Харрингтон, который в свое время жил в Хэтчфорде?

БЕДА (осторожно). Да, когда-то я там жил.

Я. Вы женаты на Морин Каванаг?

БЕДА. Да. Кто это?

Я. Ирод.

БЕДА. Прошу прощения?

Я. Лоренс Пассмор.

БЕДА Простите, я не… Парсонс, вы сказали?

Я. Пассмор. Ты помнишь. Молодежный клуб. Рождественская пьеса. Я был Иродом. Пауза.

БЕДА. Боже мой.

Я. Ну, так как твои дела?

БЕДА. Все в порядке.

Я. Как Морин?

БЕДА Думаю, что у нее тоже все хорошо.

Я. Можно с ней поговорить?

БЕДА Ее нет.

Я. А когда она будет?

БЕДА. Я точно не знаю. Она за границей.

Я. О… где?

БЕДА. Сейчас уже, думаю, в Испании.

Я. Ясно… Я могу с ней как-то связаться?

БЕДА. Не думаю.

Я. Она отдыхает?

БЕДА Не совсем. А что тебе нужно?

Я. Мне бы хотелось с ней повидаться (ломая голову в поисках предлога)… я пишу о тех днях.

БЕДА. Ты писатель?

Я. Да.

БЕДА Что пишешь?

Я. В основном для телевидения. Может, ты видел мою программу, называется «Соседи»?

БЕДА. Боюсь, никогда о ней не слышал.

Я. О.

БЕДА. Я мало смотрю телевизор. Послушай, я как раз готовлю ужин…

Я. Прошу прощения, я…

БЕДА. Если ты оставишь свой номер, я скажу Морин, когда она вернется.

Я продиктовал ему свой адрес и телефон. Прежде чем повесить трубку, я спросил, за что он получил свой КОБ. Он ответил:

— Полагаю, за свою работу над национальным учебным планом.

Похоже, он весьма высокопоставленный государственный служащий в министерстве образования.

Этот разговор очень меня взбудоражил, взволновал
и в то же время оставил неудовлетворенным. Поразительно, сколь многого я достиг, разыскивая Морин, всего за один день, и все равно она осталась мучительно недосягаемой. Жалею, что не выжал из Беды больше подробностей о том, где она и что делает. Мне не хочется просто сидеть и ждать от нее телефонного звонка, не зная, сколько это может продлиться — дни? недели? месяцы? — и передаст ли вообще Беда ей мою просьбу, когда она вернется из своих заграниц. «Сейчас уже в Испании… не совсем в отпуске» — какого черта это должно означать? Может, какой-нибудь познавательный тур или круиз?

9 35 вечера. Я снова позвонил Беде, извинился за беспокойство и попросил о встрече. Когда он спросил меня зачем, я придумал, что пишу о чем-то, что происходит в Хэтчфорде в начале пятидесятых. Он был менее резок и подозрителен, чем до этого, — и вообще он говорил немного невнятно, как если бы слишком много выпил за ужином. Я сказал, что живу совсем рядом с Уайтхоллом и спросил, могу ли пригласить его на обед на этой неделе. Он ответил, что в конце прошлого года вышел на пенсию, но, если хочу,

я могу приехать к нему домой. Юго-Запад, 19 — это, оказывается, Уимблдон. Я с энтузиазмом предложил встретиться завтра, и, к моей большой радости, он согласился. Прежде чем он повесил трубку, я ухитрился вставить вопрос о Морин:

— У нее тур, да?

— Нет, — ответил он, — паломничество.

Значит, по-прежнему ревностная католичка. Ну ладно.

Вторник, 8 июня, 2.30 дня. Сегодня утром я снова проехался поездом «Юго-восточной сети», но на этот раз от вокзала Ватерлоо, и поезд оказался чище и опрятнее, чем вчера, в соответствии с более элитарным пунктом моего назначения. Беда и Морин живут на одной из зеленых фешенебельных улиц рядом со Всеанглийским теннисным и крокетным клубом. Характерно, что за все время жизни здесь Беда ни разу не сходил в Уимблдон на теннисный матч, он относится к турнирам как к ежегодной помехе дорожному движению, — это на него очень похоже. За последние годы я несколько раз бывал в Уимблдоне по приглашению «Хартленда» (компания устраивает приемы в одном из гостевых шатров — с шампанским, клубникой и бесплатными билетами на центральный корт)

и с каким- то странным чувством осознал, что мог тогда проехать всего в каких-то ста ярдах от Морин, не зная об этом. Точно так же я мог проехать мимо нее и на улице.

Они живут в большом доме на две семьи, какие обычно строили в межвоенный период, с обширным садом позади дома. Беда сказал, что они поселились здесь на заре своей совместной жизни и, когда семья начала увеличиваться, не стали переезжать, а просто расширили его: пристроили второй этаж к гаражу, увеличили дом в длину и переоборудовали чердак. Оказалось, у них четверо детей, все выросли и покинули родительское гнездо. Беда самостоятельно управлялся в доме, который имел неестественно чистый и аккуратный вид, словно в комнаты никто не заходил со времени последнего визита уборщицы. Я заглянул в какие-то двери, когда ходил в туалет наверх. В хозяйской спальне я заметил две кровати, что вызвало у меня чувство глупого удовлетворения. Ага, сексом тут больше не пахнет, сказал я себе. Что, разумеется, необязательно.

Беда не слишком изменился, только его жесткие, непослушные волосы стали совершенно седыми да щеки ввалились. Он по-прежнему

носит очки в роговой оправе, со стеклами, как донышки от бутылок. А вот я, видимо, здорово изменился. Хотя я приехал вовремя, он, открыв дверь, поздоровался со мной как-то неуверенно.

— Ты набрал вес, — сказал он, когда я назвал себя.

— И лишился большей части волос, — добавил я.

— Да, у тебя тогда были густые волосы, — вспомнил Беда.

Он провел меня в гостиную (где меня позабавили шторы, сочетающиеся с накидками на мебели) и довольно скованно предложил присесть. Одет он был так, как бывает одет человек, который большую часть своей жизни провел в костюме и не совсем знает, что носят во внеслужебное время. На нем был твидовый спортивный пиджак с кожаными заплатами на локтях, рубашка в клеточку, шерстяной галстук, серые шерстяные брюки и темно-коричневые спортивные ботинки, — все теплое не по сезону даже для прохладного, ветреного дня.

— Должен перед тобой извиниться, — проговорил он знакомым напыщенным тоном. — Сегодня утром я разговаривал по телефону со своей дочерью, и она проинформировала меня,

что твоя программа — как она называется? — одна из самых популярных на телевидении.

— «Соседи». Твоя дочь ее смотрит? — спросил я.

— Она смотрит все без разбора, — ответил он. — Пока дети росли, у нас не было телевизора… я считал, что это будет мешать им выполнять домашние задания. В результате Тереза сделалась просто телеманкой, как только стала жить самостоятельно и смогла купить себе телевизор. Я пришел к выводу, — продолжал он, — что все попытки контролировать жизнь других людей совершенно напрасный труд.

— Включая правительство? — спросил я.

— Особенно правительство, — ответил он. Несмотря на КОБ, он, видимо, рассматривал свою службу правительству как неудавшуюся. — Образовательная система в стране находится в гораздо худшем состоянии, чем когда я поступил в министерство, — заявил он. — Я в этом не виноват, но оказался не способен это предотвратить. Когда я думаю о всех тех часах, которые потратил на комитеты, рабочие встречи, составление отчетов, написание меморандумов… все совершенно впустую. Завидую тебе, Пассмор. Жаль, что я не стал писателем. Или хотя бы преподавателем.

После отличного окончания школы я мог бы поступить в аспирантуру, но вместо этого сдал экзамен и поступил на государственную службу. В то время это казалось надежнее, а я, понимаешь ли, хотел жениться.

Я сказал, что теперь, когда он на пенсии, у него много свободного времени, чтобы писать.

— Да, я всегда думал, что именно этим и займусь, выйдя в отставку. В молодости я много писал — стихи, эссе…

— Пьесы, — добавил я.

— Совершенно верно. — Беда позволил себе холодную улыбку-воспоминание. — Но творческие соки высыхают, если не поддерживать их обращение. Недавно я попытался что-то написать, нечто весьма личное о… постигающих человека утратах. А получился какой-то доклад.

Он ненадолго вышел, чтобы приготовить на кухне кофе, и я порыскал по комнате в поисках каких-нибудь следов существования Морин. И обнаружил несколько совсем свежих семейных фотографий — окончание колледжей, свадьбы, а на одной Беда в визитке вместе с Морин перед Букингемским дворцом. Со всех карточек на меня смотрела горделиво улыбающаяся почтенная женщина с коротко стриженными седыми

волосами и все тем же милым лицом в форме сердечка, которое я помнил. Я жадно вглядывался в эти отпечатки, пытаясь представить прошедшие годы ее жизни (в смысле, прошедшие без меня). На каминной полке стояла яркая почтовая открытка с видом Сен-Жан-Пье-де-Пор во Французских Пиренеях. На обратной стороне Морин кратко написала Беде: «Дорогой Беда, отдыхаю здесь несколько дней, прежде чем отправиться дальше через горы. Все хорошо, кроме волдырей на ногах. Люблю, Морин». Я бы где угодно узнал этот круглый девичий почерк, несмотря на то что над «i» стояли точки, а не кружочки. Судя по штемпелю, открытка была отправлена около трех недель назад. Заслышав шаги Беды в коридоре, я поспешно вернул карточку на место и метнулся в свое кресло.

— Ну, а как дела у Морин? — спросил я, когда он вошел с подносом. — Чем она занималась, пока ты взбирался вверх по министерской лестнице?

— Когда я на ней женился, она была дипломированной медсестрой, — сказал он, обеими руками надавливая на поршень в кофейнике, будто приводил в действие детонатор. — Мы почти сразу обзавелись детьми, и она оставила работу, чтобы воспитывать их.

Когда наши младшие пошли в среднюю школу, она вернулась на работу и стала старшей сестрой отделения, но, понимаешь, это ужасно тяжелый труд. Морин уволилась, как только мы перестали нуждаться в деньгах. Она много работает на общественных началах — для церкви и тому подобное.

— Значит, вы оба по-прежнему ходите в церковь? — спросил я.

— Да, — кратко ответил он. — Молоко? Сахар?

Кофе был серым и безвкусным, печенье отсыревшим. Беда задал несколько вопросов технического характера о моей работе на телевидении. Спустя какое- то время я снова навел разговор на Морин.

— А что у нее за паломничество?

Он беспокойно поерзал в кресле и посмотрел в окно, за которым дул порывистый ветер, качая деревья и кружа лепестки цветов, как снежные хлопья.

— К Сантьяго-де-Компостела, — произнес он, — на северо-западе Испании. Это очень древнее паломничество, восходит к Средним векам. Считается, что там, в Испании, похоронен святой апостол Иаков. «Сантьяго» — это «святой Иаков» по-испански. «Сен-Жак» по-французски.

Морин где-то вычитала про этот паломнический маршрут, по-моему, в библиотечной книге. И решила его совершить.

— Пешком, — сказал я.

— Да, пешком. — Беда посмотрел на меня. — Откуда ты знаешь?

Я признался, что заглянул в открытку.

— Это нелепо, конечно, — заявил Беда. — Для женщины ее возраста. Полный абсурд.

Он снял очки и потер лоб, словно у него болела голова. Без очков лицо его казалось голым и беззащитным.

— Далеко идти? — полюбопытствовал я.

— Зависит от того, откуда начнешь. — Он снова надел очки. — Есть несколько отправных пунктов на разных маршрутах, все во Франции. Морин начала от Ле-Пюи, в Оверне. Оттуда до Сантьяго, кажется, около тысячи миль.

Я тихо присвистнул.

— Она опытный ходок?

— Да нисколько, — сказал Беда. — В ее представлении длительный поход — это прогулка по Уимблдон-коммон воскресным днем. Вся эта затея полное сумасшествие. Честно говоря, я удивлен, что она добралась до Пиренеев не покалечившись. Что на нее не напали, не убили.

Он сказал, что, когда Морин предложила совершить это паломничество, он вызвался сопровождать ее на машине, но она настаивала на переходе с трудностями, пешком, как средневековые пилигримы. По-видимому, они серьезно поссорились по этому поводу. В конце концов около двух месяцев назад она демонстративно уехала одна, с рюкзаком и спальником, и с тех пор он получил от нее всего две открытки, последняя та, которую я видел. Беда явно тревожился и одновременно злился на жену за довольно глупое положение, в котором он оказался: ему ничего не оставалось, как тихо сидеть и надеяться, что она благополучно дойдет до Сантьяго. Меня взволновала эта история, и, должен признать, я испытал некоторое Schaden-freude

[52]

[broken link: #_ftn52]в связи с затруднительным положением Беды. Тем не менее приключение, в которое пустилась Морин, показалось мне на редкость донкихотским. Я сделал на этот счет какое-то замечание.

— Да, но дело в том, что в последнее время она пережила сильнейший стресс. Мы оба пережили, — добавил Беда. — Понимаешь, в

ноябре прошлого года мы потеряли нашего сына Дэмьена.

Я выпалил слова соболезнования и спросил, как это случилось. Беда подошел к бюро и достал из ящика фотографию в рамке. Это был цветной снимок — молодой человек, крепкий и красивый, в футболке и шортах, улыбается в объектив, прислонившись к переднему крылу «лендровера» на фоне голубого неба и коричневатых кустарников.

— Его убили в Анголе, — сказал Беда. — Об этом писали в газетах. Он работал там в благотворительной католической организации, развозил беженцам продукты и предметы первой необходимости. Никто точно не знает, что случилось, но, видимо, какая-то группа повстанцев остановила грузовик, в котором он ехал, и потребовала, чтобы он отдал им пищу и медикаменты. Он отказался, и они вытащили его и водителя-африканца из грузовика и застрелили их. Дэмьену было всего двадцать пять.

— Вот ужас, — не к месту вставил я.

— Какой во всем этом смысл? — проговорил Беда, снова обращая свой взор в окно. — Он любил Африку, понимаешь, любил свою работу, отдавался ей полностью… Нам прислали его

тело. Состоялась заупокойная месса. Пришло много людей, многих мы никогда даже не видели. Представители его благотворительной организации. Друзья из университета. Его очень любили. Их капеллан, который давал адрес, сказал, что Дэмьен — современный мученик. — Он умолк, задумавшись, а мне не приходили на ум никакие слова, поэтому минуту мы просидели в тишине.

— Человек надеется, что в подобные минуты вера послужит ему утешением, — снова заговорил он. — Но когда такое случается, обнаруживаешь, что это не так. Утешения нет. Наш врач настоял, чтобы мы сходили к какой-то женщине, которую он назвал консультантом, помогающим людям, потерявшим близких. Глупая женщина, которая сказала, что мы не должны винить себя. Я спросил, с чего мне чувствовать себя виноватым? Она ответила, потому, мол, что мы живы, а он — нет. Никогда не слыхивал подобной чепухи. Думаю, что Дэмьен поступил глупо. Надо было отдать этим тварям ту проклятую еду и уехать, и ехать без оглядки с этого чертова континента.

При воспоминании об этом он даже побледнел от злости. Я спросил, как перенесла трагедию Морин.

— Тяжело. Дэмьен был ее любимцем. Она была в отчаянии. Поэтому и отправилась в это свое нелепое паломничество.

— В смысле, в качестве терапии? — спросил я.

— Полагаю, можно и так назвать, — согласился Беда.

Я сказал, что мне, пожалуй, пора.

— Но мы так и не поговорили о прежних днях в Хэтчфорде, — возразил он.

Я ответил, что, может, в другой раз.

Он кивнул.

— Хорошо. Позвони мне. Знаешь, — продолжил он, — ты никогда мне особенно не нравился, Пассмор. Я все время думал, что тогда, в молодежном клубе, ты ничего хорошего в отношении Морин не затевал.

— Ты был абсолютно прав, — сказал я, тем самым вырвав у него еще одну слабую улыбку.

— Но я рад, что ты сегодня приехал, — продолжил он. — Сказать по правде, мне немного одиноко.

— Морин когда-нибудь обо мне говорила? — спросил я.

— Нет, — ответил он, — никогда.

Он говорил без злорадства или удовлетворения, просто констатируя факт. Пока мы ждали

вызванное такси, он спросил, есть ли у меня дети. Двое, ответил я, один женат, вторая живет с другом.

— Да-да, теперь так делают, — подхватил он. — Даже наши. Ничего такого в этом не видят. Не то что мы в молодости, а?

— Это уж точно, — согласился я.

— А твоя жена, чем она занимается?

—

Она преподает в одном из новых университетов, — ответил я. — Отвечает за учебный план. А на самом деле тратит много личного времени, утешая учителей, переживающих нервные срывы из-за национального учебного плана.

— Меня это не удивляет, — сказал Беда. — Там черт ногу сломит. Я хотел бы познакомиться с твоей женой.

— По правде говоря, она совсем недавно меня бросила, — сообщил я.

— Да? Значит, мы с тобой друзья по несчастью, — заметил Беда в характерной для него неуклюжей попытке пошутить.

В этот момент позвонили в дверь, и утомительно болтливый водитель отвез меня на станцию «Уимблдон». Я не был расположен к светской беседе о погоде и прогнозах касательно

теннисного турнира. Мне хотелось обдумать ошеломляющие открытия этого утра.

У меня зреет мысль настолько безрассудная и волнующая, что я даже не решаюсь пока доверить ее бумаге.

Пятница, 11 июня. Ну что ж, решено. Еду за Морин. Я собираюсь найти ее по дороге на Сантьяго-де-Компостела. Последние три дня я провел в необходимых приготовлениях — заказывал место на пароме, оформлял медицинскую страховку, покупал путеводители, карты, дорожные чеки и т. д. Разобрался в завале почты и телефонных сообщений и разделался с наиболее срочными из них. Много было от Денниса Шортхауза, который сообщал, что Салли подала в суд с целью добиться постановления по совместному несению текущих расходов за дом, и с нарастающей настойчивостью требовал инструкций. Я позвонил ему и сказал, что больше не намерен препятствовать процедуре развода и согласен на соответствующие расходы и разумное финансовое соглашение. Он спросил, что я подразумеваю под разумным. Я сказал, пусть дом останется ей, а квартира — мне, а остальное можно поделить пополам. Он ответил:

— Это не разумное, а щедрое предложение. Дом

стоит значительно больше квартиры.

Я сказал, что просто больше не хочу, чтобы меня этим беспокоили. Сказал, что уезжаю на несколько недель за границу. Не знаю, сколько времени мне понадобится, чтобы разыскать Морин, и что я буду делать, когда найду ее. Я только знаю, что должен увидеть ее. Перспектива провести все лето в этой квартире, как в тюрьме, ожидая звонка Морин и вместо него отвечая на звонки тех, кого я избегаю, просто невыносима.

Беде о своем плане я не рассказал, он мог бы неправильно меня понять, хотя как понять это правильно, мне самому неясно. В смысле, я не знаю, чего хочу от Морин. Не возвращения ее любви, это точно, — для Повторения слишком поздно. (Хотя не могу удержаться и перебираю в памяти каждое свидетельство охлаждения их с Бедой брака, если он вообще был теплым: отдельные кровати, ссора из-за ее паломничества, довольно прохладное обращение «Дорогой Беда» на открытке и т. д. и т. п.) Но если не любви, тогда чего? Возможно, прощения. Отпущения грехов. Мне хочется получить прощение за то мое предательство много лет назад в присутствии участников рождественского спектакля. Поступок сам по себе банальный, но

с огромными последствиями. Можно сказать, что он предопределил всю мою последующую жизнь. Стал источником моей Angst среднего возраста. Я сделал выбор, не зная, что это выбор. Или, вернее (что еще хуже), я сделал вид, что наш разрыв — это выбор Морин, а не мой. Теперь мне кажется, что я так и не оправился от последствий своего предательства. Вот почему я никогда не могу принять решение без того, чтобы тут же о нем не пожалеть.

Интересно, что на это скажет Александра, когда я приду к ней в следующий раз, не уверен, что ей это понравится. Похоже, я забросил терапию когнитивного поведения, отдав предпочтение старомодной аналитической и найдя источник своих проблем в давно подавленном воспоминании. В любом случае, если я поговорю с Морин, узнаю, как она теперь к этому относится, мне станет легче. То, что ее собственное горе еще совсем свежо, прибавляет мне решимости найти ее и примириться с ней.

В моем почтовом завале обнаружился черновик сценария, предложенного Самантой, где она развивает свой сюжет для последней серии нынешнего блока: «Соседи», «Земля любви, земля надежды» и «Призраки» в одном флаконе. Не

так уж плохо, но я сразу заметил, что нужны поправки. У нее призрак Присциллы является Эдварду после похорон. А должно быть так: Присцилла является Эдварду сразу же после роковой катастрофы, когда никому еще ничего не известно. Сначала он не понимает, что она призрак, потому что Присцилла пытается сообщить ему об этом в мягкой форме. Потом она проходит сквозь стену — брандмаур-в дом Дэвисов и обратно, и он осознает, что она умерла. Это печально, но не трагично, потому что Присцилла все равно в каком-то смысле здесь. В этой сцене даже есть нечто комическое. Лед очень тонкий, но думаю, получится. Во всяком случае, я быстренько все переписал и отправил Саманте с пожеланием показать это Олли.

Потом я позвонил Джейку и десять минут безропотно слушал его горькие упреки в том, что не перезвонил ему раньше, прежде чем смог сообщить о своей работе над черновым сценарием Саманты.

— Слишком поздно, Пузан, — категорично заявил он. — Четырнадцатый пункт вступил в действие несколько недель назад.

— Значит, они наняли другого автора? — спросил я, собравшись с духом, чтобы услышать

положительный ответ.

— Должны были, — сказал Джейк. — Им нужен согласованный сценарий последней серии самое позднее к концу этого месяца.

Я услышал поскрипывание его офисного кресла, пока он покачивался на нем в раздумьях.

— Если они действительно ухватятся за эту идею с призраком, можно успеть, — изрек он. — Где ты будешь в ближайшие две недели?

Тут мне пришлось выложить ему, что я на неопределенное время уезжаю за границу и не могу сообщить ему ни факса, ни телефона, по которым со мной можно будет связаться. Пришлось отвести трубку от уха, как в старых комедиях, пока он ругался.

— Какого черта ты уезжаешь отдыхать именно сейчас? — услышал я его вопль.

—

Это не отдых, — ответил я, — это паломничество.

И быстренько повесил трубку, пока он еще молчал, лишившись дара речи.

Удивительно, до чего поиск Морин меня преобразил. Похоже, я больше не испытываю трудностей с принятием решений. Я больше не чувствую себя «самым несчастным человеком». Возможно, я никогда им и не был… на днях я

снова пробежал то эссе и подумал, что не совсем понимал его раньше. Но я точно присутствую для себя, когда вспоминаю Морин или надеюсь найти ее… как никогда.

Я допечатал это предложение, когда заметил на улице ритмичное мигание света, отражавшееся в моих окнах, — было темно, около десяти часов, но шторы я не задернул. Прищурившись, я посмотрел вниз и увидел крышу полицейского автомобиля, который остановился у нашего дома, и его вращающуюся «мигалку». Я включил монитор в прихожей и увидел на крыльце Грэхэма, скатывавшего свой спальник под наблюдением двух полицейских. Я спустился вниз. Старший из двух стражей порядка объяснил, что они забирают Грэхэма.

— Вы тот джентльмен, который жаловался?

Я ответил, что нет. Грэхэм глянул на меня и спросил:

— Можно к вам подняться?

— Хорошо, — сказал я. — Ненадолго.

Полицейские
посмотрели на меня в изумлении.

— Надеюсь, вы знаете, что делаете, сэр, — неодобрительно заметил старший. — В свой дом я бы этого оборванца не пустил, вот что я скажу.

— Я не оборванец, — возмутился Грэхэм.

Полицейский в ярости выкатил на него глаза.

— Молчи, оборванец, — прошипел он. — И не попадайся мне больше на этом крыльце. Понял?

И холодно посмотрел на меня.

— Я мог бы задержать вас за то, что вы мешаете полицейскому исполнять свои обязанности, — заявил он, — но на первый раз посмотрю на это сквозь пальцы.

Я привел Грэхэма к себе и напоил чаем.

— Вам придется поискать другое место, Грэхэм, — сказал я. — Я больше не смогу вас защищать. Уезжаю за границу, возможно на несколько недель.

Он с хитрецой посмотрел на меня из-под своей челки.

— Позвольте мне здесь остаться, — попросил он. — Я присмотрю за квартирой, пока вас не будет. Как сторож.

Я рассмеялся в ответ на его нахальство.

— Ей не нужен сторож.

— Вы ошибаетесь, — возразил он. — Здесь столько всякого сброда. Вас могут ограбить, пока вы в отъезде.

— До сих пор меня не грабили, хотя квартира большую часть времени стояла пустая.

— Я же не имею в виду *жит*ь здесь, — пояснил Грэхэм, — только спать. На полу… не на вашей кровати. Я бы содержал тут все в чистоте и порядке. — Он огляделся. — Намного лучше, чем сейчас.

— Не сомневаюсь, Грэхэм, — ответил я. — Спасибо, но нет.

Вздохнув, он покачал головой.

— Надеюсь, вы об этом не пожалеете, — сказал он.

— Что ж, — ответил я, — на крайний случай я застрахован.

Я проводил его на улицу. Моросил мелкий дождь. Мне стало немного неловко, когда он, подняв воротник, взвалил на плечо скатанный спальный мешок, — но что я мог сделать? Было бы безумием отдать ему ключ от квартиры. Вернувшись, я мог обнаружить, что он превратил ее в ночлежку для бродячих философов, как он сам. Я сунул ему в руку несколько банкнот и велел найти место на ночь.

— Спасибо, — бросил он и скрылся в темной влажной ночи.

Никогда не встречал человека, который принимал бы помощь с таким безразличием. У меня такое чувство, что больше я его никогда

не увижу.

Четверг, 17 июня. Уехать сразу не получилось. Позвонил Шортхауз и сказал, что ему будет удобнее, если я подожду несколько дней, пока он не согласует детали договора с другой стороной. Поэтому я в "нетерпении болтался эту неделю в городе, стараясь убить время чтением всего, что смог найти в книжных магазинах Чаринг-Кросс-роуд о паломничестве в Сантьяго. Сегодня утром съездил в Раммидж подписать бумаги и вернулся ближайшим поездом. Вечером, когда я укладывал вещи, неожиданно позвонила Салли. Впервые за многие недели.

— Я только хотела сказать, — произнесла она старательно ровным тоном, — что, по-моему, ты очень щедр.

— Пустяки, — ответил я.

— Мне жаль, что все так неприятно вышло, — сказала она. — Боюсь, я тоже виновата.

— Да, конечно, такие вещи всегда болезненны, — поддержал я, — развод выявляет в людях далеко не лучшие качества.

— Ну, я просто хотела поблагодарить, — сказала Салли и повесила трубку.

Разговаривая с ней, я чувствовал себя неуютно. Как бы снова не начать жалеть о принятом

решении. С меня станется. Хочется поскорее вырваться отсюда, оказаться далеко от всего этого, в пути. Я уезжаю завтра утром. Сантьяго, я иду.

Часть четвертая

21 сентября. Я пришел к выводу, что главное различие между написанием книги и написанием сценария заключается не в том, что последний состоит в основном из диалогов, — весь вопрос во времени. Сценарий весь пишется в настоящем времени. Не в литературном, а в онтологическом смысле. (Каково, а? Вот результат чтения книг Кьеркегора.) Что я хочу сказать — в спектакле или в фильме все происходит *сейчас.* Поэтому ремарки автора всегда пишутся в настоящем времени. Даже когда один персонаж говорит другому о чем-то, что случилось в прошлом, по отношению к публике это *сообщение* происходит в настоящем. Тогда как при написании книги все принадлежит прошлому; даже если вы пишете *«Я пишу, я пишу»* снова и снова, акт написания закончен и, так сказать, забыт к тому моменту, как это будут читать.

Дневник находится посередине между этими двумя формами. Словно молча разговариваешь сам с собой. Сочетание монолога и автобиографии. Можно сколько угодно всего написать в настоящем времени, например: *«Платаны у меня*

*под окнами одеваются лис*твой…». Но на самом деле это всего лишь более затейливый способ сказать: «Я пишу, я пишу…». Это бессмысленно, так не рассказывают. Как только начинаешь писать какую-нибудь историю — вымышленную или из своей жизни, — естественно выбрать прошедшее время, потому что ты повествуешь о том, что уже случилось. Отличительная особенность дневника в том, что автор не знает, куда движется его рассказ, не знает, чем он закончится; поэтому кажется, что он существует в некоем бесконечном настоящем, хотя отдельные эпизоды могут быть описаны в прошедшем времени. События в романе — это свершившийся факт или якобы свершившийся. Развивая сюжет, романист может не знать, как он закончится, но читателю всегда кажется, что писатель это знает. Прошедшее время первого предложения подразумевает, что описываемые события уже произошли. Я знаю, что есть романы, полностью написанные в настоящем времени, но в этом есть что-то странное, они экспериментальны, читателю настоящее время кажется здесь неестественным. Они читаются как сценарии. Автобиография в настоящем времени покажется еще более чудной. Автобиографию всегда пишут

постфактум. Это форма прошедшего времени. Как мое воспоминание о Морин. Как этот абзац, который я только что закончил писать.

Во время своего путешествия я продолжал вести дневник, но мой ноутбук сломался в горах Леона, а у меня не было ни времени, ни возможности его починить, поэтому я начал писать от руки. Теперь я открыл свои дискеты и скрупулезно набрал записи на компьютере, но они передают то, что со мной произошло, лишь в очень грубом приближении. Писал я урывками, бывало, к концу дня я так уставал или же выпил, что невольно приходилось ограничиваться лишь скупыми пометками. Поэтому сейчас я создал на их основе более внятное и связное повествование, так сказать заранее зная конец. Потому что мне действительно кажется, что я добрался до какого-то конца. И надеюсь, до нового начала.

От Лондона до Сен-Жан-Пье-де-Пор я добрался на машине за два дня. Абсолютно без проблем. Единственной сложностью было ограничивать скорость «супер-мобиля» на маршруте. Очень кстати пришелся круиз-контроль. И кондиционер — на плоских болотистых равнинах к югу от Бордо дорога просто плавилась от жары. Когда я достиг предгорья Пиренеев, стало попрохладнее,

а в Сен-Жан-Пье-де-Пор (город святого Иоанна у начала перевала) меня прихватил дождь. Это приятный торговый и курортный городок с красными остроконечными крышами и бурными ручьями, угнездившийся среди лоскутного одеяла полей, переливающихся всеми оттенками зеленого. Здесь есть гостиница с рестораном, помеченная в мишленовском справочнике двумя звездочками, и мне посчастливилось получить в ней комнату. Я узнал, что чуть позже, в сезон, без предварительного заказа у меня не было бы ни малейшего шанса. Город уже был наводнен бесцеремонными туристами, которые безутешно бродили повсюду в залитых дождем непромокаемых куртках с капюшонами или накачивались спиртным за столиками кафе в ожидании улучшения погоды. Паломников, держащих путь в Сантьяго, можно было сразу отличить по ракушкам-гребешкам, украшающим рюкзаки.

Раковина-гребешок, или coquille (кстати, coquilles St. Jaques в моей гостинице готовили просто превосходно), — это традиционный символ паломничества в Сантьяго, происхождение которого остается неясным, как почти все, связанное со святым Иаковом. По одной из легенд,

этот святой спас тонущего и его выбросило на берег, всего облепленного ракушками-гребешками. Более вероятно, что это был всего лишь блестящий маркетинговый ход эпохи Средневековья: пилигримы, возвращавшиеся из Сантьяго, хотели оставить себе сувенир, а таких ракушек на берегах Галисии великое множество. Они стали приносить городу очень неплохой доход, особенно после того, как архиепископу Сантьяго была дана власть отлучать от церкви всякого, кто будет продавать паломникам ракушки за городской чертой. Однако в наши дни паломники нацепляют coquille и по пути в Сантьяго, и по дороге домой.

Я был удивлен количеством путников в Сен-Жан-Пье-де-Пор. Я-то думал, что Морин — эксцентричная одиночка, идущая по древней тропе, забытой современным миром. Ничуть не бывало. В последнее время это паломничество переживает бурное возрождение, отвечающее интересам могущественного консорциума: католической церкви, испанского министерства по туризму и Совета Европы, который несколько лет назад провозгласил Camino de Santiago частью Европейского культурного наследия. Каждое лето десятки тысяч людей отправляются в дорогу,

следуя за желто- голубыми указателями с coquille, установленными Советом Европы. Как-то вечером я познакомился в баре с одной парой из Германии, которая прошла пешком весь путь от Арля по самому южному из четырех традиционных маршрутов. У них было что-то вроде паспорта, выданного неким обществом св. Иакова, и в нем они ставили отметки в пунктах остановок на протяжении всего своего маршрута. Они сказали, что когда доберутся до Сантьяго, предъявят свои паспорта в соборе и получат «compostelas» — удостоверения о совершении паломничества, какие получали пилигримы прежних времен. Мне стало интересно, нет ли такого паспорта и у Морин. Если есть, это поможет мне напасть на ее след. Немцы направили меня к местной жительнице, которая ставила в паспорта штампы, посоветовав не подъезжать к ее дому на машине. Истинные паломники должны идти пешком, или ехать на велосипеде, или верхом.

К дому на холме я поднялся по узкой мощеной улочке, но не стал притворяться паломником. Вместо этого я назвался (на смеси ломаного английского, обрывочного французского и языка жестов) Бедой Харрингтоном, пытающимся разыскать свою жену, которая срочно нужна в

Англии. Дверь мне открыла дама — точная копия Мэри Уайтхаус, с таким недовольным лицом, словно собиралась убить паломника, который постучался в ее дверь в столь поздний час, но, когда я изложил свою историю, она проявила понимание и готовность помочь. К моей радости, она ставила печать в паспорт Морин и хорошо ее запомнила: «Une famme tres gentille»

[53] [broken link: #_ftn53], которую очень беспокоили стертые ноги. Я спросил, до какого места, по ее мнению, могла уже дойти Морин, и она, морща лоб, пожала плечами: «Za dйpend…»[54] [broken link: #_ftn54] Это зависело от того, сколько километров Морин могла пройти за день. От Сен-Жан-Пье-де-Пор до Сантьяго около 800 километров. Молодой и опытный ходок покрывает в среднем 30 километров за день, но Морин в лучшем случае могла одолеть половину. В номере своей гостиницы я взял карту и посчитал, что сейчас она может находиться где-то между Логроньо и Виллафранкой, на расстоянии 300 километров, но это было лишь предположение. Она могла остановиться где-нибудь на неделю, чтобы зажили мозоли, и здорово отстать. Она могла проехать часть пути общественным транспортом, и в этом случае уже

быть в Сантьяго - хотя, зная Морин, я сомневался, чтобы она пошла против правил. Я представил, как она, стиснув зубы, идет, превозмогая боль.

На следующий день я пересек Пиренеи. Поставил автоматическую передачу на «медленно», чтобы избежать на извилистой дороге лишнего переключения скоростей, и без усилий взмыл на вершину перевала Валь-Карлос, обогнав нескольких паломников, которые тащились в гору, сгибаясь под тяжестью своих рюкзаков. Погода установилась отличная, а окрестный пейзаж просто завораживал: зеленые до самых своих вершин горы, улыбающиеся под лучами солнца долины, коровы цвета жженого сахара, позвякивающие колокольчиками, стада горных овец, грифы, парящие в воздухе на уровне глаз. Валь-Карлос, как сообщалось в путеводителе, означает «долина Карла», то есть Карла Великого, и на испанской стороне горы находится Ронсеваль, где произошла знаменитая битва между армией Карла Великого и сарацинами, что отражено в «Песне о Роланде». Только то были совсем не сарацины, а баски из Памплоны, разозлившиеся на парней Карла Великого, которые немножко покуролесили в их городе. Все, что связано с Camino, вызывает вопросы.

Уже сама усыпальница Сантьяго, похоже, полная фальшивка, поскольку свидетельств того, что апостол действительно похоронен здесь, — нет. История гласит, что после смерти Иисуса Иаков отправился в Испанию обращать местных жителей. Большого успеха он, судя по всему, не добился, потому что вернулся в Палестину всего с двумя учениками, и Ирод (который именно, не знаю) незамедлительно отрубил ему голову. Ученикам во сне был голос, что они должны вернуть останки святого в Испанию, они это исполнили, чудесным образом преодолев на каменной лодке (да, на каменной) Средиземное море и Гибралтарский пролив и добравшись до западного побережья Иберийского полуострова у берегов Галисии. Несколько веков спустя местный отшельник увидел звезду, мерцавшую над холмиком, в котором, когда его разрыли, обнаружились останки святого и его учеников — по крайней мере, так написано. Разумеется, кости могли быть чьи угодно. Но христианская Испания страшно нуждалась в какой-нибудь реликвии и усыпальнице, чтобы подстегнуть кампанию по выдворению мавров. Таким образом Сантьяго стал покровителем Испании, а «Сантьяго!» — испанским боевым кличем.

Согласно другой легенде, святой лично явился в решающей битве при Клавихо в 834 году, чтобы поддержать павшую духом армию христиан, и собственноручно уничтожил семьдесят тысяч мавров. У архиепископата Сантьяго хватило наглости обложить особым налогом всю остальную Испанию в знак благодарности св. Иакову, хотя нет никаких доказательств, что битва при Клавихо вообще имела место — с его участием или без оного. Во всех церквах вдоль Camino вы видите статуи «Santiago Matamoros», св. Иакова Истребителя мавров, где он изображен в виде конного воина с мечом, попирающего трупы смуглых, толстогубых неверных. Они могут вызвать некоторую неловкость, если Политическая Корректность когда-нибудь доберется до Испании.

Мне трудно понять, почему миллионы людей в прошлом шли пешком через пол-Европы, часто терпя ужасные неудобства и опасности, чтобы посетить сомнительную усыпальницу сомнительного святого, но еще труднее понять, почему они до сих пор это делают, пусть их и стало меньше. На последний вопрос я получил ответ в монастыре августинцев в Ронсевале, который со времен Средневековья предоставляет

пилигримам приют. Издалека он выглядит фантастично — группа серых каменных строений, укрывшихся в складке зеленых предгорий, крыши блестят в лучах солнца, но, подъехав ближе, вы видите, что крыши сделаны из гофрированной жести, а большинство зданий находятся не в лучшем состоянии. Мужчина в черных брюках и красном кардигане, наблюдавший, как я выхожу из машины, очевидно, заметил британские номерные знаки и приветствовал меня на английском. Оказалось, что он монах, послушание которого заключается в том, чтобы встречать паломников. Я разыграл свою роль Беды Харрингтона, и он пригласил меня пройти в маленький офис. Морин он не помнил, но сказал, что если она предъявляла в монастыре паспорт, то должна была заполнить анкету. И точно, он нашел ее в картотечном ящике, Морин заполнила ее четыре недели назад своим округлым почерком. «Имя: *Морин Харрингтон.* Возраст: *57.* Национальность: *англичанка.* Религиозная принадлежность: *католичка.* Цели путешествия (пометьте одну или больше): *1. Религиозная 2. Духовная 3. Отдых 4. Культурная 5. Спортивная*». Я обратил внимание, что среди целей Морин отметила только одну: «Духовная».

Монах, представившийся как дон Андреас, провел меня по монастырю. Извинившись, он сказал, что остановиться в refugio я не смогу, потому что путешествую на автомобиле, но когда я увидел унылый корпус из шлакоблоков, где жила братия, голые лампочки и грубые скамьи из дерева и металлических прутьев, то посчитал, что немного потеряю, переночевав в другом месте. В корпусе было пусто: ежедневная норма паломников еще не выполнена. В ближайшей деревушке я нашел маленькую гостиницу со скрипучими деревянными полами и тонкими, словно бумажными, стенами, но чистую и достаточно комфортабельную. Я вернулся в монастырь, потому что дон Андреас пригласил меня на мессу для паломников, которую служат каждый вечер в шесть часов. Не прийти показалось мне нелюбезным, кроме того, мне приятно было думать, что несколькими неделями раньше здесь наверняка побывала Морин. А вдруг это поможет мне уловить ход мыслей Морин и засечь ее с помощью некоего телепатического радара.

Я не был на католической службе со времени нашего разрыва. Месса для паломников ничем не напоминала незабвенный репертуар

Непорочного Зачатия прежних дней. Несколько священников вели службу одновременно, расположившись полукругом позади простого, похожего на стол алтаря (какой я недавно увидел в хэтчфордской церкви), лицом к пастве, которая сгрудилась на островке света посреди общего полумрака огромной церкви, так что все действо с золочеными кубками и блюдами было хорошо видно. Собравшиеся представляли собой разношерстную группу всех возрастов, одетую в свитера и шорты, сандалии и кроссовки. Было очевидно, что большинство из них не католики и не больше меня разбираются в том, что происходит. Возможно, они сочли своим долгом прийти на службу, раз им предоставляют бесплатный ночлег, подобно обитателям приютов Армии спасения; а может, они получали настоящее духовное наслаждение, слушая, как приглушенное
бормотание литургии эхом отдается от колонн и сводов древней церкви, как это было столетия назад. К причастию пошли лишь немногие, но в конце всех пригласили подойти к ступеням алтаря и получить благословение, произносимое на трех языках — испанском, французском и английском. К моему удивлению, все встали со

своих мест и двинулись вперед, и я довольно робко последовал за ними. И даже перекрестился, принимая благословение — давно забытое движение, которое я повторял вслед за Морин во время службы Благословения много лет назад. Мысленно я обратился с молитвой Ко Всем, Кто Может помочь мне найти ее.

Следующие две недели я провел, мотаясь туда-сюда по дорогам северной Испании, пристально вглядываясь вкаждого встреченного паломника, который отдаленно напоминал Морин. Случалось, что, оборачиваясь на какого-нибудь путника, похожего на нее со спины, я, стараясь разглядеть лицо, выскакивал на разделительную полосу. Распознать паломников труда не составляло-у всех неизменно была coquille и длинный посох или палка. Но чем дальше я продвигался, тем их становилось на дорогах все больше и тем труднее найти кого-то по описанию. Мадам Уайтхаус вспомнила, что за плечами у Морин был рюкзак со скатанным полистироловым ковриком сверху, но какого цвета, припомнить не смогла. Все время меня терзала мысль, что я случайно проглядел Морин, пока она давала отдых ногам в какой-нибудь церкви или кафе или шла по той части Camino,

которая уходит в сторону от современных шоссе и превращается в дорожку или тропу, непроходимую для транспорта (и уж разумеется, для моего автомобиля с неприлично низкой посадкой). Я останавливался у каждой церкви, которая попадалась мне на глаза, а их ужасно много в этой части Испании — наследие средневековых паломничеств. Я справлялся во всех попадавшихся мне refugio — общежитиях, где на всем протяжении маршрута паломникам предоставляют бесплатный ночлег с самыми элементарными удобствами. Большинство из них — это в буквальном смысле конюшни с каменным полом, и я не мог представить, как Морин там спала; но я надеялся, что смогу наткнуться на кого-нибудь, кто встречал Морин на дороге.

Про себя я разделил пилигримов на несколько категорий. Самыми многочисленными были молодые испанцы, которые использовали паломничество,
по всей видимости, как идеальный предлог, чтобы выбраться из родительского дома и познакомиться с другими молодыми испанцами противоположного пола. Refugio общие. Я не хочу сказать, что там происходят какие-то безобразия (для этого уединения там все же недостаточно),

но иногда мне как будто удавалось уловить в их вечерних посиделках атмосферу того щенячьего флирта, который я помню по молодежному клубу Непорочного Зачатия. Были также более искушенные молодые туристы из других стран, загорелые и мускулистые, которых привлекала международная репутация паломничества в Сантьяго: классное путешествие, великолепные пейзажи, дешевое вино и места хватает, чтобы раскатать свой спальник. Были велосипедисты из французских и нидерландских клубов в одинаковых футболках и шортах из лайкры, обтягивающих причинное место, — этими все возмущались и ни во что не ставили, потому что от привала до привала их рюкзаки везли на грузовике, — и велосипедисты- одиночки, крутившие педали своих навьюченных горных велосипедов со скоростью 78 об/мин. Были там супружеские пары и просто парочки, которых объединял общий интерес к пешему туризму, испанской истории или романской архитектуре и которые из года в год одолевали очередной отрезок маршрута. Для всех этих групп, на мой взгляд, паломничество в первую очередь являлось альтернативой отдыху, причем с элементом приключения.

Встречались паломники, имевшие более определенные или какие-нибудь личные цели: молодой велосипедист, путешествующий на деньги спонсоров, собирал средства для ракового отделения больницы; голландский художник направлялся в Сантьяго, чтобы отпраздновать свое сорокалетие; шестидесятилетний бельгиец решил таким образом отметить свой выход на пенсию; многословный фабричный рабочий из Нанси размышлял над своим будущим. Люди в поворотные моменты своей жизни — ищущие покоя, просветления или скрывающиеся от крысиных
гонок повседневности. Именно паломники последней категории путешествовали дольше всех, выйдя из дома где-нибудь на севере Европы и проделывая весь путь до Сантьяго пешком, ночуя только в палатках. Некоторые из них находились в дороге уже несколько месяцев. Лица их загорели, одежда обносилась, а в них самих чувствовалась какая-то сдержанность и отчужденность, словно за эти долгие мили они выработали в себе привычку к одиночеству и считали компанию других пилигримов, зачастую шумную и беспокойную, нежелательной. Они смотрели куда-то вдаль, будто сфокусировав свой

взор на Сантьяго. Некоторые были католиками, но большинство не имело сколько-нибудь определенных религиозных убеждений. Кое-кто начал паломничество по легкомыслию, как бы ставя эксперимент, и делался одержимым. Иные, вероятно, уже были слегка не в себе, затевая этот поход. Но какой бы разнородной ни была эта группа, именно эти паломники интересовали меня больше всего, потому что, по моему убеждению, скорей всего, они могли встретиться на дороге с Морин.

Я старался описать ее внешность как можно лучше, но в ответ получал абсолютно пустые взгляды, пока не добрался до Себрейро, маленькой деревушки высоко в горах Леона, всего в ста пятидесяти километрах от Сантьяго. Любопытное местечко, что-то среднее между деревней-музеем и святыней. Жилища старинной постройки: круглые каменные хижины с коническими крышами из тростника, крестьяне, до сих пор живущие в них, вероятно, пользуются субсидиями испанского правительства. В церкви хранятся реликвии, связанные с каким-то страшным средневековым чудом, когда хлеб и вино причастия превратились в настоящую плоть и кровь, и говорят, что это место связано с легендой о

Святом Граале. В моих поисках оно, без сомнения, стало поворотным пунктом. В кафе-баре рядом с церковью, непритязательном заведении с голыми полами и длинными узкими столами, я разговорился с пожилым велосипедистом-голландцем, который заявил, что неделю назад встречал английскую паломницу по имени Морин в refugio рядом с Леоном. У нее очень болела нога, и она сказала, что собирается на несколько дней остановиться в Леоне, прежде чем пускаться в дальнейший путь. Я недавно был в Леоне, но прыгнул в машину и погнал туда, намереваясь проверить все гостиницы в городе.

Я ехал на восток между Асторгой и Орбиго по оживленной магистрали — шоссе № 120, когда увидел ее, идущую навстречу мне по обочине: полную одинокую женщину в мешковатых хлопчатобумажных брюках и широкополой соломенной шляпе. Когда она мелькнула перед моими глазами, я ехал на скорости семьдесят миль в час. Ударил по тормозам, вызвав гневный рев огромного бензовоза, едущего следом за мной. Из-за интенсивного двустороннего движения остановиться сразу я не мог, пока через километр-другой не наткнулся на кафе для «дальнобойщиков» с грязной стоянкой.

Развернувшись в три приема в облаке пыли, я помчался в обратную сторону, гадая, не померещилась ли мне фигура Морин. Но нет, вот она, бредет впереди меня по противоположной стороне дороги — или это кто-то другой, плохо видно за рюкзаком, скатанным ковриком и соломенной шляпой. Я снизил скорость, снова вызвав возмущенные гудки ехавших за мной машин, и, проезжая мимо женщины, обернулся разглядеть ее лицо. Это была именно Морин. Услышав рев клаксонов, она бросила беглый взгляд в мою сторону, но меня скрывали затененные стекла «членовоза», и остановиться я не мог. Еще через несколько сотен ярдов я съехал на обочину, где было достаточно места для парковки, оставил машину и перешел на другую сторону шоссе. В этом месте был спуск, и Морин шла под горку мне навстречу. Двигалась она медленно, прихрамывая и опираясь на посох. И все равно я не мог не узнать ее походку, даже на расстоянии. Словно исчезли сорок лет моей жизни, и я снова был в Хэтчфорде, у цветочного магазина на углу Пяти дорог, и смотрел, как она спускается ко мне по Бичерс-роуд в своей школьной форме.

Если бы я писал сценарий этой встречи,

то выбрал бы более романтичное место — в прохладном полумраке старой церкви, например, или на проселочной дороге, по сторонам которой ветерок колышет полевые цветы, а из звуков добавил бы только блеяние овцы. И все это непременно на фоне музыки (скажем, инструментальной обработки «Рано еще любить»). На самом же деле мы встретились на обочине уродливой автострады в самом непривлекательном
уголке Кастилии. Оглушенные шумом шин и двигателей, мы задыхались от выхлопов, нас окатывали волны пыли, которую взметали проезжавшие мимо грузовики. Когда Морин приблизилась, я пошел ей навстречу, и она впервые обратила на меня внимание. Замедлила шаг и в нерешительности остановилась, словно испугавшись моих намерений. Я засмеялся, улыбнулся и вскинул руки, как мне казалось, в успокаивающем жесте. Она продолжала с тревогой смотреть на меня, явно опасаясь, что я какой-нибудь маньяк-убийца или насильник, и попятилась, подняв свой посох, словно готовясь к обороне. Я остановился и заговорил:

— Морин! Все хорошо! Это я, Лоренс.

Она уставилась на меня.

— Что? — спросила она. — Какой Лоренс?

— Лоренс Пассмор. Ты меня не узнаешь?

Я был разочарован, она явно меня не узнавала — похоже, даже не помнила моего имени. Но, как она вполне разумно объяснила позже, она сто лет обо мне не вспоминала, тогда как я уже несколько недель не думал почти ни о чем другом. Я рыскал по северо-западу Испании, ожидая встретить ее за каждым поворотом дороги, а для Морин мое внезапное появление на шоссе № 120 было таким же неожиданным и удивительным, как если бы я спустился с неба на парашюте или выскочил из-под земли.

Перекрывая рев и вой транспорта, я крикнул:

— Мы встречались с тобой много лет назад. В Хэтчфорде.

Выражение ее лица изменилось, из глаз исчез страх. Прищурившись, словно она плохо видела или ее слепил свет, Морин посмотрела на меня и сделала шаг вперед.

— Это действительно ты? Лоренс Пассмор? Что ты тут делаешь?

— Ищу тебя.

— Зачем? — спросила она, и выражение тревоги снова появилось на ее лице. — Дома все в порядке, да?

— Да-да, все нормально, — заверил я Морин. — Беда тревожится за тебя, но у него все хорошо.

— Беда? Когда ты видел Беду?

— Да недавно. Когда начал искать тебя.

— Зачем? — спросила она. Теперь мы уже стояли лицом к лицу.

— Это долгая история, — ответил я. — Садись в машину, и я тебе расскажу.

Я указал на мою обтекаемую серебристую любимицу, припавшую к земле на другой стороне дороги. Морин глянула туда и покачала головой.

— Я совершаю паломничество, — сказала она.

— Знаю.

— Я не пользуюсь машинами.

— Сделай сегодня исключение, — предложил я. — Судя по твоему виду, небольшая поездка тебе не повредит.

Она и правда выглядела ужасно. Пока мы говорили, я мысленно привыкал к печальному факту, что эта Морин — больше не Морин из моих воспоминаний и фантазий. Она достигла того момента в жизни женщины, когда та начинает неизбежно терять свою красоту. Салли еще не совсем дошла до этой точки, и у Эми впереди еще несколько лет по эту сторону барьера. Во всяком случае, обе они сопротивляются процессу

старения с помощью всех возможных средств, за исключением пластической хирургии, но Морин, похоже, сдалась без особой борьбы. Гусиные лапки у внешних уголков глаз и мешки под ними. Щеки, когда-то тугие и гладкие, обвисли; шея сморщилась, как старая тряпка; а фигура сделалась расплывчатой и бесформенной — между похожими на подушки холмами ее грудей и широкими бедрами талия не просматривалась. Недели и даже месяцы, проведенные Морин в дороге, не добавили ей красоты: обгоревший нос облезал, жидкие волосы свисали неопрятными прядями, костяшки пальцев грязные, ногти обломаны. Одежда запыленная, с пятнами пота. Должен признаться, что ее внешний вид стал для меня шоком, к которому меня не подготовили отретушированные постановочные фотографии в гостиной Беды. Осмелюсь сказать, что на мне годы сказались еще больше, но вид Морин не оставлял никаких иллюзий.

Пока она раздумывала, наклонившись вперед под тяжестью рюкзака для равновесия, я заметил ее потрепанные кроссовки и подложенные под лямки заплечника куски губки, чтобы не натереть ключицы. Почему-то из всех деталей ее облика именно эта последняя вызвала особую жалость.

Меня затопила огромная волна нежности к Морин, желания позаботиться о ней и спасти от этого идиотского самоистязания.

— Только до следующей деревни, — предложил я. — Там мы выпьем чего-нибудь холодного.

Солнце припекало мою лысую макушку, и я чувствовал, как под рубашкой текут по телу ручейки пота. Я добавил, чтобы уговорить ее:

— Машина с кондиционером.

Морин засмеялась, наморщив свой обгоревший нос точно так, как мне помнилось.

— То, что надо, — отозвалась она. — Я наверняка воняю до небес.

Когда мы бесшумно полетели по автостраде на скорости электропоезда, Морин вздохнула и с наслаждением вытянулась на переднем сиденье.

— Да, как тут у тебя шикарно, — заметила она, оглядывая интерьер салона. — Что это за марка?

Я ответил.

— У нас «вольво», — сказала она. — Беда говорит, что они самые безопасные.

— Безопасность еще не все, — отозвался я.

— Да, не все, — хихикнув, согласилась она.

— Знаешь, сбылась моя мечта, — сказал я. — Несколько месяцев я представлял, как прокачу тебя в этом автомобиле.

— Правда? — Она смущенно, озадаченно улыбнулась. Я не стал уточнять, что в своих фантазиях я представлял ее подростком.

Совсем скоро нам попался бар, где несколько столиков было вынесено на улицу, в тень старого дуба, подальше от бормотания телевизора и шипения кофеварки. За пивом и citron pressй

[55] [broken link: #_ftn55] мы завели наш первый разговор, потом их будет много, разговоров, постепенно заполняющих информационный пробел в тридцать пять лет. Первым делом Морин совершенно естественно захотела узнать, зачем я ее искал. Я в сжатом виде изложил ей то, что уже написал на этих страницах: что моя жизнь стала рушиться, в личном и профессиональном плане, что мне как-то вдруг вспомнились наши отношения и то, как гадко я обошелся с ней в конце, и мною завладело желание снова ее увидеть.

— Чтобы получить отпущение грехов, — заключил я.

Морин покраснела под загаром.

— Боже милостивый, Лоренс, тебе не нужно об этом просить. Это было почти сорок лет назад. Мы были еще совсем дети.

— Но в то время тебе, должно быть, было

больно.

— О да, конечно. Я очень долго засыпала в слезах…

— Ну вот, видишь.

— Но у молодых девушек всегда так. Ты был первым парнем, по которому я плакала, но не последним. — Она рассмеялась. — Ты, кажется, удивлен.

— Ты хочешь сказать, по Беде? — спросил я.

— Ой нет, не по Беде. — Она скорчила забавную гримаску. — Ты можешь представить кого-нибудь, плачущего из-за Беды? Нет, до него были другие. Жутко красивый ординатор, в которого я была безнадежно влюблена, как и все другие сестры-студентки в больнице. Сомневаюсь, что он даже знал мое имя. А после окончания учебы у меня был роман с врачом-стажером.

— Ты хочешь сказать… в буквальном смысле этого слова? — Я уставился на нее, не веря своим ушам.

— Я спала с ним, если ты это имеешь в виду. Не знаю, почему я рассказываю тебе все эти интимные подробности, но почему-то чем старше становишься, тем меньше тебя заботит мнение о тебе других, ты не находишь? И с твоим телом то же самое. В больнице больше всех смущаются,

когда их обтирают, подкладывают судно и тому подобное молодые пациенты. Старым на это наплевать.

— А как же твоя религия? Во время этого романа.

— О, я знала, что совершаю смертный грех. Но все равно так поступала, потому что любила его. Понимаешь, я думала, что он на мне женится. Он так говорил. Но потом передумал или, возможно, лгал. Поэтому, чтобы пережить это, я вышла за Беду.

— А ты сначала переспала с ним?

Вопрос, сформулированный таким образом, прозвучал грубо, но любопытство пересилило вежливость. Морин покатилась со смеху.

— Господи, нет! Беда от одной подобной мысли пришел бы в ужас.

Несколько минут я молча обдумывал эти поразительные откровения.

— Значит, все это время ты не таила на меня обиды? — спросил я через какое-то время.

— Конечно нет! Честно говоря, я не вспоминала о тебе… даже не помню сколько лет.

Думаю, она хотела утешить меня, но, должен сознаться, мне стало обидно.

— Значит, ты не знаешь о моей карьере? —

спросил я.

— Нет, а должна была? Ты безумно знаменит?

— Ну, не совсем знаменит. Но имею некоторый успех как телесценарист. Ты когда-нибудь видела «Соседей»?

— Это комедийная программа… из тех, где все время слышен смех, но зрителей не видно?

— Да, это ситком.

— Увы, мы стараемся их не смотреть. Но теперь, когда я знаю, что ты для него пишешь…

— Я пишу его один от начала до конца. Сама идея тоже моя. Я известен как Пузан Пассмор, — сказал я, отчаянно желая высечь хоть искорку узнавания.

— Правда? — Морин засмеялась, наморщив нос. — Пузан!

— А мне бы хотелось, чтобы ты называла меня Лоренс, — сказал я, сожалея о своей откровенности. — Это напоминает мне о прежних днях.

Но с того момента она стала называть меня Пузаном. Это прозвище, похоже, ей понравилось, и она не смогла забыть его.

— Я хочу сказать «Лоренс», но вместо этого у меня вылетает «Пузан», — признавалась она.

В тот день, когда мы встретились, Морин

надеялась дойти до Асторги. Она не позволила везти ее от кафе, но, поскольку у нее болела нога, согласилась, чтобы я вез ее рюкзак. Она собиралась заночевать в местном refugio, без прикрас описанном в паломническом путеводителе как «необорудованный спортивный зал». «Это значит, что душа нет», — скорчила гримаску Морин. Я сказал, что буду горько разочарован, если в такой знаменательный день она не примет от меня приглашения на ужин в гостинице, заодно можно будет принять душ в моем номере. Предложение было воспринято очень благожелательно, и мы договорились встретиться на крыльце собора. Я поехал в Асторгу и поселился в гостинице, сняв номер и для Морин в надежде убедить ее переночевать там. (Так и вышло.) Поджидая Морин, я вел себя в Асторге как подобает туристу. Собор был готическим внутри и барочным снаружи (к этому времени я уже почти без труда различал стили), а дворец архиепископа походил на сказочный замок, построенный Гауди, который придумал в Барселоне ту диковинную церковь размером с целый собор и с башнями, как огромные мочалки из люфы, — она так и осталась незаконченной. Асторга тоже могла похвалиться множеством реликвий, включая

щепку Честного Креста и лоскуток знамени, побывавшего в мифической битве при Клавихо.

Морин появилась у собора часа через три после нашего расставания и сказала с улыбкой, что без этой тяжести за плечами переход показался ей воскресной прогулкой. Я попросил показать ногу, и то, что я увидел под грязной повязкой, мне очень не понравилось. Икра в синяках и испачкана, а голеностопный сустав распух.

— По-моему, тебе следует показаться врачу, — сказал я.

Морин ответила, что была у врача в Леоне. Он определил растяжение связок, рекомендовал покой и дал какую-то мазь, которая немного помогла. Морин дала ноге четыре дня отдыха, но та все равно болела.

— Тут и четырех месяцев не хватит, — заявил я. — Мне кое-что известно о подобных патологиях. Она не пройдет, пока ты не закончишь паломничество.

— Я не собираюсь бросать все теперь, когда столько пройдено, — ответила Морин.

Я достаточно хорошо знал ее, чтобы не тратить время на уговоры все бросить и вернуться домой. Вместо этого я предложил план, как ей с честью и при этом с максимальным комфортом добраться

до Сантьяго. Каждый день я буду отвозить ее багаж к условленному месту, заранее сняв для нас номера с завтраком в какой-нибудь скромной гостинице. Против такого ночлега у Морин принципиальных возражений не было. Она изредка сама баловала себя таким образом, тем более что по мере приближения к Сантьяго народу в refugios все прибывало и, по ее словам, останавливаться там делалось все неприятнее. Но денег у нее было мало, а звонить Беде и просить прислать еще она не хотела. Она согласилась, чтобы за наши номера платил я, но при условии, что по возвращении в Англию она мне все вернет, и скрупулезно записывала все наши расходы.

Мы продвигались к Сантьяго очень небольшими переходами. Даже налегке Морин могла осилить без напряжения не больше десяти-двенадцати километров в день, и на преодоление даже этого скромного расстояния у нее уходило до четырех часов. Обычно, зарегистрировавшись в гостинице, я возвращался по Camino назад, на восток, навстречу Морин, и мы вместе выходили на финишную прямую. Я с удовольствием отметил, что колено хорошо переносило эту нагрузку, даже в горку, даже на неровной дороге. Более того, я осознал, что у меня не было ни

одного приступа боли с тех пор, как я приехал в Сен-Жан-Пье-де-Пор.

— Это все святой Иаков, — сказала Морин, когда я поделился с ней своими наблюдениями. — Известный феномен. Он помогает тебе. Я бы никогда столько без него не прошла. Помню, когда я поднималась на перевал в Пиренеях, промокнув до нитки и совершенно выдохнувшись, мне казалось, что я больше не в силах сделать ни шагу, вот сейчас скачусь в канаву и умру, и вдруг какая-то сила, словно рукой, подтолкнула меня в поясницу, и не успела я опомниться, как оказалась наверху.

Я не знал, как воспринимать ее слова. На мой вопрос, верит ли она, что св. Иаков действительно похоронен в Сантьяго, она пожала плечами и сказала:

— Не знаю. Так или иначе, мы никогда не узнаем наверняка.

— А тебя не волнует, что из-за какой-то опечатки миллионы людей веками приходили сюда? — спросил я Морин, немного рисуясь сведениями, почерпнутыми в одном из путеводителей: по-видимому, изначальная связь св. Иакова с Испанией возникла из-за переписчика, который по ошибке написал, что этот апостол

проповедовал в Испании, а не в Иерусалиме.

— Нет, — ответила Морин. — Мне кажется, что он где-то рядом. Если столько людей приходят в Сантьяго, чтобы почтить его, он вряд ли может быть где-то в другом месте, правда?

Но когда она говорила это, я заметил у нее некий огонек в глазах, словно это был личный выпад или поддразнивание, имевшее целью шокировать скептиков-протестантов вроде меня.

Однако в ее решении совершить паломничество не было ничего двусмысленного. Я помнил, как Беда сказал: «*Это нелепо, полный абсурд*», но для меня это слово несло в себе кьеркегоровский смысл, которого Беда в него не вкладывал. В средневековом городе Виллафранке есть церковь, посвященная св. Иакову, с порталом под названием Puerta del Perdфn — Порог Прощения, и, согласно традиции, если больной паломник хотя бы доходил до этой двери, он мог вернуться домой со всем почетом и благословениями, как человек, полностью совершивший паломничество. Я указал Морин на эту лазейку, когда мы прибыли в Виллафранку, и стал убеждать воспользоваться ею. Сначала она смеялась, а потом здорово рассердилась, когда я стал настаивать. После

этого я больше никогда не пытался отговорить ее дойти до Сантьяго.

Думаю, я был бы разочарован, наверное, не меньше Морин, если бы она не достигла цели. Паломничество, даже в такой искаженной, моторизованной форме, начало очаровывать и меня. Я ощутил, пусть не до конца, то, что Морин переживала более глубоко и сильно во время своего длительного перехода из Ле-Пюи.

— Ты словно выпадаешь из времени. Не обращаешь внимания на новости. Картинки на экранах телевизоров в барах и кафе — политики, взрывчатка в машинах, велогонки — задерживают твой взгляд не более чем на несколько секунд. Важно только самое простое: поесть, попить, залечить мозоли, добраться до следующего пункта назначения, пока не стало слишком жарко, или слишком холодно, или сыро. Выживание. Поначалу думаешь, что сойдешь с ума от одиночества и усталости, но через какое-то время начинаешь противиться присутствию других людей, хочешь идти самостоятельно, остаться один на один со своими мыслями и болью в ногах.

— Значит, ты жалеешь о моем присутствии? — спросил я.

— Нет, что ты, я держалась уже из последних сил, когда ты появился, Пузан. Без тебя я бы никогда столько не прошла.

Я нахмурился, как Райан Гиггс, когда он забивает гол с идеальной подачи. Но Морин стерла морщины с моего лба, добавив:

— Это было как чудо. Опять святой Иаков.

Со временем она заговорила о смерти Дэмьена и о том, как это привело ее к мысли о паломничестве.

— Это ужасно, когда дети умирают раньше родителей. Это неестественно. Ты постоянно думаешь, как много он никогда не испытает — не женится, не обзаведется детьми, не станет дедом. К счастью, у Дэмьена, по-моему, была любовь. Это утешает. У него в Африке была подруга, она работала в той же самой организации. Очень симпатичная на фотографии. После его смерти она написала нам чудесное письмо. Надеюсь, что секс у них был. Думаю, они наверняка этим занимались, а?

Я сказал, что да, без сомнения.

— Когда он учился в Кембридже, то как-то раз привез домой девушку, не эту, другую, и спросил, можно ли им спать вместе в его комнате. Я сказала — нет, только не в моем доме. Но я

бы разрешила, если бы знала, какой короткой окажется его жизнь.

Я сказал, что она не должна винить себя за поступок, который в тот момент был совершенно разумным.

— О, я не виню себя, — ответила Морин. — Беда винит себя, хоть и не признается. Он считает, что ему нужно было проявить больше настойчивости и убедить Дэмьена отказаться от работы для бездомных. Знаешь, после окончания Кембриджа он пошел волонтером в службу помощи другим странам. Потом собирался вернуться и получить доктора философии. Но решил остаться в Африке. Он любил тамошний народ. Любил свою работу. Он прожил полную жизнь, насыщенную, хоть и короткую. И сделал много добра. После его смерти я не устаю себе об этом напоминать. А вот Беде это не помогает. Он впал в жуткую депрессию. Вышел на пенсию и целый день слоняется по дому с пустыми глазами. Я не могла этого вынести. И решила куда-нибудь съездить одна. Об этом паломничестве я прочитала статью в журнале, и мне показалось, это именно то, что нужно. Трудное и простое, то, что займет тебя полностью — тело и душу — на два или три месяца. Я прочла книгу об истории этого паломничества и была

просто поражена. По этой дороге прошли в буквальном смысле миллионы пилигримов, передвигаясь исключительно пешком или верхом на лошади. Должно быть, паломничество в Сантьяго дарило им какие-то потрясающие ощущения, сказала я себе, иначе все новые и новые люди не шли бы туда. В братстве святого Иакова я раздобыла путеводитель по маршруту, а рюкзак, спальный мешок и все остальное купила в спортивном магазине на Хай-стрит в Уимблдоне. Разумеется, мои близкие решили, что я сошла с ума, и пытались меня отговорить. Кто-то подумал, что я делаю это на деньги спонсоров для сбора средств на благотворительные цели. Но я ответила — нет, всю свою жизнь я делала что-то для других, а это — для меня. Я была сестрой, я — самаритянка, я…

— Правда? — перебил я. — Самаритянка? Беда мне об этом не сказал.

— Беда никогда этого не одобрял, — ответила Морин. — Ему казалось, что чужие несчастья просочатся в телефонную трубку и заразят меня.

— Уверен, у тебя хорошо получается, — заметил я.

— Что ж, за шесть лет я потеряла только одного клиента, — сказала она. — В смысле, только один

все же покончил с собой. Не так уж и плохо. Причем, после того, как убили Дэмьена, я стала испытывать к ним меньше сочувствия. Иногда мне не хватало терпения, проблемы некоторых казались такими пустыми по сравнению *с* моей. Ты знаешь, какой у нас самый напряженный день в году?

— Рождество?

— Нет, Рождество на втором месте. На первом — День святого Валентина. Заставляет задуматься, не так ли?

Мы медленно, петляя, продвигались вперед по Camino, и нас часто обгоняли более молодые, крепкие или не так давно начавшие свой путь путешественники. Чем ближе мы подходили к Сантьяго, тем больше их становилось. До ежегодной кульминации паломничества, праздника в честь св. Иакова, отмечавшегося 25 июля, оставалось каких-нибудь две недели, и все горели желанием попасть туда вовремя. Иногда с какого-нибудь пригорка можно было увидеть Camino, вьющийся на мили впереди, и паломников — по одному, по двое, группами побольше, — нанизанных на него, как бусины, до самого горизонта. Та же картина, что и в Средние века.

В Себрейро мы столкнулись с британской телевизионной группой, которая снимала документальный фильм о паломничестве. Они подкарауливали паломников у маленькой церкви и расспрашивали о причинах, которые побудили их отправиться в путь. Морин категорически отказалась в этом участвовать. Режиссер, крупный блондин в шортах и футболке, пытался ее уговорить.

— Нам позарез нужна немолодая женщина, говорящая по-английски, — убеждал он. — Нам уже надоели молодые испанцы и бельгийские велосипедисты. Вы бы идеально подошли.

— Нет, спасибо, — отказалась Морин. — Я не хочу, чтобы меня показывали по телевизору.

Режиссер явно обиделся: тот, кто работает в средствах массовой информации, не в состоянии понять, что у всего остального мира совсем другие приоритеты. Тогда, за неимением лучшего, он повернулся ко мне.

— Я ненастоящий паломник, — сказал я.

— А! Да кто здесь настоящий паломник? — отозвался режиссер, загораясь.

— Тот, для кого это экзистенциальный акт самоопределения, — начал я. — Прыжок в абсурд, в том смысле, который вкладывал в это Кьеркегор.

Я хочу сказать, что…

— Стоп! — закричал режиссер. — Пока ничего больше не говорите. Я хочу это заснять. Линда, пойди найди Дэвида, — обратился он к веснушчатой, рыжеволосой молодой женщине, сжимавшей папку.

Дэвид, как выяснилось, был сценаристом и ведущим этой программы, но найти его не удалось.

— Наверное, дуется, потому что сегодня утром ему пришлось действительно *топать пешком,* — пробормотал режиссер, которого тоже, чтобы добавить абсурда, звали Дэвидом. — Придется мне самому делать это интервью.

И вот они установили камеру, и после обычной волынки, когда режиссер выбирал место съемок, оператор и его помощник разбирались с объективами, фильтрами и отражателями, звукооператор определял уровень шума на заднем плане, а помощник режиссера отгоняла людей, ходивших взад-вперед позади меня в кадре, я изложил перед камерой свою экзистенциалистскую интерпретацию паломничества. (Морин, которой к тому времени все это наскучило, пошла осмотреть церковь.) Я описал три ступени развития личности,

по Кьеркегору — эстетическая, этическая и религиозная, — и предположил, что им соответствуют три типа паломников. (Я думал об этом по дороге.) Эстетический тип в основном озабочен тем, чтобы приятно провести время, насладиться красотами природы и культурными достопримечательностями Camino. Этический тип рассматривает паломничество по сути, как испытание на выносливость и самодисциплину. Он (или она) имеет четкое представление о том, как должен вести себя истинный пилигрим (не останавливаться в гостиницах, например), и очень ревностно следит, чтобы не пройти меньше лучших ходоков на маршруте. Настоящий же паломник — это религиозный паломник, религиозный в Кьеркегоровом смысле этого слова. Для Кьеркегора христианство было «абсурдом»: если бы оно было полностью рациональным, не было бы смысла в него верить. Суть в том, что вы решаетесь верить без рационального принуждения — вы совершаете прыжок в пустоту и в процессе этого выбираете себя. Пройти тысячи миль до святыни в Сантьяго, не зная, действительно ли там кто-то погребен, — это пример такого прыжка. Эстетический паломник не притворяется настоящим пилигримом.

Этический волнуется, настоящий ли он. Истинный паломник просто идет.

— Снято! Отлично. Большое спасибо, — сказал режиссер. — Линда, дай ему подписать бумаги.

Улыбнувшись мне, Линда нацелилась ручкой на листок, прикрепленный зажимом к ее папке.

— Вы получите двадцать пять фунтов, если мы используем этот фрагмент, — объяснила она. — Будьте любезны, ваше имя?

— Лоренс Пассмор, — сказал я.

Звукооператор резко поднял голову от своего оборудования.

— Не Пузан ли Пассмор?

Я кивнул, и он хлопнул себя по ляжкам.

— Я знал, что где-то вас видел раньше. Это было в столовке «Хартленда», пару лет назад. Эй, Дэвид! — позвал он режиссера, который отправился было на поиски новой жертвы. — Угадай, кто это? Пузан Пассмор, сценарист «Соседей», — и, обращаясь ко мне, добавил: — Отличное шоу, всегда смотрю, когда бываю дома.

Режиссер медленно обернулся.

— Только не это, — произнес он и изобразил, словно стреляет себе в висок из пистолета. — Значит, это была просто хохма? — Он печально улыбнулся. — А мы то решили, что вы по-

настоящему.

— Я не хохмил, — возразил я. Но думаю, они мне не поверили.

Дни проходили в медленном, размеренном ритме. Вставали мы рано, чтобы Морин могла двинуться в путь с самого утра по холодку. Обычно она приходила на место встречи к полудню. После долгого, неторопливого испанского ланча мы удалялись на сиесту и старались проспать всю дневную жару, возвращаясь к жизни лишь вечером, когда, по примеру местных жителей, выходили прогуляться, перекусить в баре и попробовать местное вино. Не могу выразить, как легко я чувствовал себя в компании Морин, как быстро мы восстановили прежние приятельские отношения. Хотя мы много разговаривали, часто нам было вполне достаточно посидеть молча, словно наслаждаясь закатом длинной и счастливой совместной жизни. Посторонние, конечно, считали нас супружеской парой или хотя бы просто парой; и персонал в гостиницах всегда чрезвычайно изумлялся, когда мы занимали разные номера.

Однажды вечером она довольно много рассказывала о Дэмьене и была, по-видимому, в хорошем настроении, даже смеялась, вспоминая

какие-то его детские злоключения, а потом я вдруг услышал через тонкую перегородку совсем простенькой гостиницы, где мы остановились, как она плачет в соседнем со мной номере. Я постучался к ней и, обнаружив, что дверь не заперта, вошел. Уличный фонарь сквозь шторы на окне тускло освещал комнату. Морин, лежавшая бесформенной грудой, повернулась и села на кровати, прислонившись к стене.

— Это ты, Пузан? — спросила она.

— Мне показалось, что ты плачешь, — сказал я и ощупью двинулся по комнате, наткнулся на стул у кровати и сел на него. — Ты хорошо себя чувствуешь?

— Я рассказывала о Дэмьене, мне все время кажется, что я пережила это, а потом вдруг оказывается, что нет. — Она снова заплакала. Я взял ее за руку. Морин с благодарностью сжала мои пальцы в ответ.

— Могу тебя обнять, если это поможет, — предложил я.

— Нет, со мной все в порядке, — сказала она.

— Я бы этого хотел. Я бы очень этого хотел.

— Думаю, это лишнее, Пузан.

— Я не имею в виду ничего такого, — заверил я. — Просто обниму тебя. Это поможет тебе

уснуть.

Я лег рядом с ней на кровать, поверх одеяла и простыней, и положил руку на талию Морин. Она повернулась на бок, спиной ко мне, и я пристроился позади ее пышных бедер. Она перестала плакать, дыхание ее выровнялось. Мы оба заснули.

Проснулся я не знаю через сколько часов. Ночной воздух сделался прохладным, у меня замерзли ноги. Я сел и потер их. Морин пошевелилась.

— Что? — спросила она.

— Ничего. Немного замерз. Можно я лягу под одеяло?

Она не сказала «нет», поэтому я забрался к ней под одеяло. На Морин была тонкая хлопчатобумажная ночная рубашка без рукавов. От ее тела шел приятный теплый запах, как от свежевыпеченного хлеба. Ничего удивительного, что у меня началась эрекция.

— Думаю, тебе лучше вернуться в свою постель, — сказала Морин.

— Почему?

— Оставшись, ты можешь ужаснуться, — ответила она.

— Что ты имеешь в виду?

Она лежала на спине, и кончиками пальцев я очень нежно гладил ее сквозь рубашку по животу — Салли во время беременности нравилось, когда я так делал. Моя голова покоилась на одной из грудей Морин, большой и круглой. Очень медленно, затаив дыхание, я передвинул руку, чтобы накрыть вторую грудь, как делал много лет назад на сырых темных ступеньках, ведущих в подвал дома номер 94 по Треглоуэн-роуд.

Но там ничего не оказалось.

— Я же тебя предупреждала, — сказала Морин.

Конечно, я испытал потрясение — словно карабкаешься
во мраке по лестнице и обнаруживаешь, что она на одну ступеньку короче, чем ты ожидал. Я рефлекторно отдернул руку, но почти сразу же вернул ее на плоский участок кожи и костей. Через тонкую ткань рубашки я чувствовал неровный, как очертание созвездия, шрам.

— Мне все равно, — сказал я.

— Нет, не все равно, — сказала Морин.

— Нет, все равно, — возразил я и, расстегнув рубашку, поцеловал бугристую плоть там, где была грудь.

— О Пузан, — проговорила она, — для меня это самая приятная ласка.

— Хочешь, займемся любовью? — спросил я.

— Нет.

— Беда никогда не узнает. — Я как будто услышал эхо другого разговора, долетевшего из прошлого.

— Нельзя, — сказала она. — Только не во время паломничества.

Я сказал, что понял, поцеловал ее и вылез из постели. Она села, обняла меня и очень тепло поцеловала в губы.

— Спасибо, Пузан, ты такой хороший, — сказала она.

Вернувшись в свой номер, я какое-то время лежал без сна. Не скажу, что трудности и разочарования моей жизни показались мне пустыми по сравнению с тем, что пережила Морин, но они были явно менее значительными. Она не только потеряла любимого сына — она потеряла грудь, часть тела, которая определяет сексуальную принадлежность женщины, возможно, более явно, чем любая другая. И хотя сама Морин наверняка сказала бы, что последняя ее потеря ни с чем не сравнима, именно первая поразила меня сильнее.

Может, потому, что я не был знаком с Дэмьеном, а вот грудь эту я знал, знал и любил — и написал

о ней. Моя поэма обернулась элегией.

Весь последний отрезок паломнического пути я прошел вместе с Морин. Положил в ее рюкзак кое-какие свои вещи, и мы по очереди несли его. Машину я оставил километров за двенадцать от Сантьяго, вблизи аэропорта, в Лабаколле, поселке, где прежние пилигримы отмывались, готовясь встретиться со святыней. Название поселка буквально означает «вымой свой зад», вероятно, зады средневековых паломников к моменту прибытия сюда нуждались в хорошей мочалке.

Стояло теплое, солнечное утро. Первая часть нашего маршрута пролегала через лес, а дальше — через поля, слева открывалась красивая равнина, справа — грохочущая автомагистраль. Потом мы пришли в деревню, в конце которой находится Монте-дель-Госо, гора Радости, откуда паломникам впервые открывается вид на Сантьяго. В стародавние времена они устраивали настоящие соревнования — кто первым увидит долгожданную цель. Сегодня такого удовольствия не получишь, потому что холм почти весь занят огромным стадионом, с такого расстояния Сантьяго, опоясанный дорогами, выглядит как любой другой современный

город с его промышленными предприятиями и высотными домами. Лишь очень внимательно присмотревшись, человек с очень хорошим зрением может различить шпили собора.

И все же я был очень рад, что подошел к Сантьяго пешком. *Я* мог разделить с Морин ее волнение и восторг, приближаясь к финишной черте этого марафона.

Передвигаясь пешком, замечаешь больше, чем из машины, а неторопливость самого процесса создает своеобразное драматическое напряжение, оттягивая завершение твоего пути. Созерцание современных уродливых окраин города только усиливает удовольствие и облегчение, которые испытываешь, достигнув прекрасного старого центра, с его кривыми, затененными улочками и причудливыми изгибами линии крыш. Сворачиваешь за угол, и вот ты внезапно на месте — на огромной площади Пласа-дель-Обрадеро — и смотришь, задрав голову, на два пинакля величественного собора.

Мы вошли в город 24 июля, Сантьяго уже трещал по швам. Четырехдневная фиеста была в самом разгаре — марширующие оркестры, высоченные шагающие статуи на ходулях, странствующие

музыканты, кочующие по улицам и площадям. Истинные паломники вроде Морин терялись среди сотен и тысяч приезжих — и светских туристов, и католиков, — которые прибыли сюда самолетами, поездами, автобусами и на машинах. Нам сказали, что народу особенно много потому, что это святой год праздник св. Иакова приходится на воскресенье и благословения и индульгенции, связанные со святым, обладают особой силой. Я предложил Морин первым делом заняться поиском ночлега, но ей не терпелось попасть в собор. Я не стал возражать. Все равно вряд ли мы бы нашли приют в старом городе, и я уже смирился с тем, что на ночь придется вернуться в Лабаколлу.

В архитектурном отношении собор представляет собой полную мешанину, но, как мы говорим на телевидении, она работает. Затейливо украшенный фасад в стиле барокко датируется восемнадцатым веком, к двум башням с пинаклями ведет большая лестница. Далее следует портик, восходящий к раннему романскому зданию, Портико-де-ла-Глориа — Портик славы, вырезанный средневековым гением по имени маэстро Маттео. Здесь с поразительными, часто юмористическими

деталями представлено почти двести фигур, включая Иисуса, Адама и Еву, Матфея, Марка, Луку и Иоанна, двадцать четыре старых чудака с музыкальными инструментами из книги Откровения, а также избранные спасенные и осужденные на Страшном суде. Св. Иаков занимает почетное место, сидя на вершине колонны прямо под ногами Иисуса. По обычаю паломники становятся на колени у подножия колонны и вкладывают пальцы в протертые за столетия отверстия в мраморе, похожие на отверстия кастета. Из желающих совершить сей ритуал выстроилась длинная очередь, большинство в ней, судя по одежде и лицам, — местные. Заприметив Морин с ее посохом, рюкзаком и выгоревшей на солнце одеждой, люди уважительно посторонились, знаками приглашая пройти вперед. Она покраснела под загаром и покачала головой.

— Иди, — подтолкнул я ее. — Это твой большой выход. Смелей.

Шагнув вперед, она встала на колени, прижала ладонь одной руки к колонне, пальцы другой сунула в отверстия, и так минуту молилась с закрытыми глазами.

С противоположной стороны колонны, внизу,

маэстро Матгео изваял свой собственный бюст, и к нему также по обычаю следует прислониться лбом, чтобы получить немного его мудрости. Этот идол был больше по мне, и я прилежно стукнулся лбом о его мраморное чело. Я заметил некоторое сходство между двумя ритуалами. То и дело кто-то прислонялся лбом к колонне под статуей св. Иакова, вкладывая пыльцы в отверстия, и все в очереди один за другим копировали эти действия. Засвидетельствовав свое почтение, я хотел было хлопнуть себя по ягодицам, как делают исполнители баварских народных танцев, чтобы посмотреть, не повторит ли кто-нибудь мой жест, но не осмелился.

Мы встали в другую очередь — желавших обнять статую св. Иакова на главном престоле. Святая часть собора — это немыслимая фантазия из мрамора, позолоты и резного раскрашенного дерева. Св. Иаков Матаморос верхом на лошади, одетый
как офицер кавалерии в эпоху Возрождения, с мечом, поднятым над шатром, который поддерживают четыре гигантских трубящих ангела. Св. Иаков апостол, облаченный в серебро и золото, инкрустированное драгоценными камнями, занимает главное место над алтарем

и больше похож на языческого идола, чем на христианского святого, особенно когда смотришь на него из центрального нефа — у него словно вырастает лишняя пара рук Это люди, стоя на маленькой платформе за алтарем, обнимают его и, если они паломники, молятся за тех, кто помог им в пути, — традиционное «объятие св. Иакова». Под алтарем находится крипта, где стоит небольшой серебряный гроб с останками святого — или без них, что вполне возможно.

— Как чудесно, правда? — сказала Морин, когда мы вышли из собора на ярко залитую солнцем площадь, заполненную толпой.

Я согласился; но не мог не сравнить помпезность и богатство этой усыпальницы с маленькой, скудно обставленной комнатой в копенгагенском Бюмузеуме, где всего полдесятка витрин, а в них несколько скромных памятных вещиц, книг и картин да небольшой памятник Кьеркегору. А если бы Кьеркегор был католиком, интересно, его бы тоже сделали святым и воздвигли над его могилой базилику? Из него вышел бы славный покровитель невротиков.

— Теперь нам уже действительно нужно заняться поисками гостиницы, — заметил я.

— На этот счет не волнуйся, — сказала Морин. —

Но сначала я должна получить свою compostela.

Нас направили в небольшую контору рядом с площадью, за собором. Напротив нее, победно размахивая перед камерой полученными листками бумаги, фотографировали друг друга загорелые, восторженного вида молодые немцы в Lederhosen и грубых башмаках. Морин отстояла очередь и предъявила свой помятый, запачканный паспорт сидевшему за столом молодому священнику в черном костюме. Он восхитился количеством печатей, которые она собрала, и, передавая удостоверение, пожал ей руку.

— Ну а теперь мы можем побеспокоиться о ночлеге? — спросил я, когда мы вышли из конторы.

— Ну, вообще-то, — со смехом, слегка смущаясь, проговорила Морин, — я забронировала номер в «Рейес католикос». Я сделала это перед отлетом из Англии.

Хостал-де-лос-Рейес
католикос — это великолепное здание эпохи Возрождения, которое обрамляет Плаза-дель-Обрадеро с левой стороны, если стоять лицом к собору. Основанный королем Фердинандом и королевой Изабеллой как последний refu-

gio в череде всех refugios для приема и заботы о пилигримах, сегодня это пятизвездочный parador, один из роскошнейших отелей Испании и вообще мира.

— Фантастика! Почему ты мне не сказала? — вскричал я.

— Вообще-то есть одна небольшая проблема. Это всего один номер, и я заказала его на имя мистера и миссис Харрингтон. Я думала, может, Беда прилетит сюда и присоединится ко мне. Но он принял мою идею о паломничестве в штыки, и я так ему и не сказала.

— Ну что ж, — заявил я, — придется мне стать Бедой. Не впервой.

— Значит, ты не против поселиться вместе?

— Нисколько.

— В любом случае я попросила номер с двумя кроватями, — сказала Морин. — Беде так больше нравится.

— Жаль, — заметил я и порадовался ее румянцу.

Когда мы приближались к отелю, мимо нас по булыжной мостовой прошелестел сверкающий лимузин, чтобы забрать шикарно одетую пожилую пару, стоявшую у входа. Швейцар в ливрее и белых перчатках положил в карман

чаевые, захлопнул дверцу и подал водителю знак трогаться. И неодобрительно уставился на нас.

— Моя compostela дает мне право на бесплатный обед здесь, — пробормотала Морин. — Но мне говорили, что еду дают отвратительную и заставляют есть в безобразной каморке рядом с кухней.

Швейцар, по-видимому, решил, что мы идем в отель именно за этим, проговорил по-испански что-то пренебрежительное и указал куда-то в заднюю часть здания. Его предположение было вполне естественно, учитывая наш несколько потрепанный внешний вид, но мы получили некоторое удовлетворение, поставив служителя на место.

— У нас зарезервирован номер, — сказала Морин, величественно проплывая мимо швейцара и толкая вращающуюся дверь.

Следом за нами в вестибюль вбежал носильщик. Я отдал ему рюкзак, а сам пошел к стойке портье.

— Мистер и миссис Харрингтон, — храбро заявил я.

Служащий был вкрадчиво вежлив. Занятно, но на Беду походил скорее он — высокий, сутулый и усердный, с седыми волосами и в очках с

толстыми стеклами. Сверившись с компьютером, он дал мне заполнить регистрационную карточку. Морин забронировала номер на три ночи и внесла значительную предоплату.

— Как ты могла быть уверена, что придешь сюда точно в нужное время? — удивился я, когда мы шли к номеру за носильщиком, который неловко пытался нести рюкзак как чемодан.

— Я верила, — просто ответила она.

Здание отеля представляет собой четыре изысканных четырехугольника, соединенных в квадрат, с внутренними двориками, клумбами и фонтанами, и каждый посвящен одному из евангелистов. Наш номер находился в квадрате Матфея. Огромный, роскошный, с двумя односпальными кроватями, каждая размером с двуспальную. Саманте бы это пришлось по вкусу. В отделанной мрамором ванной комнате лежали и висели шестнадцать пушистых белых полотенец разного размера, и никаких глупостей с красной карточкой, если вы решите их сменить. Морин заахала от удовольствия при виде разнообразных кранов, полочек, подвижных зеркал и встроенного фена и объявила о своем намерении немедленно принять ванну и вымыть голову. Для такого

случая на дне ее рюкзака, в пластиковом пакете, оказалось чистое хлопчатобумажное платье, сложенное компактно, как парашют. Она отдала его горничной погладить, а я на такси поехал в Лабаколлу забрать свой автомобиль, где лежал льняной костюм, который я не надевал в дороге.

В тот вечер мы не опозорили элегантный ресторан отеля. Ужин был чудовищно дорогой, но очень вкусный. Потом мы вышли на площадь и втиснулись в огромную толпу, ожидавшую начала фейерверка. Это явно самая популярная часть фиесты. Испанцы обожают шум и, похоже, полны решимости этой показухой наверстать свое вынужденное неучастие во Второй мировой войне. Кульминация огненной потехи сильно напоминала воздушный налет на собор — все сооружение казалось охваченным огнем, на фоне пламени контрастно выделялись статуи и каменная резьба, над головой с оглушительным ревом рвались ракеты. Когда огромная сцена потемнела, над площадью разнесся дружный вздох, а потом зажглись уличные фонари, и она взорвалась радостными криками и хлопками. Толпа начала рассеиваться. Мы вернулись в «Рейес католикос». Швейцар приветствовал нас улыбкой.

— Добрый вечер, сеньор, сеньора, — сказал он, открывая нам дверь.

Мы по очереди воспользовались ванной комнатой. Когда я вышел, Морин уже лежала в кровати. Я остановился, чтобы поцеловать ее перед сном. Она обняла меня за шею и увлекла на постель рядом с собой.

— Какой день, — промолвила она.

— Жаль, что во время паломничества секс не разрешен, — сказал я.

— Паломничество закончилось, — ответила Морин.

Мы занялись любовью в миссионерской позиции.

Я кончил — без проблем. С коленом тоже не возникло никаких осложнений.

— Никогда больше не стану придираться к святому Иакову, — сказал я потом.

— Что ты имеешь в виду? — сонно пробормотала Морин. Похоже, ей тоже понравилось.

— Неважно, — ответил я.

Когда я проснулся на следующее утро, Морин в номере не было. Она оставила записку, что ушла в собор пораньше, чтобы занять место на торжественную мессу в честь дня св. Иакова; но пока я завтракал, она вернулась, потому

что в церковь уже не попасть и придется смотреть службу по телевизору. Это событие государственной
важности, которое живьем будут транслировать по национальной телесети, сказала Морин. Не думаю, что она много потеряла, не попав туда. Большинство собравшихся казались одурманенными духотой и скукой ожидания. Кульминацией службы стало раскачивание botafumeiro, огромной курильницы размером со спутник, которая плыла в вышине, под куполом собора, и клубы ладана тянулись за ней. Шестеро крепких мужчин управляли ею с помощью запутанной системы веревок и блоков. Если она когда-нибудь оборвется, то уничтожит всю королевскую семью, а также значительное число кардиналов и епископов страны.

Мы прогулялись по старому городу, пообедали и на время сиесты вернулись в номер. Прежде чем поспать, мы занялись любовью, и повторили это ночью. Морин была так же ненасытна, как и я.

— Это как отказ от сладкого на время Великого поста, — сказала она. — А когда приходит Пасха, наедаешься как поросенок.

У нее Великий пост продолжался пять лет, со времени операции на груди. Она сказала, что

Беда не смог к этому привыкнуть.

— Он не хотел меня обидеть. Он всячески меня поддерживал, когда обнаружили опухоль и когда я была в больнице. Но, вернувшись домой, я сделала ошибку, показав ему шрам. Никогда не забуду выражения его лица. Боюсь, это зрелище постоянно стоит у него перед глазами. Я пыталась ложиться в постель в лифчике с протезом, но ничего не помогло. Примерно через полгода он предложил сменить нашу двуспальную кровать на две полуторные. Сделал вид, что из-за спины ему нужен специальный матрас, но я поняла, что наша сексуальная жизнь закончилась.

— Но это же ужасно! — воскликнул я. — Бросай его и выходи за меня.

— Не смеши меня, — сказала Морин.

— Я абсолютно серьезен, — ответил я. Она тоже говорила серьезно.

Этот разговор состоялся на вершине скалы, откуда открывался вид на Атлантический океан. Это был наш третий вечер в Сантьяго и последний совместный в Испании. На следующий день Морин улетала в Лондон по билету, который купила несколько месяцев назад; проводив ее в аэропорт, я должен был ехать на своем «супермобиле» в Сантандер, чтобы успеть на

паром до Англии.

В тот день мы выехали из Сантьяго после особенно бурной сиесты в поисках тишины и покоя — к этому времени даже Морин пресытилась толпами и шумом на улицах. Мы добрались до указателя на мыс Финистерре и просто поехали в том направлении. Я, должно быть, тысячу раз слышал это название по радио в объявлениях о передвижении судов и штормовых предупреждениях, не зная, что на латыни оно значит «край света» и находится в Испании. Дорога оказалась долгой — дальше, чем представлялось по карте. Поросшая лесом холмистая местность вокруг Сантьяго сменилась более суровым, пустынным пространством. Оно было покрыто прибитой ветром травой, которая перемежалась с огромными серыми плитами скальных выходов и одиночными, упрямыми, клонящимися к земле деревьями. Ближе к оконечности полуострова земля словно бы вздыбилась, и мы ничего за ней не видели, кроме неба — казалось, что там был уже край света; в любом случае край чего-то. Мы оставили машину рядом с маяком, обогнули его по дорожке, и перед нами распростерся океан, спокойный и голубой, неуловимо сливавшийся с небом на туманной

линии горизонта. Мы уселись на теплую плоскую скалу среди жесткой травы и полевых цветов и наблюдали, как солнце, словно огромная облатка причастия, за тонкой вуалью облаков медленно клонится к рябой поверхности океана.

— Нет, — сказала Морин, — я бы не смогла бросить бедного старого Беду. Что он будет без меня делать? Совсем свихнется.

— Но ты же имеешь право на счастье, — заметил я. — Не говоря уже обо мне.

— С тобой, Пузан, все будет в порядке, — улыбнулась она.

— Мне нравится твоя уверенность. Я признанный невротик.

— А по-моему, ты вполне здравомыслящий человек.

— Это потому, что я снова с тобой.

— Было так хорошо, — призналась она. — Но, как и паломничество, это словно остановка во времени, когда обычные жизненные правила не действуют. Когда я вернусь домой, я снова стану женой Беды.

— Брак без любви!

— Без секса, возможно, но не без любви, — сказала
Морин. — И я, между прочим, действительно

вышла за него, чтобы быть с ним и в горе и в радости.

— Ты никогда не думала его бросить?

— Нет, никогда. Видимо, меня так воспитали. Для католиков развод вещь немыслимая. Я знаю, сколько горя это принесло многим людям, но у меня все получилось удачно. Упрощает жизнь.

— Одним решением меньше принимать.

— Вот именно.

Мы немного помолчали. Морин сорвала и пожевала травинку.

— А ты никогда не думал о том, чтобы попытаться помириться с женой? — спросила она.

— Нет смысла. Она все решила.

Разумеется, за эти недели я успел во всех подробностях рассказать Морин о разрыве с Салли, и она слушала с неподдельным сочувствием и интересом, но никого не стала осуждать.

— Когда ты в последний раз с ней виделся? — спросила Морин.

Я посчитал: выходило около трех месяцев.

— За это время ты мог незаметно для себя очень измениться, — сказала Морин. — Ты сам говорил, что весной был немного не в себе.

Я признал, что это правда.

— Салли тоже могла измениться, — продолжала Морин. — Может, она ждет, что ты сделаешь первый шаг.

— Содержание писем ее адвоката говорит совсем о другом, — сказал я.

— Это ничего не значит, — убеждала Морин. — Адвокатам платят, чтобы они угрожали.

— Верно, — согласился я. Я вспомнил довольно неожиданный звонок Салли перед моим отъездом из Лондона. Если бы я так не торопился в дорогу, то мог бы истолковать ее тон как примирительный.

Мы сидели и разговаривали, пока не село солнце, а потом поужинали в ресторане на пляже, который казался выстроенным из обломков дерева, выброшенных морем. Мы выбрали рыбу в огромном аквариуме, и нам приготовили ее на углях. Ни одно блюдо, подаваемое в «Рейес католикос», и в подметки не годилось этой рыбе. Возвращались мы в темноте, и где-то посреди голой равнины я остановил машину и потушил фары, и мы вышли посмотреть на звезды. Вокруг на мили не было ни искусственного освещения, ни источников загрязнения атмосферы. Млечный Путь протянулся по небу с востока на запад, как

бледный, мерцающий поток света. Я никогда не видел его так ясно.

— Боже! — восхитилась Морин. — Какое чудо. Наверное, в давние времена его можно было видеть таким отовсюду.

— Древние греки считали, что это путь на небеса, — сказал я.

— Неудивительно.

— Некоторые ученые полагают, что задолго до христианства существовало своего рода паломничество: люди шли за Млечным Путем, сколько могли пройти.

— Господи, откуда ты все это знаешь, Пузан?

— Вычитываю в словарях. Привычка.

Мы вернулись в машину и быстро поехали в Сантьяго,
почти не разговаривая, сосредоточившись на дороге, которая летела перед нами в свете фар. В «Рейес католикос» мы быстро уснули, обнявшись, слишком усталые или слишком опечаленные, чтобы заниматься любовью.

На пароме у меня было предостаточно времени, чтобы подумать над советом Морин, и к моменту швартовки в Портсмуте я решил попытать счастья. Позвонил Салли, чтобы убедиться, что она будет на месте, и не мешкая поехал

прямо в Холлиуэлл. На скрежет шин по гравию подъездной дорожки Салли открыла парадную дверь. Подставила для поцелуя щеку.

— Ты хорошо выглядишь, — сказала она.

— Я был в Испании, — ответил я. — Прошелся пешком.

— Пешком! А как же твое колено?

— Похоже, оно наконец-то прошло, — сказал я.

— Прекрасно. Заходи, расскажи обо всем поподробнее. Я приготовлю чай.

Как хорошо было оказаться дома — я по-прежнему думал о нашем особняке как о доме. С гордостью окинул взглядом кухню, радуясь стройным линиям дизайна и удачно подобранным цветам. Салли, похоже, тоже находилась в отличной форме. На ней было красное льняное платье с длинной юбкой с разрезом, сквозь который то и дело мелькала ее загорелая нога.

— Ты и сама хорошо выглядишь, — заметил я.

— Спасибо, так и есть. Ты приехал забрать какие-то свои вещи?

— Нет, — ответил я, в горле у меня внезапно пересохло. Я прокашлялся. — Вообще-то я приехал поговорить. Я подумал, Сал, может, мы могли бы снова попытаться зажить вместе. Что скажешь?

Вид у Салли сделался смятенный. Именно это слово точно характеризовало выражение ее лица: смятение.

— Нет, Пузан, — ответила она.

— Я не имею в виду прямо сейчас. Какое-то время мы могли бы пожить в этом доме вместе на условиях раздельного проживания. В любом случае в разных спальнях. Посмотрим, что из этого выйдет.

— Боюсь, это невозможно, Пузан.

— Почему? — спросил я, хотя уже заранее знал ответ.

— Есть другой человек.

— Ты сказала, что никого не было.

— Ну, тогда не было. А теперь есть.

— Кто он?

— Коллега. Ты его не знаешь.

— Значит, ты уже давно с ним знакома?

— Да. Но мы не… мы не были…

Впервые Салли как будто не могла подобрать слов.

— Мы стали любовниками только… только совсем недавно, — наконец проговорила она. — Раньше это была просто дружба.

— Ты мне об этом не рассказывала, — упрекнул я.

— Ты не рассказывал мне про Эми, — ответила она.

— Откуда ты узнала про Эми? — спросил я. Голова у меня шла кругом.

— Ой, Пузан, да все знают про тебя и Эми!

— У нас были платонические отношения, — заявил я. — По крайней мере, пока ты не бросила меня.

— Знаю, — сказала Салли. — Когда я ее увидела, то так и подумала.

— Этот парень с работы, он женат? — спросил я.

— Разведен.

— Понятно.

— Возможно, мы поженимся. Полагаю, что это изменит условия соглашения о разводе. Вероятно, тебе не придется давать мне столько денег. — Она вымученно улыбнулась.

— А, да пошли они, эти деньги... — сказал я и покинул этот дом навсегда.

Разумеется, удар был страшный — мое тщательно подготовленное предложение о примирении отвергли, дали вторичную отставку, зарубили на корню, засунули мне назад в глотку даже раньше, чем я успел его изложить. Но, продираясь по М1 сквозь карликовые

леса дорожных конусов, я начал различать положительную сторону случившегося. Было ясно, что Салли стала склоняться к этому типу много лет назад, какими бы в действительности ни были их отношения. Она бросила меня вовсе не потому, что скорее готова была остаться в одиночестве, чем моей женой, как думал я с момента установления невиновности Бретта Саттона. Меня это, на удивление, утешило. Восстановило самоуважение.

Однако удары на этом не закончились. Когда я добрался до Лондона и вошел в свою квартиру, то обнаружил ее совершенно пустой. Вынесли все подчистую. Не осталось ничего, даже лампочек и карнизов для штор. Стулья, столы, кровать, ковры, посуда и столовые приборы, одежда и постельное белье — все исчезло. Единственное, что осталось, — мой компьютер, аккуратно поставленный посреди голого бетонного пола. Любезный жест со стороны Грэхэма: как-то раз я объяснил ему, насколько ценно для меня содержимое жесткого диска, он не знал, что перед отъездом в Испанию я поместил коробку с дискетами, на которые скопировал свои материалы, в банк. Не знаю, как он со своими дружками попал в квартиру, потому что дверь

они не повредили и, уходя, аккуратно заперли ее. Вероятно, Грэхэм снял отпечатки с моих ключей, когда я выходил в туалет, — на кухне у меня всегда висел запасной комплект. Или возможно, он просто взял их на время, а я не заметил. Как выяснилось, однажды утром они приехали с грузовым фургоном и даже имели наглость попросить в полиции специальное разрешение парковаться у здания, пока будут перевозить обстановку моей квартиры по какому-то мифическому адресу.

Войдя в квартиру и оглядевшись, я постоял с полминуты с разинутым от изумления ртом и расхохотался. Я смеялся, пока из глаз у меня не покатились слезы, и мне пришлось прислониться к стене и в конце концов сесть на пол. Нотка истерики в этом смехе, без сомнения, присутствовала, но смеялся я от души.

Если бы это был телевизионный сценарий, я бы, вероятно, на этом месте его и закончил, пустив заключительные титры на фоне пустой квартиры, а вашего покорного слугу оставив сидеть на корточках в углу, привалившись к стене и смеясь до слез. Но это случилось несколько недель назад, а я хочу довести историю до конца, до момента написания, чтобы продолжить

свой дневник. У меня было очень много работы с «Соседями». Олли и Хэлу действительно понравился переписанный мною сценарий Саманты для последней серии текущего блока. Кажется, и зрители в студии приняли его на ура. (Меня там не было, серию записывали 25 июля, в день св. Иакова.) А образ Присциллы как призрака настолько захватил Дебби, что она передумала и даже подписала контракт на несколько новых блоков. Пишу сценарии я, но и заслуги Саманты были оценены по достоинству, что только справедливо. За очень короткое время она стала главным хартлендовским начальником по сценариям. Сегодня за обедом я поспорил с Джейком, что не пройдет и двух лет, как она займет место Олли.

Джейк не слишком посочувствовал моей краже. Он сказал, что я спятил, вообще доверяя этому Грэхэму, и заметил, что если бы на время отъезда я позволил ему использовать мою квартиру в качестве любовного гнездышка, Грэхэм со товарищи не посмели бы ее ограбить. Но мне очень быстро удалось обставить квартиру заново — страховая компания не поскупилась, — да и мебель ту я с самого начала не очень любил. Ее выбирала Салли. Полностью меняя все в

квартире, словно начинаешь жизнь заново. Хотя сама по себе квартира маловата для постоянного проживания. Я подумываю о переезде куда-нибудь в пригород, а если точнее — в Уимблдон. В последнее время я очень часто вижусь с Морин и Бедой. Я бы с удовольствием поселился рядом с ними, я мог бы вступить в местный теннисный клуб — мне всегда хотелось носить их темно-зеленый блейзер. На днях я ездил в Холлиуэлл забрать вещи из своего шкафчика в старом клубе. Немного грустная история, скрашенная подробностями: я наткнулся на Джо Веллингтона и поспорил с ним на десятку, что обыграю его один на один. Я разделал его под орех — 6:0, 6:0, бросаясь после каждой подачи к сетке и отбегая к задней линии, когда он посылал мяч в дальний угол.

— А как же твое колено? — спросил он, задыхаясь, по окончании матча.

— Просто расплатись улыбкой, Джо, — ответил я. — Не спорь с коленом.

Думаю, что цитату он не узнал.

Я положил глаз на уютный домик на холме рядом с Всеанглийским клубом. Однако от квартиры я отказываться не собираюсь. Для дела полезно иметь базу в Уэст-Энде; мы с Морин

частенько проводим там сиесту. Я не спрашиваю, как она улаживает это со своей совестью, — ума хватает. Моя же совесть абсолютно чиста. Мы трое — лучшие друзья. И между прочим, собираемся устроить себе небольшой осенний отдых. В Копенгагене. Идея принадлежала мне. Можете назвать это паломничеством.

[1] [broken link: #_ftnref1] ОКСФАМ - Оксфордский комитет помощи голодающим.

[2] [broken link: #_ftnref2] КАФОД - Католический фонд в помощь развития в зарубежных странах.

[3] [broken link: #_ftnref3] БУПА - крупная компания страховой медицины.

[4] [broken link: #_ftnref4] Так в шутку назван магазин «Маркс и Спенсер».

[5] [broken link: #_ftnref5] Яички (исп.); здесь: фигня.

[6] [broken link: #_ftnref6] Не так ли? (фр).

[7] [broken link: #_ftnref7] Напротив (фр.).

[8] [broken link: #_ftnref8] 2 Кор, 12,7.

[9] [broken link: #_ftnref9] Петух в вине *(фр.).*

[10] [broken link: #_ftnref10] Дурачок *(ит.).*

[11] [broken link: #_ftnref11] Обычное дело *(фр.).*

[12] [broken link: #_ftnref12] Афродизиак - вещество, стимулирующее половое влечение и половую активность.

[13] [broken link: #_ftnref13] Промах, ошибка (*фр.).*

[14] [broken link: #_ftnref14] За неимением лучшего (*фр.).*

[15] [broken link: #_ftnref15] Граучо Маркс (1890-1977) - знаменитый американский комик.

[16] [broken link: #_ftnref16] «Ну и неделька была» -одна из самых популярных вечерних сатирических программ Би-би-си 60-х гг.

[17] [broken link: #_ftnref17] Пленки Скуиджи - перехваченный в декабре 1989 г. телефонный разговор принцессы Дианы с мужчиной, который называл ее Скуиджи.

[18] [broken link: #_ftnref18] Цыпленок по-охотничьи (*ит.).*

[19] [broken link: #_ftnref19] Здесь: *это по-моему* (фр.).

[20] [broken link: #_ftnref20] С. Кьеркегор. **Или - или,** М., «Арктогея», 1993.

[21] [broken link: #_ftnref21] С. Кьеркегор. Повторение, М., Лабиринт, 1997.

[22] [broken link: #_ftnref22] Рассеян (фр.).

[23] [broken link: #_ftnref23] Здесь: *недотрога (лат.).*

[24] [broken link: #_ftnref24] Какой кошмар! *(фр.)*

[25] [broken link: #_ftnref25] Деликатность *(фр).*

[26] [broken link: #_ftnref26] *Здесь:* никакая (*ит.*).

[27] [broken link: #_ftnref27] Касательно *(лат.).*

[28] [broken link: #_ftnref28] Уже виденное *(фр).*

[29] [broken link: #_ftnref29] Здесь: с поличным (лат.).

[30] [broken link: #_ftnref30] Быстренько (*фр.).*

[31] [broken link: #_ftnref31] Фиктивный брак (фр.).

[32] [broken link: #_ftnref32] Хозяйка (ит.).

[33] [broken link: #_ftnref33] Щедроты *(фр.).*

[34] [broken link: #_ftnref34] Приданое *(фр).*

[35] [broken link: #_ftnref35] Сладкая жизнь *(ит.).*

[36] [broken link: #_ftnref36] Продается (*исп.).*

[37] [broken link: #_ftnref37] Примыкающий *(фр).*

[38] [broken link: #_ftnref38] *Здесь:* не совсем уместно *(фр.).*

[39] [broken link: #_ftnref39] Закуски *(фр.).*

[40] [broken link: #_ftnref40] По-охотничьи *(фр).*

[41] [broken link: #_ftnref41] Роберт Максвелл, британский магнат, погиб в ноябре 1991 года, упав за борт своей яхты при невыясненных обстоятельствах.

[42] [broken link: #_ftnref42] Крах *(фр).*

[43] [broken link: #_ftnref43] На свежем воздухе (urn.).

[44] [broken link: #_ftnref44] «Рилейт» - Национальный совет по вопросам брака.

[45] [broken link: #_ftnref45] С необходимыми поправками *(лат.).*

[46] [broken link: #_ftnref46] *Здесь:* гостиницы *(фр.).*

[47] [broken link: #_ftnref47] Сверхъестественная, тайная сила (*фр.).*

[48] [broken link: #_ftnref48] Отставка (фр.).

[49] [broken link: #_ftnref49] Нам говорят, мы слишком молоды, чтобы любить, любовь для нас лишь слово. И все же мы не слишком молоды, чтобы знать - наша любовь не умрет с годами.

[50] [broken link: #_ftnref50] Гиньоль - пьесы, спектакли, сценические приемы, основанные на изображении злодейств.

[51] [broken link: #_ftnref51] Здесь: спасибо техническому прогрессу (нем.).

[52] [broken link: #_ftnref52] Злорадство *(нем.).*

[53] [broken link: #_ftnref53] Очень милая женщина (фр.).

[54] [broken link: #_ftnref54] Это зависит *(фр).*

[55] [broken link: #_ftnref55] Лимонный сок

(фр.).

This file was created

with BookDesigner program

bookdesigner@the-ebook.org

03.10.2010